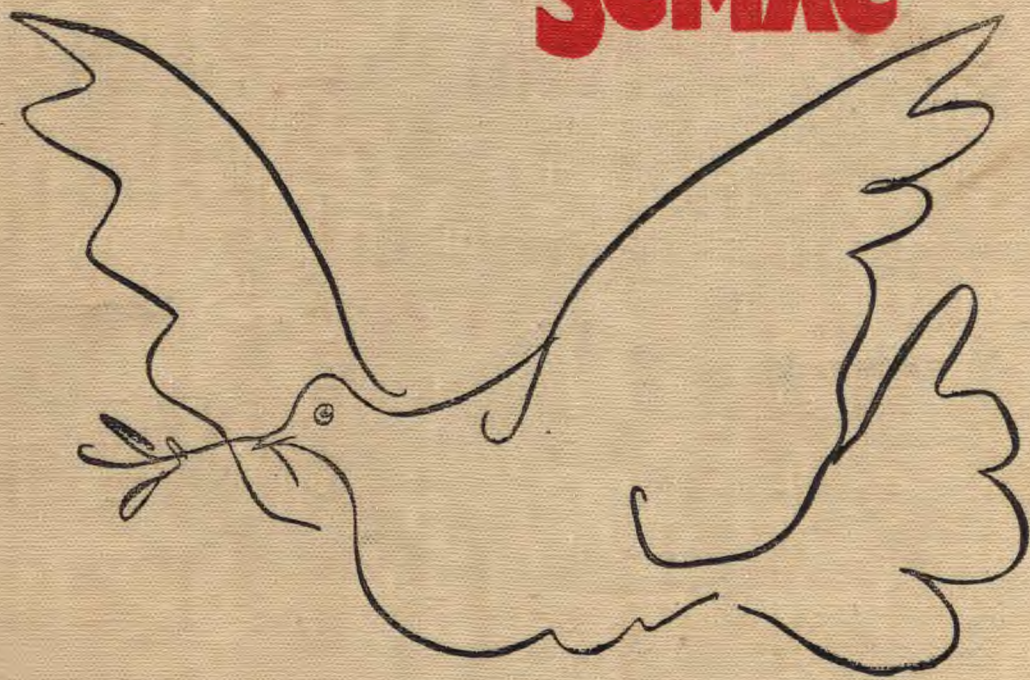
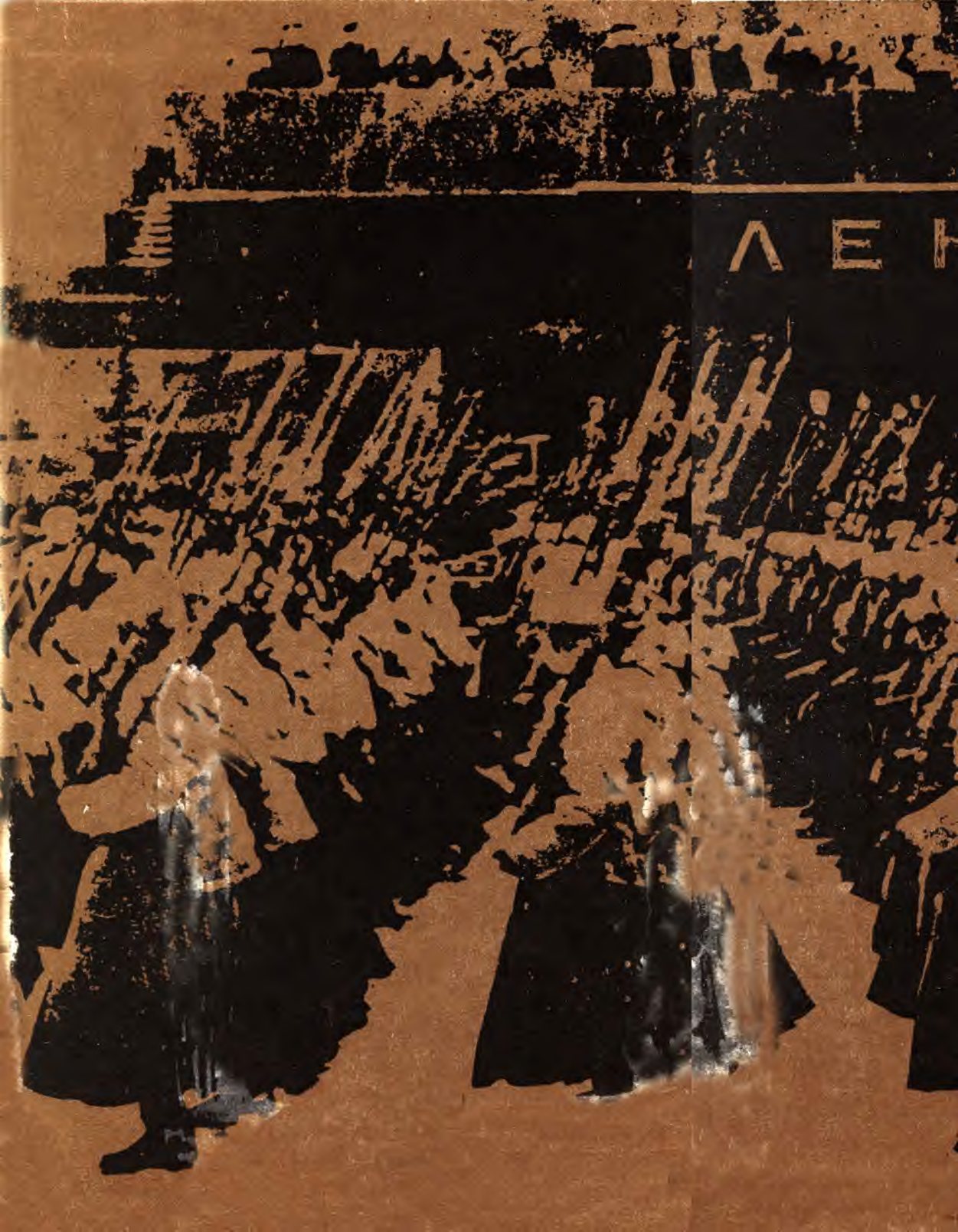


**Ради
жизни
на
земле**



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“



Λ Ε Π

НИН



**Раги
жизни
на
земле**

Москва

-Детская литература-

1985

БОЙ ИДЕТ СВЯТОЙ И ПРАВЫЙ ,
СМЕРТНЫЙ БОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ ,
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ .

А. Твардовский

Ради жизни на земле

Проза
и стихи
писателей
социалистических
стран
в борьбе
с немецко-
фашистскими
захватчиками



(С6 1)
Р15

На переплете использован рисунок
Пабло Пикассо

Составитель М. А. Письменный

Вступление Егора Исаева

Художник Г. Ордынский

Р 4803020000—540 005—85
М101(03)85

Состав, вступления, оформление, переводы,
отмеченные в содержании звездочкой.

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Ч

то такое подвиг? Это значит — в великом, бескорыстном порыве души человек отдает себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью.

Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч. А бывает подвиг Народа. Когда Народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы.

Такой подвиг совершил Советский Народ в годы Великой Отечественной войны, и память о нем будет жить в веках. Это был подвиг во имя Родины, во имя всего человечества. Всем своим государством великим, всей своей землей «земель сомноженных народов», судьбами всех и каждого встал Советский Народ на борьбу с вероломным врагом, самой черной силой XX века — фашизмом.

Почти вся Западная Европа лежала под кованой пятой немецко-фашистских захватчиков. Все железо гитлеровской Германии, железо танков, самолетов, орудий и снарядов, было обрушено на нас.

И нужно было быть очень сильным Народом, нужно было иметь железо в характере и железо разящее, нужно было обладать великой нравственной силой, великой идеей, чтобы противостоять врагу, побороть его несметные силы.

Ценой беззаветного мужества и огромных жертв Советский Народ разгромил фашизм и дал миру мир. Победил не только для себя, а для всего мира.

Литература — это вторая действительность в слове. Иногда даже бóльшая, чем первая, — действительность самой жизни. Даль художественного слова неоглядна, образ в слове гениального художника обретает бессмертие.

Книга, которую вы держите в руках, — это только одна страница великой летописи второй мировой войны, это пламенное слово писателей братских социалистических стран, народы которых поднялись на борьбу с фашизмом. Это слово Михаила Шолохова, Алексея Толстого, Александра Твардовского, Константина Симонова, Анны Зегерс, Витезвала Незвала, Антала Гидаша, Михаила Лалича, Десанки Максимович, Ярослава Ивашкевича и других. Многих из них давно уже нет в живых. А слово их работает, живет. Антифашистское слово. Прогрессивное, мужественное и нежное.

Здесь и проза, здесь и поэзия. Но самое главное — здесь жгучая правда времени, великое нравственное достоинство подвига народов.

У каждого из писателей, произведения которых представлены в сборнике, свой опыт борьбы с фашизмом. Некоторые рассказы и стихи написаны еще в те годы, когда земля горела в пламени сражений, а их авторы с оружием в руках шагали дорогами

войны. Некоторые написаны много позже, потому что неумолкаемо стучит в сердце Всенародная Память о пережитом. У каждого из писателей свой особый дар слова, свой стиль, свой жест, своя точка непосредственного соприкосновения с действительностью. И в этом — богатство книги.

Я уверен, книга эта сделает вас, дорогие ребята, отзывчивее, внимательнее, глубже. Она укрепит в вас чувство интернационального братства с народами разных стран, ведь в едином строю с советскими воинами на бой с фашизмом шли бойцы-патриоты Польши, Чехословакии, Болгарии, Югославии, партизаны Албании, подпольщики-антифашисты Германии, Венгрии и Румынии. Они сражались и умирали за вас, за нас, за то, чтобы человечество жило под мирным небом. И наш гражданский долг сейчас — крепить дело мира.

«Так пусть же, пусть же от верхов до устья не убывает памятью народ!»

Да будет мир на земле!

Егор Исаев



Василий Лебедев-Кумач

(СССР)

Священная война

В

ставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над родиной летать.
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Михаил Шолохов

(СССР)

Они сражались за Родину

(главы из романа)

В

балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.

«До чего же обнаглели, проклятые! Идут, как на параде... Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай, с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов.

Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как, словно от ветра, колыхнулся росший метраж в двухстах впереди куст боярышника и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.

Танки повели с ходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться.

Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы.

Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронейщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронейщика Борзых умолкло. Но

навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение.

Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната.

С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.

Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронбойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся набок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину, спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоев и безмолвной башни густыми, пенными клубами.

Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева:

— Микола! Умыли мы их!.. Они с ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!

Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.

Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри его ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жженой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля металась мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымилась обугленные, темные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-

зелеными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему...

Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову; отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями; белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков; лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд, грубоватую плотность...

Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотой грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону.

И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, все еще пытался двигаться вперед, бесильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили иссиня-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще-темная краска.

Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и, когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.

— Опять их умыли... — зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. — Ты живой, Микола? Живой? Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умыть их до конца, вот в чем беда... Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб...

Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его: низкий, прерывистый, басовитый гул



летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание.

«Только этого и не доставало...» — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.

Двенадцать «юнкеров» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.

Николай опустил в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.

Николай не слышал потрясшего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный...

Очнулся Николай, когда самолеты, с двух заходов ссыпав свой груз, давно уже удалились и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.

Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь: мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли... Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жесткий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все: немцы были близко.

Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволившую все его тело слабость. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что

творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!

Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «КВ», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались...

Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощек и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то кричал, не слыша собственного голоса; он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог... Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно — сбылось! — высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..

Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные, не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков... Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском: — Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!

Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь — спасительное и долгое беспмятство.



Александр Твардовский
(СССР)

Я убит подо Ржевом

Я

убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

**Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю:
Наш ли Ржев наконец!**

**Удержались ли наши
Там, на среднем Дону!..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.**

**Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он!**

**Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как!**



И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые,
Нам — отрада одна:

Что не даром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.



Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была несомненно
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То, шагнувшую вспять,
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят!

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой!
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,



Если б мертвые, павшие,
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, войны, где вы,
Кто остался живой!

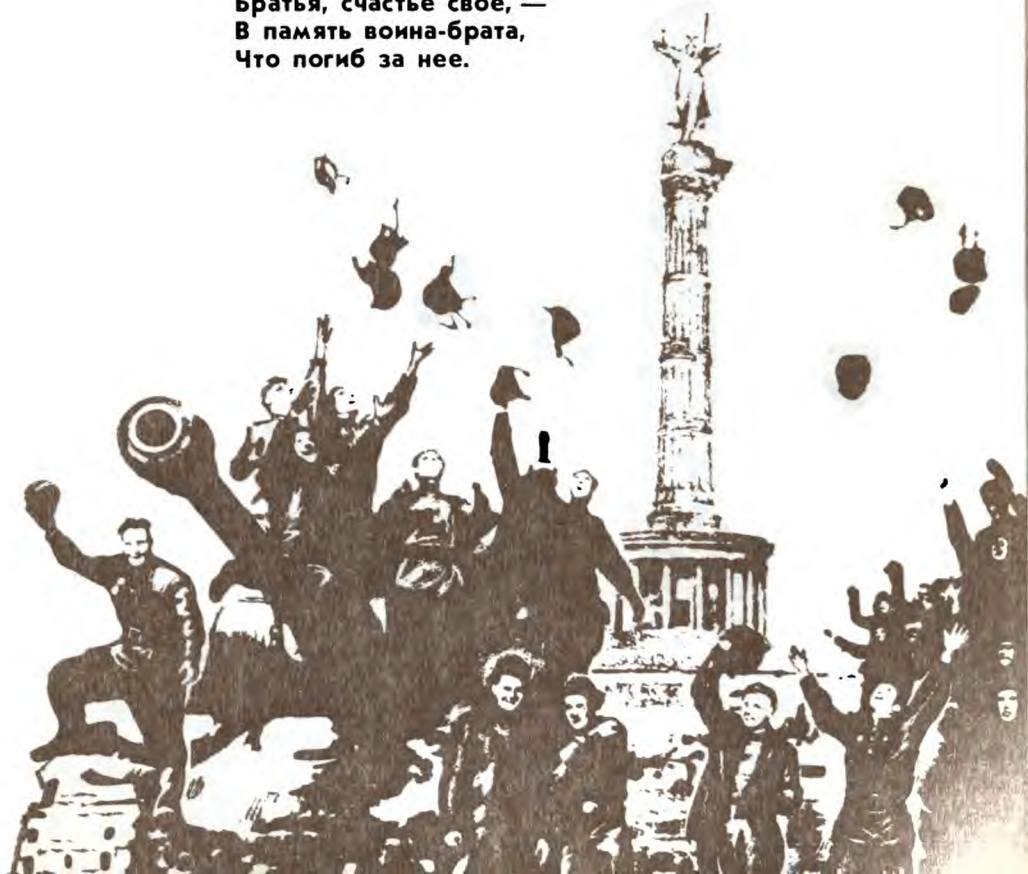
**В городах миллионных,
В селах, дома в семье!
В боевых гарнизонах
Не на нашей земле!**

**Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу!**

**Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.**

**Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.**

**И беречь ее свято,
Братья, счастье свое, —
В память война-брата,
Что погиб за нее.**



Константин Симонов

(СССР)

Т

А. Суркову

ы помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси...

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенской
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовой слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.



Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их!
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.





Демьян Бедный

(СССР)

Ленин — с нами !

В

ысоких гениев творенья
Не для одной живут поры:
Из поколенья в поколенья
Они несут свои дары.

Наследье гениев былого —
Источник вечного добра.
Живое ленинское слово
Звучит сегодня, как вчера.

Трудясь, мы знаем: Ленин — с нами!
И мы отважно под огнем
Несем в боях сквозь дым и пламя
Венчанное победой знамя
С портретом Ленина на нем!

Радован Зогович

(ЮГОСЛАВИЯ)

Без границы



Один за другим исчезают,
оставляя окопы другим.
Этот — в конце атаки,
не выпуская винтовки.
Этот — с рукой, еще теплой
от пожатия моей руки.
Этот — на полуслове.
Этот — на полувздохе.
Сотни моих товарищей.
Товарищей дорогих.
Один за другим исчезают,
уходят мои ровесники.
В землю ложатся, в землю,
зарастают травой сплошной.
И я с землею срастаюсь.
Холодной,
огромной,
песенной...
Земля мне — как комната рядом.
Как комната подо мною.
Комната в том же доме
и даже на той же лестнице...
Граница жизни! Да где она!
В себя самого я смотрю.
Во мне оживают погибшие,
во мне голоса их звучат.
Я их вспоминаю каждого.
Я им подняться велю.
Они ночами бессонными в стену дома стучат.
Я с ними через границу,
как через улицу, говорю...
Тают границы, тают.
Земля близка и горька.
Земля жива, потому что
друзья мои в этой земле.



Граница жизни!

Пустое!

Мы вместе наверняка!

Похожи на речку,

которая то исчезает во мгле,
а то, из земли вырываясь, —

обрушивает берега!
Один за другим исчезают,

оставляя окопы другим.

Этот — в конце атаки,

не выпуская винтовки.

Этот — с рукой, еще теплой

от пожатия моей руки.

Никола Вапцаров

(БОЛГАРИЯ)

Б

орьба так беспощадна и жестока.

Борьба, как говорят еще, эпична.

Я пал. Другой меня сменил и... только
исчезла лишь какая-то там личность.

Расстрел, а вслед расстрелу — черви,

и все это так просто и логично...

Но знай, народ, с тобой в отрядах первых
пойдем вперед мы в буре необычной!¹

¹ Первая строфа стихотворения написана весной 1942 г., вторая — 23 июля 1942 г., за несколько часов до расстрела.





Эрих Вайнерт

(ГДР)

Все силы против Гитлера !

В

есь мир сотрясает дьявольский рев.
Беснуются смерть и разбой.
И горе и рабство на веки веков
Несут эти орды с собой.
Продажный, прожженный, прожорливый сброд
Занес над планетой топор...
О как ты обманут, германский народ!
В какой тебя ввергли позор!

К оружию, товарищи! Бейте в набат!
Свобода нас в бой позвала!
Немецкую землю, немецкий солдат,
Избавь от фашистского зла!
Убей этих псов, что войну разожгли,
Воздай им за слезы и кровь.
И станут свободны все люди земли,
И счастье вернется к ним вновь!

Какое бездонное горе кругом!
Все это фашизм совершил.
Он вытоптал пашни своим сапогом,
Он хлеба голодных лишил.
Труды поколений развеяны в прах,
Кромешная стелется мгла:
То черная тень эшафотов и плах
На скорбную землю легла.

К оружию, товарищи! Бейте в набат!
Свобода нас в бой позвала!
Немецкую землю, немецкий солдат,
Избавь от фашистского зла!
Убей этих псов, что войну разожгли,
Воздай им за слезы и кровь.
И станут свободны все люди земли,
И счастье вернется к ним вновь!

**Винтовку, немецкий солдат, поверни
На гнусных хозяев своих!
Стреляй по фашистам! Огнем их казни!
Предательство — слушаться их!
Мы ждем тебя! С нами в едином строю,
Верша справедливую месть,
Из мрака ты родину вырвешь свою,
Вернешь ей свободу и честь.**

**К оружию, товарищи! Бейте в набат!
Свобода нас в бой позвала.
Немецкую землю, немецкий солдат,
Избавь от фашистского зла!
Убей этих псов, что войну разожгли,
Воздай им за слезы и кровь.
И станут свободны все люди земли,
И счастье вернется к ним вновь!**



Младен Исаев

(БЪЛГАРИИ)

Наше Время

С

ловно злая черная волна,
это время буревое минет!
Снова знамя зелени весна
над разбуженной землей поднимет.

Но узнают ли на той земле,
как входил в нас холод через поры,
как ночами в ледящей мгле
мы вдыхали едкий, горький порох,

как победу призывали мы
в пламени бушующем фугаса,
как луна плыла среди дымной тьмы
окровавленной солдатской каской!

Пусть же долетят издалека
к людям наша песня, наше слово,
чтобы помнили грядущие века
век геройский и суровый.

Александр Твардовский
(СССР)

В

ойна — жесточе нету слова,
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.



Десанка Максимович

(ЮГОСЛАВИЯ)

Кровавая сказка



то случилось в одном государстве
балканском —

в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

Все они были ровесники,
все — одноклассники.
Вместе учились и вместе играли,
хором стихи наизусть повторяли.
Вместе ходили к врачам на прививки.
Все у них общее было:
уроки, болезни, привычки.
Вместе они и погибли.

Это случилось в одном государстве
балканском —

в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

Ровно за сорок минут до их смертного часа
вот что умы занимало
этого класса:
«Грядки. Их шесть на моем огороде.
Десять арбузов на каждой».
И прочее в этом же роде.
Мысли мальчишек касались домашних заданий,
по выполнению которых
качество ими усвоенных знаний
будет измерено грудой никчемных пятерок.

Детям казалось,
что долго бродить им по белому свету.
Долго решать им задачи —
сначала вот эту, —
кто помешает!
Все, что им задано,
перерешают.

Это случилось в одном государстве
балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.
За руки взявшись,
пошли они на смерть рядами.
Самые слабые дети и те не рыдали.
После уроков,
сложив аккуратно тетрадки,
шли на расстрел они поступью твердой
в полном порядке,
прямо и гордо.
За руки взявшись,
прямо под пули
эти ребята навстречу бессмертью шагнули.



Албанская партизанская песня

(Слова народные)

Споемте о смелых

Споемте о смелых
Бойцах-партизанах,
О тех, кто под бурками
Спит на полянах,
О тех, что для счастья
Родимой земли
Покинули жен
И из дому ушли.
Рабами товарищи
Быть не хотели,
И нет у них
Лучшей, чем эта, постели.
Гранаты у них
В изголовье лежат,
Споемте тихонько —
Товарищи спят.

Сергей Михалков
(СССР)

Десятилетний человек

К

рест-накрест синие полосы
На окнах съжившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе.
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе...

Накинув старый зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу — прямо на восток.

Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел.

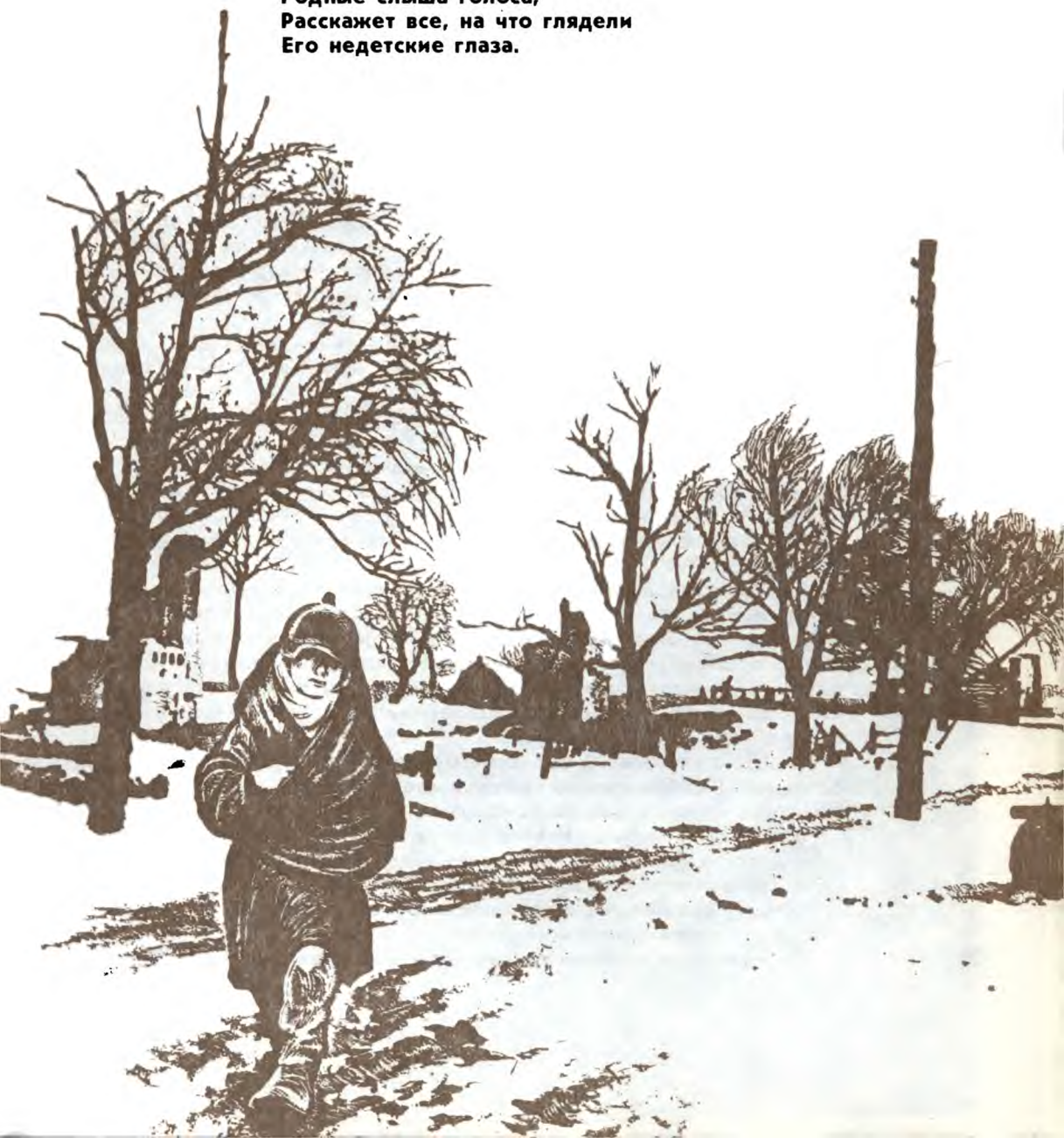
В нетопленной, разбитой бане
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!

Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза.
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.

Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.

И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.



Бранко Чопич

(Югославия)

Учитель гимнастики

У

читель гимнастики из реальной гимназии, человек лет пятидесяти, сухощавый и долговязый, представлял собой известный тип людей, до преклонного возраста сохраняющих юношескую подвижность, завидное здоровье и неувядаемый энтузиазм в своем деле. Весь боснийский городок знал Ярича, и, едва зайдя в начале улицы учителя гимнастики, вечно всклокоченного и стремительного, словно бы он несся к незримому финишу, лавочки оживлялись и настраивались на шустрый и веселый лад.

— Эгей, сосед, выходи, Ярич идет!

— Эгей, куда это вы, господин учитель, в такую рань? — кричит уже кто-то из распахнутых дверей. — Уж не купаться ли по такому времени? Ну, брат, ты у нас атлет!

— Эгей, господин учитель, албанец Шемсо привет тебе шлет, говорит, не прочь бы снова сразиться с тобой в честном бою.

А Ярич бодро шагает, словно марширует вдоль строя восторженных болельщиков, и, раздавая направо и налево приветствия рукой, беззлобно отвечает на подначки:

— Постарели, милоч, Шемсо и я. Это мы когда-то с ним сражались.

Без галстука, в спортивной рубашке, учитель до снега ходил без плаща и лишь с наступлением зимы появлялся в какой-то изношенной зеленоватой хламиде, в которой и шествовал к гимназии еще более решительным шагом, как бы противясь непогоде и стуже развевающимися полами. Тогда же переставал он и купаться в реке, на своем излюбленном месте возле павильона, где его могли видеть все с высокого дощатого моста.

— Сдается мне, не видно сегодня Ярича на реке, — оповещал сапожник Тарабич своего соседа и, потирая руки, добавлял: — Зима, сосед, против нее не попрешь.

В гимназии Ярич с первого класса отбирал наиболее способных к гимнастике учеников и потом занимался с ними до конца обучения. Они становились бессменными его любимцами, можно сказать, истинными его детьми, о которых он отечески заботился, тем более что своих детей учитель не имел.

Прогуливаясь главной улицей воскресным вечером со своей до-

родной, флегматичной супругой, он с любовью и гордостью показывал ей своих спортсменов:

— Посмотри, это мой чемпион в тройном прыжке! А тот вот, я говорил тебе о нем, рекордсмен по толканию ядра.

Любимцам на его уроках, казалось, все было позволено. Они безнаказанно шумели, прыгали, без спроса выходили из строя во время тренировок во дворе и из класса — зимой. Нередко они сами настаивали на том, чем заниматься на уроке физкультуры и где проводить соревнование; дело доходило до того, что вместо мяча они гоняли по двору учительскую шляпу и, заартачившись, самовольно прерывали занятия, с оскорбленным видом забиваясь в какой-нибудь угол. При этом Ярич, чувствуя себя ужасно несчастным, кидался к недовольному и, обняв его за плечи, начинал что-то шептать ему на ухо, пока наконец оба не присоединялись к классу — Ярич с сияющим лицом прощенного виновника, ученик — все еще надутый, покрасневшийся и со следами слез.

Обнаружив летом в своем саду над рекой забравшихся на яблони воришек из числа его избранников-гимназистов, Ярич бросался их ловить, но, когда голопузые мальчишки, попрыгав в воду, устремились вплавь к противоположному берегу, учитель, позабыв и яблочки, и кражу, подбадривал своих любимцев:

— Вперед, Бобо, вперед! Bravo, Никица, сокол!

Его любимцами обычно были разбитные, дерзкие и ловкие городские ребята, тогда как дети из села, по большей части нерасторопные и застенчивые, не проявляли никакого желания состязаться на людях. Среди них разве что попадетсся порой метатель камней, угрюмый молчальник, от которого еще можно было ожидать какого-нибудь результата. Поэтому Ярич не слишком жаловал гимназистов из села и, промаршировав в начале учебного года вдоль извилистой шеренги догола стриженных деревенских ребят, обычно, сдвинув брови, вопрошал:

— Что вы, сердечные, все в школу повалили? Кто ж теперь пахать да сеять будет, а?

Из рядов той же самой деревенской публики Ярич в течение первых месяцев обучения намечал и классного козла отпущения, фигуру, совершенно необходимую для его метода преподавания. Выбирал он самого неуклюжего увальня, лопоухого дикаря и растяпу, с вечно заплетающимися ногами, не умевшего толком выполнить ни одного упражнения. Козел отпущения спотыкался на тренировках о каждый камень, терял штаны, наступал на развязавшиеся шнурки — словом, служил безотказной мишенью для шуток и острот.

— Итак, сейчас наш Недоделкин Вучен Билетина покажет нам тройной прыжок! — торжественно провозглашал Ярич, а толпа учеников, предвкушая удовольствие, теснясь и вытягивая шеи, начинала заранее блеять и кудачтать от восторга.

Поначалу Недоделкин был недоволен своей незавидной ролью, но очень быстро до него доходило, что, собственно говоря, он наряду с любимцами Ярича пользуется привилегированным положением, ибо на фоне его неуклюжей неловкости быстрота и сноровка рекордсменов приобретают особый блеск.

Бывало, Недоделкин словно с цепи сорвется и давай откалывать такие шуточки, что весь класс так и покатывается со смеху, но Ярич смотрел на все это сквозь пальцы, не находя, должно быть, в этом ничего особенного, и позволял распоясавшемуся мальчишке, забравшись за доску, показывать оттуда рожи классу, а при удобном случае и самому учителю.

Остальная масса учеников, находившаяся между чемпионами спорта и Недоделкиным, как бы вовсе не существовала для Ярича и воспринималась им в лучшем случае как толпа болельщиков и благодарных слушателей.

Зимой, когда было невозможно заниматься на открытом воздухе, Ярич должен был читать теоретический курс, но по традиционному школьному сговору кто-нибудь из гимназистов наводил учителя на разговор, и тот пускался в воспоминания о собственном атлетическом прошлом или о других выдающихся гимнастах, борцах, боксерах и прочих знаменитостях. Лучшее всего удавалось это Недоделкину.

— Господин профессор, — начинал он с необычайной серьезностью, а Ярич, польщенный титулом «профессор», хмурил брови и сдерживал улыбку в ожидании новой проделки. — Господин профессор, расскажите, пожалуйста, как вы боролись с албанцем Шемсо, когда он еще не потерял борцовской квалификации.

Албанец Шемсо, каждому школьнику известный продавец пирожков, этакая туша в сто сорок килограммов веса, являлся непременной составной частью городского реквизита, без коего городок был бы обеднен и обездолен, как если бы из него был изъят овальный белый павильон в парке возле моста. Естественно, что при упоминании его имени весь класс оживлялся:

— Расскажите, господин профессор, расскажите!

— Эх, Шемсо, Шемсо... — произносил учитель, вдохновляясь. — Когда-то это был борец. Шея бычья, ручищи вот такие, а спина что твоя дверь. В подметки ему не годился даже сам... даже сам...

— Даже сам Вучен Билетина! — вставлял свое слово остроумный Недоделкин Билетина.

Класс разражался хохотом, а Ярич, воодушевляясь, дробил и молотил руками в воздухе так, что кафедра начинала скрипеть и раскачиваться, как будто бы тут и в самом деле схватились, пыхтя и насадая друг на друга, два борца!

Точно с таким же жаром повествовал Ярич о Геракле, древнегреческих олимпийцах, римских гладиаторах, о нашем знаменитом Лео Штрукеле, Марьяне Матиевиче, герое из Лики и т. д., но больше

всего распался он, рассказывая о Спарте и спартанцах, царе Леониде и легендарном бегуне из Марафона.

Очарованный, завоженный класс вслед за учителем переносился мысленно в древнюю Элладу и там плечо к плечу со спартанскими воинами состязался на атлетических ристалищах и в полном боевом снаряжении быстроногим гонцом приносил донесения с поля брани. Лишь школьный звонок, пробуждая ребят, возвращал их к будничной реальности душного класса и занесенного снегом городка за запотевшими оконными стеклами.

Вдохновленный бесчисленными образцами человеческой силы и красоты, олицетворяющими собой высшие достижения физического развития, Ярич всю гимназию заразил своим увлечением. Его ученики на всех соревнованиях показывали высокие результаты, многократно одерживали победы, а в конце учебного года, на видов день, проходил традиционный спортивный общешкольный праздник, которого ждали с нетерпением и ребята, и преподаватели, и жители городка.

Так, в постоянном горении от одного спортивного торжества до другого, проводил год учитель Ярич, обогащая фонд спортивных достижений новыми победами. Долгие годы потом помнил он о чемпионах, которые закончили школу, и бесконечно рассказывал новым поколениям учеников о Лемиче, замечательном легкоатлете, о спринтере Видаиче, о толкателе ядра Дреновиче. И отсветы славы легендарных спартанских героев озаряли в рассказах учителя как бы и их имена.

В тот предвоенный год особые надежды в беге подавал худой чернявый паренек Даниша Зорич, ученик восьмого класса, личанин родом. Постоянно его тренируя, Ярич лелеял мечту блеснуть своим питомцем на межшкольных соревнованиях в конце года. Хотя бы раз в неделю Ярич выходил со своим учеником в поле за город, их видели вместе на прогулках, на рыбалке, на реке, словно двух товарищей. Ярич и сам молодец подле этого паренька, будто бы снова возвращались к нему школьные годы, когда он тоже выступал на состязаниях и выходил победителем.

Начавшаяся война с Германией грубо прервала спортивные планы учителя. За одну ночь государственная власть пришла в полное расстройство и смятение и с поразительной быстротой рухнула. Не успел ошеломленный Ярич опомниться, как городом завладели усташи, начались аресты и преследование сербов. Однажды ночью и Ярича подняли из постели и посадили в тюрьму, а из нее через два дня препроводили в маленький, захолустный городок, где находился один из первых, наспех оборудованных лагерей. Учитель сразу же обнаружил в том лагере большую группу своих бывших учеников, а среди них и своего любимца, бегуна Зорича.

— Зорич, и ты здесь! — с горестным изумлением воскликнул Ярич, почти совсем седой и столь разительно постаревший за это

короткое время, что юный бегун поневоле вскочил с места, точно ему явилась тень.

Старые друзья, учитель и ученик, испытывали при этом неожиданном свидании такое чувство, как будто бы они знали друг друга в какие-то давние, давно прошедшие времена, обретались в иных мирах, среди других людей, совсем иначе мыслящих, действовавших и воспринимавших окружающее.

Они поговорили друг с другом недолго, всего минут десять, но и этого им было довольно, чтобы осознать самое важное: то, что до недавних пор связывало их, кануло теперь куда-то безвозвратно, умерло. Исчезло то, что делало их равными и близкими, оба они как бы вмиг прозрели. Ярич обнаружил перед собой желторотого, зеленого юнца, растерянного, неопытного, между тем как перед Зоричем предстал седой, беспомощный старик, не способный постоять за самого себя.

Однажды утром заключенным приказали собираться в дорогу. По лагерю пронесся слух:

— Идем в Госпич.

Напуганные упорными разговорами о скрывающихся в лесах «бунтовщиках», усташи из предосторожности стали связывать молодых заключенных по двое. Из-за нехватки веревки кое-кого связывали просто бечевкой, оказавшейся под руками.

— Вставай, профессор, строй свою армию к походу, — скорее всего без всякой насмешки, вполне серьезно подтолкнул Ярича усташский поручик к его связанным ученикам.

Прежде всего Ярич отыскивал глазами спринтера Зорича. Он, без сомнения, должен возглавлять колонну.

— Зорич! Эй, Зорич!

Бегун оказался в паре со своим одноклассником, главным Недоделкиным, Васой Лаврнем, невзрачным, мелкорослым пареньком. Ярич лишь горько усмехнулся, поставив их во главу колонны.

— Ну вот, Лаврня, и тебе в кои-то веки выпало первым быть, да еще с чемпионом.

В похоронном молчании выйдя из городка, колонна поднялась на гряды невысоких холмов и зашагала долиной, покрытой волнистым морем папоротников с редкими купами тонких берез. Мелкие лощины и увалы, пересекавшие местность вдоль дороги, поросли корявым орешником и худосочной, тощей кукурузой. В какой-нибудь сотне метров слева от дороги высились мощные бастионы дубравы.

Был хмурый ненастный день, какие часто выдаются в эту весеннюю пору, и погода усугубляла мрачное настроение пленников на их пути к пугающей неизвестности с чужими и жестокими людьми — таких людей все прибывало в последнее время, словно бы этот несчастный год порождал их и множил. Взрослые тревожно перешептывались, между тем как школьники беспечно топали дорогой, до-

вольные уже тем, что идут куда-то под открытым небом, и не раздумывали о дальнейшем.

В испарине, побледневший, стараясь держать взятый темп, Ярич шагал рядом с колонной, точно так же, как тогда, когда выводил своих учеников на занятия. И, как всегда, не выпускал из поля зрения своего любимца; тот шел вперед уверенно и бодро, как будто вел своих товарищей в воскресный поход.

Вдруг во главе колонны произошло какое-то движение и замешательство. Стеснив ряды, колонна на мгновение остановилась, и в это самое время от нее отделился Зорич и через папоротник полетел стрелой к дубовой роще. За ним кинулся приземистый Лаврня, сделал несколько отчаянных скачков, а затем, метнувшись неожиданно вправо, скрылся в первой поперечной лощине.

Конвойные усташи заорали из хвоста колонны:

— Уйдет, уйдет! Держи его!

Двое-трое усташей кинулись вдогонку за беглецами. Хлопнули выстрелы, но послышался крик:

— Не стрелять! Взять живьем!

Однако догонявшим было не до того, чтобы стрелять, а оставшиеся боялись перебить своих. Погоня неслась напролом через папоротники, при этом Зорич, положившись целиком на выносливость своих ног и не ища защиты и укрытия в лощинах, все дальше уходил от преследователей, откровенностью своего вызова заставив позабыть второго беглеца — бесславно скрывшегося в поле, подобно мыши, классного Неделкина Лаврню.

Колонна пленников, замерев, следила за погоней. И, как бы забыв, что любимец его на этот раз бежит от смерти, снова оживившись и помолодев, Ярич выскочил на обочину и, потрясая в воздухе стиснутыми кулаками, прокричал что есть мочи вдогонку бегущему:

— Вперед, Зорич! Bravo, марафонец! Жми, Зорич, жми!

Подхлестнутый этими возгласами поддержки и одобрения, Зорич мчался уже среди редких белых берез, приближаясь к дубовому лесу. Ярич ликовал, приплясывая от восторга.

— Bravo, брависсимо, марафонец! Вперед, вперед!

Только теперь, когда беглец намного оторвался от преследователей, вслед ему грянуло несколько выстрелов. Последний из них с трусливо близкого расстояния был предназначен его тренеру и болельщику. В пылу спортивного азарта, разгоряченный, счастливый Ярич пошатнулся, потрясенный неожиданным огненным разрывом, но по-прежнему не отрывал глаз от своего любимца-победителя, который уже скрылся в гуще спасительной дубравы.



Ярослав Ивашкевич

(ПОЛЬША)

Икар

У

Брейгеля есть картина под названием «Падение Икара». Взглянув на нее, вы видите крестьянина, пахущего землю на высоком морском берегу, пастуха, с безучастным видом пасущего стадо, рыболова, вытаскивающего из моря удочки, и вдали — спокойный город. По морю плывет судно с развернутыми парусами, а на палубе купцы беседуют о своих делах. Словом, перед вами жизнь с ее будничными заботами и хлопотами. Но где же Икар? Где тот, который пытался взлететь к солнцу? И, только пристально всмотревшись в картину, вы замечаете в уголке торчащие из воды ноги и несколько летящих над морем перьев, вырванных силой падения из искусно сконструированных крыльев. Падение Икара произошло секунду назад. Смельчак приделал себе крылья — как гласит греческая легенда — и поднялся высоко-высоко, к самому солнцу. Солнечные лучи растопили воск, которым Икар скрепил перья на своих крыльях, и юноша упал. Трагедия свершилась — вот он тонет, погружаясь в море, но люди этого не заметили. Ни крестьянин, пахущий землю, ни купец, плывущий вдаль, ни бездумно уставившийся в небо пастух — никто не заметил гибели Икара. Только поэт или художник увидел эту смерть и запечатлел для потомства.

Эта картина встает у меня перед глазами всякий раз, когда я вспоминаю один случай. Был июнь тысяча девятьсот сорок второго или сорок третьего года. Прекрасный летний вечер спускался над Варшавой, розовые отблески заката бросали вычурные тени на разрушенные дома, а бурный поток людей спешил втиснуться в трамвай, чтобы попасть домой до комендантского часа, и в толпе штатских совсем терялись редкие в этот час военные мундиры. При взгляде на варшавские улицы, оживленные и прекрасные в безмятежной ясности июньского дня, на миг могло показаться, что в городе нет оккупантов. Но только на миг...

Я стоял у трамвайной остановки на углу Трембацкой улицы и Краковского предместья. Красные вагоны, оглушительно звеня, пронеслись один за другим вдоль Краковского предместья. Люди, оттирая друг друга, втискивались в них, висели на подножках, карабкались на буфера, гроздьями облепляли вагоны. Время от времени

мимо проезжала красная «нулевка», предназначенная для немцев и потому почти пустая. Я долго ждал трамвая посвободней, в который можно было бы сесть. Когда же он наконец пришел, мне вдруг расхотелось уезжать, потянуло остаться в толпе, которой не было до меня никакого дела.

Передо мной возвышался на пьедестале Мицкевич; у подножия памятника, несмотря ни на что, цвели, распространяя аромат, скромные цветы; у костела кармелитов со скрежетом поворачивали автомобили; громко кричали мальчишки-газетчики, продавцы папирос и пирожных толпились возле сверкавшего огнями магазина; с грохотом опускались жалюзи, на дверях и окнах складов задвигали решетки; в садике, где все скамейки были заняты стариками и молодежью, чирикали воробьи, тоже густо облепившие хилые деревца, — и все это медленно погружалось в голубой сумрак летнего вечера. В эту минуту я слушал биение сердца Варшавы и невольно замешкался, чтобы еще немного побыть среди людей и вместе с ними насладиться красотой городского летнего вечера.

Вдруг я заметил юношу, шедшего со стороны Беднарской; он неосторожно выскочил из-за тронувшегося трамвая и, стоя на маленькой площадке лицом к мостовой и спиной к рельсам, продолжал читать книжку, с которой вынырнул из сереющего сумрака. Ему было лет пятнадцать, самое большее — шестнадцать. Читая, он время от времени встряхивал головой, откидывая белокурые волосы, падавшие на лоб. Одна книжка торчала у него из кармана, другую он держал перед глазами, вероятно, не в силах оторваться от нее. Должно быть, он только что взял ее у товарища или в нелегальной библиотеке, и ему не терпелось поскорее заглянуть в нее. Я сожалел, что не мог увидеть название книги, издали она походила на учебник, но вряд ли какой-нибудь учебник мог так захватить юношу. Быть может, это были стихи? Или какая-нибудь книжка по эконоимике? Не знаю.

С минуту юноша стоял на площадке, погруженный в чтение. Он не обращал внимания ни на шум, ни на осаждавшую трамвай толпу. Несколько красных вагонов проскользнуло у него за спиной, а он все читал. И вдруг — то ли ему надоели толкотня и раздававшиеся вокруг крики, то ли он вспомнил, что надо торопиться домой, — он, по-прежнему не отрывая глаз от книги, шагнул с площадки на мостовую — прямо под мчавшийся автомобиль.

Воздух прорезал скрежет тормозов и свист заскользивших по асфальту шин; автомобиль вильнул в сторону и остановился на углу Трэмбацкой. К своему ужасу, я увидел, что это машина гестапо. Юноша с книжкой попытался обойти ее. Но в этот самый миг распахнулись задние дверцы, на мостовую выскочили два гестаповца в касках с черепами и подскочили к юноше. Один из них кричал что-то гортанным голосом, а другой широким жестом, с явной издевкой пригласил юношу в машину.

По сей день вижу, как он стоит у дверцы автомобиля, смущенный, пристыженный... Отнекивается, наивно качая головой, точно ребенок, обещающий, что никогда больше не будет... «Я ничего дурного не сделал, — казалось, говорил юноша. — Я только так...» И показывал при этом на книжку — она, мол, причина его невнимательности. Как будто им можно было что-нибудь объяснить или доказать. Он не хотел садиться в машину, подсознательно ощущая свою обреченность.

Гестаповец потребовал предъявить документы, выхватил у него из рук пропуск и грубо подтолкнул к автомобилю. Второй подоспел к нему на помощь, и юноша в два счета очутился в автомобиле, гестаповцы вскочили за ним, дверцы захлопнулись, и машина, рванувшись с места, помчалась в сторону аллеи Шуха...

Машина исчезла из глаз. Я осмотрелся по сторонам, ища у людей понимания и сочувствия. Ведь юноша с книжкой погиб! И, к величайшему изумлению, убедился, что никто не заметил того, что произошло. Все описанное мною свершилось так быстро, так молниеносно, а каждый в уличной толпе был так занят собой и так торопился, что похищение юноши прошло незамеченным. Женщины рядом спорили, каким номером трамвая лучше доехать до дому, двое мужчин закуривали за трамвайным столбом, стоявшая у стены баба с корзиной непрерывно повторяла, словно буддийское заклинание: «Лимоны, лимоны! Хорошие лимоны!» Какие-то парни бежали по мостовой за отходившим трамваем, рискуя тоже угодить под автомобиль... Неподвижно стоял Мицкевич, пахло цветами, на легком ветру возле памятника покачивались березки и рябины, — никому не было дела до исчезнувшего мальчика. Я один заметил, что Икар утонул.

Я еще долго стоял на углу, ожидая, пока толпа поредет. Надеюсь, а вдруг Михась — так я мысленно назвал мальчика — вернется. Я представлял себе его дом, родителей, ожидающих его возвращения, мать, готовящую ужин, и в голове у меня никак не укладывалось, что они никогда не узнают, как погиб их сын. Я, конечно, отдавал себе отчет, зная нравы оккупантов, что ему не вырваться из их когтей. Как нелепо он попался! Бессмысленная жестокость этого происшествия глубоко взволновала меня и волнует по сей день.

Те, кто пал в борьбе, и те, кто сознательно шел на гибель, быть может, утешались тем, что их смерть осмысленна. А сколько было таких, как мой Икар, что утонули в море забвения по воле жестокого в своей нелепости случая!

Наступил вечер, город засыпал нездоровым, лихорадочным сном... Я покинул наконец трамвайную остановку, миновал памятник Мицкевичу и побрел домой... Меня все еще преследовал образ Михася, который качал головой, как бы говоря: «Нет, нет, во всем виновата книжка... Теперь я буду осторожнее...»

Матей Бор

(ЮГославия)

Черные люди

Ч

его эти черные люди хотят!
Зачем они, мама, так злобно глядят!

— За Сивкой пришли они в час ночной.
Не плачь, сыночек. Ты ведь со мной.

— Зачем же мы тоже идем! Я боюсь!
Ой, мама! Мне страшно. Я очень боюсь.

— За Сивкой должны мы идти, потому
Что Сивке скучно без нас, одному.

— Нам надо в село; зачем же мы вдруг
Свернули с дороги в соседский луг!

— Накосит отец травы для коня,
Чтоб Сивке быть сытым к рассвету дня.

— Он вовсе не косит. Он подле межи
Копает яму. Зачем! Скажи!

— Посадит он дивное дерево тут,
И алые розы на нем расцветут.

— Стоять оно будет в полном цвету,
Наверно, когда я уже подрасту!

— Конечно, сынок. А теперь не гляди.
Зажмурься. Вздремни у меня на груди.

— Ты тоже заснешь!

— Мы оба заснем
Средь роз, горящих алым огнем.

— Не спится мне, мама. Но что это! Ой!
Что делают черные люди с тобой!
Зачем наставляют ружья на нас!

— Не надо смотреть, сыночек, сейчас.
Минутку одну потерпеть — не беда.
Никто уж не будет нам страшен тогда.

И черные люди уже не видны
При смутном сияньи кровавой луны.

Сынок не боится теперь никого.
Все мирно на тихом лугу и мертво.





Николай Тихонов

(СССР)

Карлики игут

М

аленький Витя мало понимал в делах взрослых, но даже ему в это утро стало ясно, что происходит что-то очень неприятное и тревожное. Через деревню гнали поспешно овец и коров, проезжали телеги, на которых везли много разных домашних вещей, кричали дети, плакали женщины, а где-то совсем близко стреляли пушки.

Его мать с потеряннм лицом завязывала какие-то узлы и то и дело говорила ему: «Сиди смирно, не мешай, не до тебя». Потом она смотрела в окно, выбегала на крыльцо, вглядывалась в даль и растерянно говорила сама себе: «Что ж не едет дядя Костя? Да что же это он не едет! Как же мы останемся, этого не может быть...»

Витя тихонько вышел на крыльцо с прутиком в руке и с любопытством смотрел на деревенскую улицу, по которой никогда в такое время не ходило столько народу, никогда не было такого шума и гама. Но все перекрывали пушки. Они то гудели где-то за холмами, то пронзительно рвали воздух как будто совсем рядом.

Одно слово больше других говорили люди, и это слово было «немцы». Витя не мог понять, откуда они взялись и кто они такие. Спрашивать в этой сутолоке было бессмысленно. Взрослым хватало дела без того, чтобы объяснять ему, что происходит. Но волнение матери передавалось ему, и он не мог сидеть спокойно в комнате, неприбранной, с раскиданными вещами, с грязной посудой на столе, оставшейся от завтрака; он видел, как хозяйская кошка лакает на окошке молоко из горшка, и мать видит эту кошку и не гонит, как будто так и надо.

Он стоял на крыльце, размахивая прутиком, в глубоком раздумье. Борька подошел к нему неслышно и тронул за руку. Витя взглянул на Борьку, ожидая, что и Борька сегодня необыкновенный, но Борька был такой же, только хохол на его голове еще более распетушился, а в глазах блестел тот огонек, который всегда появлялся у него, когда он выдумывал что-нибудь такое, ни на что не похожее. Он это часто выдумывал. Для него отправиться без спросу в лес, на болото или уйти на станцию было любимым удовольствием.

И сейчас, взяв Витю за руку, он сказал ему:

— Идем-ка, я тебе покажу одну штуку... Скорее!

Витя пошел за ним как зачарованный. Борька скользнул по пыли босыми ногами, схватил за руку Витю, повел его по знакомой улице на край деревни. Там на холме стояла старая церковка с высокой колокольней, недоступной для детей, так как старый сторож колхоза всегда держал ее запертой, и ребята, только закидывая головы, смотрели на ее крышу, где гнездились пестрые голуби и ходили там по карнизу, так что даже из рогатки их трудно было достать.

Но сегодня был какой-то шальной день, и дверь на колокольню была открыта, и никакого сторожа нигде не было. Борька шмыгнул первым, и за ним, споткнувшись о выбитую ступеньку, шагнул и Витя. Они долго крадучись поднимались все выше и выше. Борька обращившись на Витю, строил страшные рожи и подымал предостерегающе руку вверх. Витя с беспокойным любопытством оглядывал серые стены, исчерченные разными надписями и рисунками, но разглядывать их не было времени. Они выбрались наконец на самый верх, и солнечный свет ударил им в лицо. Голубой сияющий простор неба раскинулся над холмами. Видны были даже дальние леса, и луга, и речка — все как на картинке. Витька просунул голову между перил, и у него захватило дух от непривычной высоты.

Минуту он ничего не понимал. Новые ощущения пространства родились в нем.

Борька показал ему пальцем в сторону оврага. Оттуда подымались время от времени облачка дыма, раздавался тяжелый удар, сверкал огонь.

— Что это? — спросил он с испугом.

— Чудак, — сказал с достоинством Борька, — это пушки, а там, смотри, это пулеметы наши.

Борька был старше, коновод, он все знал. Вдруг над самой колокольней раздался какой-то невнятный громкий щелк, и что-то рассыпалось в воздухе, ударило по ближайшим крышам, по деревьям, полетели листья, зазвенели стекла, раздались крики где-то внизу, среди изб.

Витя не успел присесть от страха на пол, как Борька больно рванул его за руку и закричал:

— Смотри, карлики идут, карлики идут...

Витя подполз и не отрываясь смотрел туда, куда указывал его приятель. Уменьшенные расстоянием, от куста к кусту по лужайке у самой речки шли, согнувшись, какие-то маленькие люди в черном. Они показались и Вите злыми, страшными карликами, которые шли на деревню, чтобы убить и Борьку, и Витю, и маму, и всех, кто был в деревне. Они то останавливались и делали какие-то движения, то падали, снова вставали и прятались в кустах, возникали из ям; их было много, этих карликов, взявшихся неведомо откуда, как в страшной сказке.

Все это было так не похоже на правду, что Витя смотрел, забыв

всякий страх. Когда черный столб вырастал между ними и карлики падали, Борька схватывал Витю за руку и вскрикивал от волнения. Теперь снаряды с железным скрежетом и посвистом пронеслись над колокольней. Зарокотал пулемет откуда-то слева, и карлики упали на землю, чтобы укрыться от него.

Потом они стали по одному ползти дальше. И тут Витя вспомнил, что мама ищет его по деревне, вероятно, кричит и плачет и что Борька опять «наделал делов», как говорили про него, — надо скорее, скорее бежать отсюда. Правда, эти черные фигурки приковывали его взоры, и невозможно было оторваться от них, от их движения, от их нелепых прыжков и падений, но надо было бежать, потому что снаряд ударил где-то совсем близко, и колокольня задрожала, как лошадь на карусели. Витя побежал вниз. Борька бежал за ним, держась за стены.

Витя потерял Борьку, когда они оказались на улице среди возов и людей. Но Вите было не до Борьки. Гул и грохот стрельбы тут, внизу, были гораздо страшнее, и люди кричали еще больше. Витя примчался домой в самый раз.

С опухшими от слез глазами, мать едва взглянула на него и закричала:

— Где ж ты был, дядя Костя уже приехал. Бери скорее эту кошелку. Скорее, надо уезжать. Немцы идут...

— Мама, — сказал он, — я их видел. Мама, не бойся, это карлики...

Но мать его не слушала. Она бежала уже на крыльцо, нагруженная узлами, и за спиной ее висел мешок. На улице стоял грузовик.

Дядя Костя усаживал женщин и детей в грузовик и, весь в пыли — даже усы его были в белой пыли, — говорил:

— Не торопитесь, все усядутся, все. Не оставим вас, не бойтесь...

Шофер заводил машину. И когда Витина мама тоже уселась на свои узлы, а Витя стоял, держась за борт, он увидел, как на деревенской улице появились среди облака пыли большие грузовики и с них стали соскакивать красноармейцы один за другим. В руках они держали винтовки и, соскочив, строились в ряды тут же, на улице. Витя смотрел с замиранием сердца на их высокие плечистые фигуры, на загорелые молодые лица, на сильные руки, державшие на весу пулемет. Они показались ему необыкновенного роста. Самый маленький из них был много выше тех карликов, что бежали там, по лугам, к деревне. Он сказал матери:

— Вот сейчас попадет карликам...

Мать хотела что-то ему ответить, но шофер, уже севший за руль, тронул машину с места, и она, тяжело вздрогнув, пошла быстрым ходом, обходя грузовики с красноармейцами.

Больше за пылью Витя ничего не мог разобрать, он упал от толчка на мамины узлы, и она его прижала к себе. Так он и остался, но он не мог забыть того, что видел с колокольни и что пережил, когда бежал



Мира Алечкович

(ЮГОСЛАВИЯ)

Тише, мама...

Я

включу приемник. Тише, мама...
Мы в гнезде осином — островок.
Бьет огонь из ящичка упрямо,
а за ним — весь мир... Он так широк!

Слушай же. Не пропусти ни слова...
Только знаешь — это не слова:
это, чтоб взлететь могли мы снова,
крылья нам с тобой дает Москва.

...Телеграф стучит, и ты — на месте:
лента, весть за вестью, день за днем.
Но все нет, все нет во тьме той вести,
чтоб рассветным вспыхнула огнем!

На людей глядишь, слезу роняя:
где ж надежда! Проблеск первый где ж!..
Теплых слез не проливай, родная, —
под Москвой и наш пролег рубеж.

Кремль стоит — и держит оборону.
И рассвет надежды нашей — там.
Вновь с любовью руку твою трону —
веру потерять тебе не дам.

Александр Прокофьев

(СССР)

М

осква, Москва, священная держава,
Благословляя, веря и любя,
Мы за тебя — по долгу, и по праву,
И по любви — мы бьемся за тебя!

За то, чтобы черемух пеной белой
Дымя-дымилась теплая земля,
Чтоб ликовали отчие пределы,
В отраде жили русские поля;

За то, чтоб солнце гасло на затоне
И звезды отражались бы в реке,
За то, чтоб мать глядела с-под ладони
На озаренном солнцем большаке;

За то, чтоб смолк повсюду рев орудий,
Чтоб хлеб и соль стояли на столе,
За то, чтоб просто радовались люди
На снова отвоеванной земле!



Юрий Бондарев

(С С С Р)

Батальоны просят огня

(глава шестая романа)



Он уснул, будто упал в мутную, теплую воду, и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного и нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: ясное солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно-белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло — спать, только спать... И где-то рядом, в высоте, среди этой светоносной белизны — тихое урчание мотора, и до шепота сниженный голос Жорки проговорил за спиной:

— «Рама». Полчаса вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает. Теперь жди — через полчаса приведет косяк...

И голос Ерошина — еле слышно:

— Вернее всего, не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще — дать бы по ней из ПТР. Залпами.

— Ерунда. Она бронированная.

— Спать всем, — негромко сказал Борис и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.

И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, точно бесформенная легкая тень, мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но скоро, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, чей-то знакомый голос позвал его, и Борис сразу очнулся от сна — привычка просыпаться мгновенно не покидала его даже в госпитале.

Сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Ерошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато — только что бежал, видимо.

— В чем дело? — спросил Борис.

Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке орди-

нарца подавая Борису фуражку, затем, придвинув к постели сапоги, возбужденно заговорил:

— Срочно, срочно вас... экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами. «Рамка» летает.

Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Скляра, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Борису шинель. Одеваясь, Борис увидел усмешку на лице Ерошина («Два ординарца вокруг одного офицера возьмется!») и сказал резким голосом:

— Пойдете со мной!

— Слушаюсь, товарищ капитан.

— Что?

— Я говорю, слушаюсь.

— Собирайтесь. Поменьше интонаций, Ерошин. Интонация придает иногда иную окраску словам.

Не отвечая, Ерошин пунцово покраснел, пожал плечами, и Борис, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные и загнутые вверх.

— Пошли, — повторил он.

Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли легкие вечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе, — далекая, опасная, чужая.

— Целый день торчит над головой, бродяга, — проговорил Жорка, следя за «рамой».

Борис мельком посмотрел на небо, не без едкости сказал Ерошину: — Вы, кажется, хотели стрелять по ней из ПТР? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел. — И скомандовал Скляру: — Ну, в штаб, быстро!

Майора Бульбанюка и Орлова в штабе уже не застали — здесь был один радист; оторвавшись от рации, он деловито сообщил:

— На Днепре. Все.

Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем песчаном окопчике. Бульбанюк глядел в бинокль на тот берег. Орлов, заметный опухшей щекой, повязанной теперь бинтом, хмурил брови, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же стояли и сидели на дне окопчика полковые разведчики, и среди них Борис увидел Легостаева с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, того самого, что встретил в штабе полка, и командира минометного взвода — небритого и молчаливого лейтенанта в очках. Легостаев, показывая пальцем на тот берег, простуженно басил Бульбанюку:

— Левее, левее... Вот там они...

— Вызывал, Бальбанюк?

Борис и лейтенант Ерошин прыгнули в окоп.

— Вызывал. Немедленно вызывал. — Бульбанюк опустил бинокль, стали видны морщины на лбу его; глянул в небо: — Слышал? — Слышал.

Бульбанюк раздумчиво пощелкал пальцами по биноклю.

— Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?

Ерошин по-уставному козырнул, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик, удивленно сторонясь, повел огромными плечами.

— Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!

— Приведите орудия сюда, — недовольным голосом приказал Борис Ерошину. — Все ясно?

Тот, мгновенно перекинув ногу, выскочил из окопа, и Бульбанюк, проводив его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.

— Экий у тебя усач-гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хорошо, две — хуже.

Вся печальная и тихая на закате, водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, это вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прорезала полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое; казалось, легкие, прозрачные дымки папирос таяли над их головами.

— Смазать бы их из винтовки, стервецов! — услышал Борис вблизи горячий шепот Орлова. — Уж больно ясно видны!

«Рама», глухо гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, вдруг снизившись, с ревом пронеслась низко над вершинами сосен, над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат. И немец там, на высотке, поднял руку и пилоткой помахал.

Теперь было очень тихо, по-вечернему тихо и пустынно. Стало слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались от ветвей, скользили, падали на свежий бруствер окопа.

— Вот так, — наконец сказал Бульбанюк. — Орудия поставишь здесь. Или же по своему выбору, дело не мое. Высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач-гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.

— Он должен успеть, — ответил Борис.

...Говорили, что у Бульбанюка есть чутье. Очевидно, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Ерошин привел орудия на берег и Борис отдал приказ приготовить их к бою, в темном, сразу выцветшем небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными красными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высоткой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева.

— Запомнить все. Стрелять будем, — сказал Борис.

Он сидел вместе с Ерошиным и братьями Березкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа: Бульбанюк, Орлов и разведчики были сейчас под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, переговариваясь сдавленными голосами, перетаскивали плоты из щаци. Батальон готовился.

Гул невидимых самолетов теперь накаленно дрожал уже над головами. И бледно в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под телом Ерошина зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Бориса.

— Сейчас будут, — прошептал лейтенант, тихо сползая по брустверу, но, опомнясь, быстро сел вплотную с Борисом, виновато улыбнулся: — Не люблю я бомбежку...

Братья Березкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, сощурясь.

— Всем в окоп, — приказал Борис.

И тотчас из темных высот неосвещенного неба понесся к земле дико, остро пронизывающий звук. Визг оборвался. Бомбы ударились о землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, зашевелился под ногами, как живой...

Потом бомбили деревню, неизвестные дальние лесные дороги, несколько бомб взорвалось там, где днем солдаты Бульбанюка строили плоты.

Потом наступила тишина. Последний «фонарь» устало догорал где-то в лесах, и лишь тусклое зарево в чаще — там, где было Золотушино, — слабо боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, молчал мертво. Кто-то облегченно засмеялся в окопе — кажется, Ерошин: «Еще бы несколько минут...» И, невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Борис первым вылез из окопа, отряхнул землю с погон. Сквозь звон в ушах он услышал шорох осыпающегося песка под чьими-то ногами: от берега бежал к орудиям человек, голос Склера раздался из потемок:

— Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу же после бомбежки. Первая и вторая роты... Вам поддерживать!..

«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время? Да, все должно свершиться сейчас. Это понимал осторожный Бульбанюк».

— К орудиям, — скомандовал Борис вполголоса.

— А мне как же?.. Куда, товарищ капитан? Мне?.. — растерянно и просительно спросил Скляр и затоптался перед Борисом.

— К Бульбанюку, голубчик. Ни шагу от него. К нему!

Он не видел, как исчез в темноте Скляр, не до него было.

Борис стоял между первым и вторым орудием (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло) и в черноте ночи, слившейся в одну воду и небо, уже улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Ерошин шепотом сказал рядом: «Это они... плывут», и Жорка Витьковский едва слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» — и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на этом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что там было на воде, все это уже как бы не существовало для Бориса. Было одно горячее, азартное, что владело им, захлестывало его всего: зацепиться в тишине за берег, роты рассыпать по лесу, разведчиков к высоте, взять ее...

И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет — потемки, свет — потемки... Лихорадочно красными мотыльками забилась вспышка на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет — потемки, свет — потемки... В огнях ракет появилась вода, рассыпанные плоты по быстрине, темные фигурки людей. Свет — потемки, свет — потемки.

Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотках разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; потом гулко и сухо забили винтовки. Плоты покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на воде мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный, тяжело зашлепало по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола.

— Огонь без команды по точкам! — крикнул Борис Ерошину. — Ну-ка, Вороной, я начну! Нащупали высоту?

Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, легонько отстранил его, пальцы сжали подъемный и поворотный механизм; панорама, приближая вспышки, выхватила из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Борис краешком сознания почему-то вспомнил немца, что на закате стоял там, прочно расставив ноги.

Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах, орудие резко откатилось, закрипел песок под брусьями.

— Сошники! — крикнул Борис, снова прикикая к ударившей в надбровье резиновой наглазнице прицела.

Он заметил, как снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от той точки, где пульсировали трассы, на привычную ощупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Ерошина. Жарко и колюче ударило в щеку сухими листьями, сухой хвоей.

Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Борис ждал несколько секунд (секунд, которые короче обычных), в панораму лез свет ракет, трассы спутались — огненными пунктирами летели в разные стороны. И тут снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец», — мелькнуло в сознании Бориса.

— Четыре снаряда, беглый огонь!

Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, Борис встал возле орудия и только сейчас увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Ясно различимые плоты сносило течением, вокруг них бегло рвались мины, один из плотов ткнулся в тот берег; другой, отстав, беспомощно и слепо кружил посередине Днепра — он, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин покрывали его.

— Четыре снаряда, беглый огонь!..

На высоте замолчал пулемет, Борис видел бегло-частые разрывы ерошинского орудия на правом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все — вспышки, трескотня автоматов, трассы ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа — там начал переправу батальон Максимова, но Борис не смотрел туда.

Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали от них теньями, заячьими скачками бежали по бугру к вставшему из тьмы лесу.

Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них все время кричали что-то, очевидно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине.

Столбы воды вплотную вырастали возле него один за другим, слабый, неразборчивый крик донесся оттуда.

Борис заметил, как на нем дыбом поднялись бревна и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.

— Накрыло! Чего ж они, а? — громко сказал Жорка.

Борис понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, но все же скоординировал выпустить беглым огнем восемь снарядов в сторону мерцающих над лесом зарниц, потом крикнул возбужденно:



— Передки на батарею! Жорка, лошадей!

Было ясно: Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом — на тот берег сразу упала темнота. И в этой темноте то возникало, то смолкало разрозненное шитье автоматов.

Переправа была спокойной, без единого выстрела, только разсальной, словно заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.

Правый берег встретил густой темнотой, нерассеянными запахами недавнего боя: горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.

Черный, глухой, казалось, затаенный, он возвышался угрюмой стеной до самых звезд; в чаще его где-то отдаленно простучал автомат и затих.

Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, в поводу сводили их на берег.

Борис сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв полый шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти. Борис протянул руку, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, рядом — острую металлическую ленту. Он дернул ее — твердое, круглое ударило его по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.

С хмурым и чуть брезгливым любопытством к чужой жизни, которая кажется всегда иной, Борис чиркнул зажигалкой и первое, что увидел в глубине окопчика, — сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, странно оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пирожок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания зажал рану пилоткой. Немец будто спал, уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел», — подумал Борис, глядя на убитого и испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам и этим острым коленям, прижатым к груди. Встал, бросил окурок, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились возле орудийных упряжек люди:

— Скоро там?

— Вы кого тут смотрели, товарищ капитан? — подходя, спросил Жорка. — Бродяга, что ли, убитый?

— Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Погрузишь на передок.

— Сделаем, — сказал Жорка охотно.

Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденный боем, говорил с непонятным и отчаянным весельем:

— Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки — в воду! Сержант кричит: «Вплавь, вплавь давай!» Глянул, а у него

лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..

А другой голос, знакомый, ответил слабым криком:

— Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?

— Они самые, — отозвались из тьмы.

— Капитана Ермакова...

— Скляр? — окликнул Борис. — Ты откуда?

Темным колом подкатилась к Борису круглая фигура связаного.

— От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли... Что тут было, товарищ капитан! — заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело. — Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули — повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» — Скляр захлебнулся смешком. — Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!

— А это кто с тобой?

— Это санитары. Раненых переправлять.

— Ерошин, скоро там? По местам!

Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом, узкую дорогу, Борис подал команду:

— Быстрым шагом, расчетам не садиться! — вскочил на передок первого орудия, сел возле Ерошина. Но тот отчужденно и молча отодвинулся; Борис, будто не заметив этого, полез за табаком, совсем спокойно спросил: — Курите, нет?

— Я не понимаю вас, товарищ капитан, — заговорил Ерошин с нотками возмущения в голосе. — Вам наверно, не жалко людей. Вам приказано нами командовать. Мы не ваша батарея. Поэтому... почему солдат не посадить на станины? Люди, как дураки, бегут за орудием... Я слезу.

Ерошин сделал движение — ногу поставил на ступеньку; Борис властно взял его за локоть, посадил на место.

— Ерошин, вы стихи никогда не писали?

— Нет.

— Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?

— Нет.

— Это наверняка ваше любимое слово, — Борис усмехнулся, — два раза «нет». Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?

— Нет.

Борис рассмеялся.

— Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Ерошин.

— А вы мне... а вы... нет, товарищ капитан.

— Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.

Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкрадчиво:

— Товарищ капитан, часы как у вас — точно ходят?

— А что?

— Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.

Перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Борис, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил Ерошина:

— Часы у вас есть, лейтенант?

— Нет и не надо.

— Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого — убьет самого?

Так, что ли?

— Может быть.

— Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое... — сказал Борис.

Впереди, в глубине леса, прошел тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался и снова прорезал ночь. Ему ответил отдаленный бой пулеметов. Ерошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:

— Что самое страшное?

— Договорим когда-нибудь. К сожалению, нам мешают, — ответил Борис. — Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему несвойствен. Давай коня!

Борис поскакал вперед по безлюдной, казалось, дороге среди леса, прищипывая лошадь, теперь все время слыша справа и слева за лесом отдаленный бой пулеметов.

Вдруг из темноты закричали приглушенно:

— Стой! Кто такие? Куда леший несет?

И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.

— Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?

— Впереди...

Борис направил лошадь к обочине, впритирку к лесу, стал обгонять скрипелешие повозки хоззвода, повозки минометчиков, рассянную, далеко растянувшуюся колонну — его то и дело негромко окликали — и наконец выехал на середину дороги и скоро нагнал нескольких всадников, среди которых были Бульбанюк и Орлов.

— Какая обстановка? — спросил Борис.

— Вот мозгуем над обстановкой, — ответил Бульбанюк густым голосом. — Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо... Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматика легонько разговаривают. Но так себе, слабо.

Ну так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.

Бульбанюк замолчал, обратил белеющее лицо к Борису, и здесь Орлов, с нетерпением ерзавший в седле, сплюнул, поцыкал большим зубом, заговорил не без раздражения:

— Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать — в Ново-Михайловке или еще глубже... Только так создадим впечатление серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется... Соединимся.

— Н-да! Золотая твоя цыганская голова, — неопределенно, но, казалось, чуть осуждающе проговорил Бульбанюк. — А ты как думаешь-размышляешь, Ермаков?

— Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров, — ответил полусерьезно Борис. — Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.

— Н-да! — произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, будто заснул; потом вдруг тихо: — Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем... Вот так. Вперед. — И, выпрямляясь, вполголоса подал команду: — Под-тя-нишь, братцы!

— Подтянись! — прошелестело по колонне.





Анатолий Софронов

(СССР)

Шумел сурово Брянский лес

Ш

умел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы.
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.

Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми.
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми.

В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты.
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы.
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.

Юлия Друнина

(СССР)

К

ачается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы —
девчата,
Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты —
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

* * *

Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.





Леонид Соболев

(СССР)

На старых стенах



ту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирает выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось стол-

бом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полосы на ней нельзя было различить:

весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад, — сказал он хрипло. — Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.



Юре Каштелан

(Югославия)

Колыбельная Времени

Н

е забывай —
ничему умереть не дано под звездами.

Ты, убивающий,
мертвый сильнее, чем смерть его.

Ты, любящий,
ты знаешь пахучих птиц и цветы поющие.

Не забывай —
только раз мы живем под звездами.

Ты знаешь пахучих птиц и цветы поющие,
ты, любящий.

Не забывай —
только раз умираешь под звездами.

Мертвый сильнее, чем смерть его,
ты, убивающий.

Не забывай —
ничему умереть не дано под звездами.





Владислав Броневский
(польша)

Освенцимские рассказы

П

рочел я, слезы не утирая,
книгу Марии.
Так вот пишут они, умирая, —
живые.

Мне не пришлось побывать в Освенциме,
но знаю там каждый угол.
Мария... Осталось одно лишь имя...
И вьюга.

И шла под вьюгой в платьишке рваном
на голое тело.
Слева — эсэс, справа — охрана,
курить хотела.

Ничего у ней не было — ни зипуна,
ни единого грошика,
и взывала ко мне, взывала — одна-
одинешенька.

Константин Ваншенкин

(С С С Р)

З

емли потрескавшейся корка.
Война. Далекie года...
Мой друг мне крикнул: — Есть махорка! —
А я ему: — Иди сюда!..

И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал,
И он уже достал газету,
А я махорку доставал.

Слепил сигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
А он сказал мне безмятежно:
— Ты сам прикуривай сперва...

От ветра заслонясь умело,
Я отступил на шаг всего,
Но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.

И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.

И я не мог улыбку эту
Забуть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
Мы с ним у жизни на краю.

Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не смог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего...

Анна Ахматова

(СССР)

Мужество

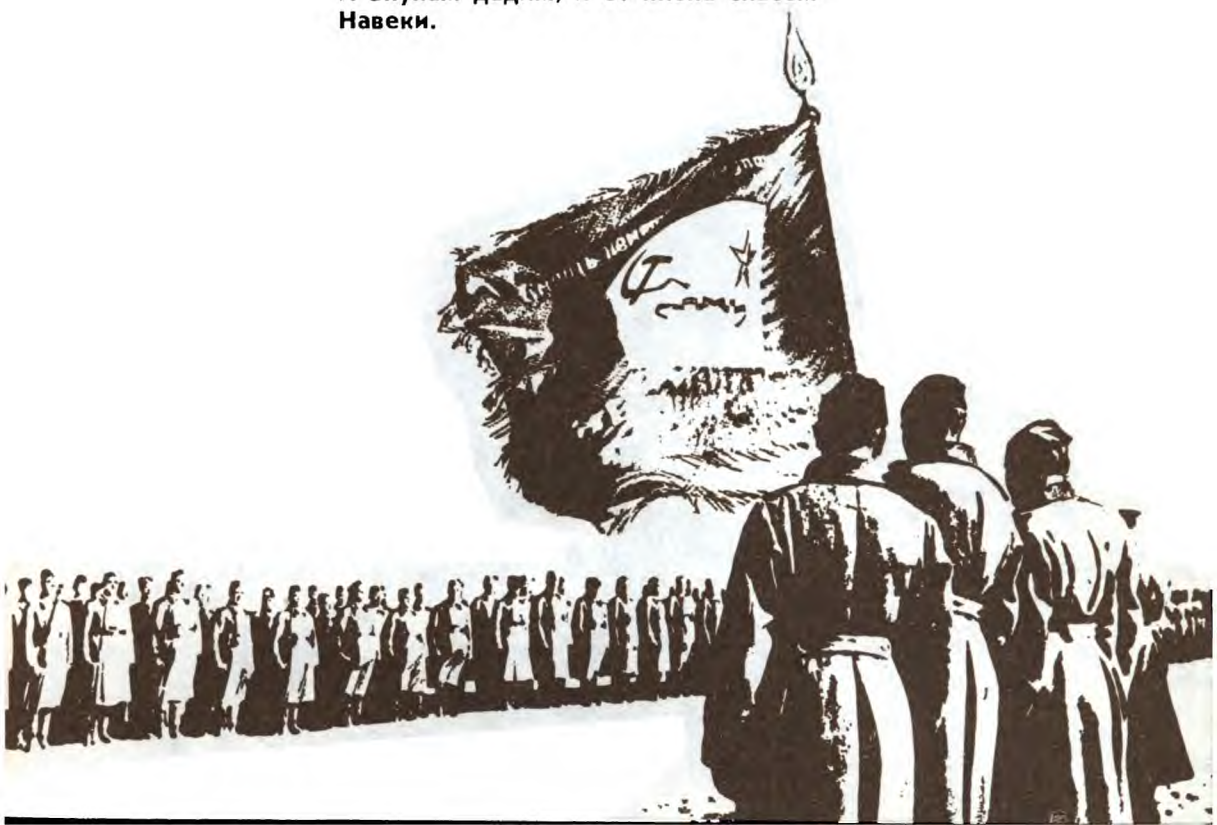
М

ы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.





Борис Полевой

(СССР)

Последний день Матвея Кузьмина

М

атвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимом. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил, с собакой, со старым ружьишком за плечами, в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он справно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхоз «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост.

Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», была поставлена задача без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное — мечту охотника: двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо, — сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер. — Переведите ему: он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал: найден надежный проводник! Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пень мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться и спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со зведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смот-

рит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему тысячу рублей, — торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи!

— Половину вперед, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дружий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер. А немцы тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли, — писал он, — вот уже месяц, как я начал это письмо, и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой проклятой, загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат, — это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Когда стемнело, горнострелковый батальон, на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине, а они старались не выходить из его следа.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути.

Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем, — и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились стрелки вековым лесом, которому, как казалось, не было ни конца ни краю. В потемках они натывались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья.

Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает, — сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних отставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито луцившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает, — повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим как бы сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, неприятель кинулся было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса устремились назад к лесу, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, командир бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как, будто стадо овец, металось по опушке чужие солдаты.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было мочи, во весь голос:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и шага, он упал, подрубленный пулеметной очередью, уткнувшись лицом в валенки старика.

А в овраге уже возникло и, нарастая, раскатывалось «ура». Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних противников, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеленой лес, по следам, оставленным на настe.

Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг собака застыла, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его хоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями холмиком мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

Матей Бор

(ЮГОСЛАВИЯ)

Ночь в немецком лагере

И

з баракон,
из баракон,
черных лагерных баракон,
что ни ночь,
что ни ночь,
двадцать трупов —
носят, несут,
прячут, прячут.

И деревья,
что ни ночь,
видя это,
что ни ночь,
плачут, плачут.

И умершие уходят,
что ни ночь,
они уходят
в землю нашу.

Голод роет
в сердце яму,
роет, словно заведенный,
и пожар,
пожар студень,
пожирает душу...

— Эй, Голод, Голод, брось-ка, не шепчи
всю ночь, всю ночь,
что я умру в ночи!
Эй, Голод, Голод,
разве ты забыл —
как был я молод,
как здоров я был!

*Памяти советских пленных,
погибших от голода и морозов
в гитлеровских лагерях в Штирии*



Эй, Голод, Голод,
в холоде, в грязи
всю ночь,
как червь,
мне сердце не грызи!
Сними веревку,
что на горле у меня,
печь разожги
да спать улягся у огня!..

Из бараков,
из бараков,
что ни ночь,
выносят мертвых,
носят, прячут.
Только голые деревья,
видя это,
что ни ночь,
плачут, плачут.

2

— Не плачь, сынок! Хоть в сырости и мраке —
а все живем! Бывает тяжелей!
Мы, как на корабле, плывем в бараке.
Нас много — вон их сколько, кораблей!
Вдавил нам Голод ребра.
Смотрит с неба
одна звезда сочувственно на нас.
Как режет мать на всех буханку хлеба —
выкраивает ночь за часом час.
Все вытерплю. И голод, и усталость.
Лишь знать бы мне, что с Ваней моим сталося!

— В Ростове вся земля красна от крови —
твой Ваня спит на улице в Ростове!

— Ночь, матушка, ну что ты, право, мелешь —
видать, сама словам своим не веришь!

— В Ростове вся земля черна от крови —
твой Ваня спит на улице в Ростове!

— Ночь, матушка, за что мне эти муки!
Отец Мороз, согрей Ванюше руки!

— Иван твой спит на улице в Ростове —
в Ростове все черно уже от крови.

— Товарищи, скорей,
скорей на помощь!
Не верю, что вы спите в эту полночь!
Михайло, отвечай, где мой Иван!

— В Ростове,
где кровавый встал туман,
лежит он с перерезанною шеей!

— На помощь, эй, товарищи, на помощь!
Вставайте все!
Вперед, сквозь этот мрак!..

Плывет в ночи
невидимый барак.
Только голые деревья,
когда тех
несут во мрак,
что ни ночь,
что ни ночь
плачут, плачут.

3

Что ж, генералы Голод и Мороз,
мы знаем, как искусны ваши руки,
когда они в ночи ломают нас
согласно точным правилам науки!

Но Время мчит над нами.
Время мчит.
Проносится сквозь нас
и дальше мчится.
Под звон его копыт
земля кричит
и стонет, как подбитая волчица.

Но Время,
красный маршал,
мчит и мчит,
и пусть падем побитыми,
убитыми —



но мать-Россия
под его копытами
вовек не упадет, не замолчит!
Над миром,
где так смутно и темно,
все ввысь и ввысь,
навстречу звездной сини,
несутся вместе
Время и Россия,
и никому
сдержать их не дано!
Там, за полоской брезжущего дня,
за дальними полями и лесами
дитя России
смотрит на меня
смеющимися светлыми глазами!..

...Что ни ночь,
что ни ночь,
смотрят мертвые глаза
из барака,
из барака.

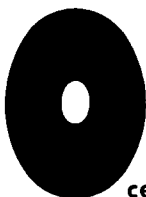
И деревья,
что ни ночь,
просыпаются, дрожа,
среди мрака.

Что ни ночь,
что ни ночь,
воют ветры за стеной
черного барака.

Десанка Максимович

(ЮГОСЛАВИЯ)

Детская косичка в Освенциме



Осень сменяет лето, пятый раз сменяет,
а тонкая, словно ящерка, девочкина косичка
лежит в Освенцимском музее — живет и не умирает.

Мамины пальцы сгорели, но все-таки ясно видно,
как девочку в путь-дорогу пальцы те собирают,
то они цепенеют, то беспомощно виснут
и черную ленту предчувствий в тонкую косу вплетают.

Туго косичка закручена, не расплетется до вечера.
Слезные змейки стелются — мама горько плачет.
Девочка улыбается ласково и доверчиво,
девочка не понимает, что эти слезы значат.

Вот палачи ледяные — банды их ясно вижу —
косят людские волосы, мечут в стога большие.
Легкие детские локоны ветер уносит выше,
в грузные копны сложены женские косы густые.

Словно шерсть настриженную, словно руно овечье,
в кучи их кто-то сваливает и приминает ногами.
Вижу — пылают яростью большие глаза человечьи,
вижу старух испуганных рядом со стариками.

То, что словами не выскажешь, тоже вижу ясно:
пламя пышет из топки и палачей озаряет,
длинные их лопаты — от детской крови красные,
стылые детские трупы в топку они швыряют.

Вижу седины бедные, все в серебристом инее,
и рядом — как ящерка — тонкую девочкину косичку,
вижу глазенки детские — большие, синие-синие.

Владислав Броневский

(польша)

Поле

Т

ополя, тополя рядами,
и все поле рвами изрыто,
и тучи над тополями,
и глухо стучат копыта.
Куст ракиты припелся жалкий,
баба в клетчатом полушалке...
И дубы шагали куда-то
через поля изрытые,
и польские шли солдаты,
уже убитые.



Стефан Хермлин

(ГДР)

Пепел Биркенау

К

ак ветер, как рой насекомых,
Как свежий ночной холодок,
Как облаков невесомых
Густой предрассветный поток,
Как скудная пища больного,
Как бабочки легкой пыльца,
Как в песне случайное слово,
Как снег на губах мертвеца,
Как в зыбкой воде отраженья
Мерцания звездных лучей, —
Легко, невесомо забвенья,
Как облако или ручей...

Над ржавую гнилью оврага
В смешении света и мглы,
Как ключья истлевшего флага,
Взметаются хлопья золы.
На трактах, телами мощенных,
Господствует чертополох.
Но в пепле неотомщенных
Отмщенья огонь не заглох.
Чтоб мы, вспоминая о прошлом,
Очистились в этом огне,
Земля, приликая к подошвам,
«Запомни!» — взывает ко мне...

Как слово прощанья, прощенья,
Как тяжесть чугунной плиты,
Как накануне решенья
Внезапный прилив немоты,
Так тяжко воспоминанье
О них, кого больше нет...
Погибшие в газовой бане
Любили любовь и рассвет,

Стихи и ночные аллеи,
Где слышен дроздов разговор.
О память! Она тяжелее
Громоздких гранитных гор...

Но тех, кто хранит эту память, —
Их много, им нет числа.
Та память убийц достанет
Из всех нор, из любого угла.
Серый пепел витает над нами,
Мечется ветер сквозной,
Серыми семенами
Засеяв простор земной,
Чтоб внукам в предостереженье
Посев тот однажды взошел,
Чтоб легок он был, как забвенье,
Как память людская, тяжел.

Чтоб, глядя на эти всходы,
Миллионы людей земли
Во имя любви и свободы
От гибели мир берегли.
Ведь те, кто поверил в надежду,
Не устроятся угроз.
В зеленую чудо-одежду
Рядятся ветви берез.
И голуби — шумные звенья —
Плывут над холмами золы,
Легки, как людское забвенье,
Как память людей, тяжелы.

Аркадий Кулешов

(СССР)

На Минском шоссе

И

дти устали маленькие ноги,
Но он послушно продолжает путь.
Еще вчера хотелось близ дороги
Ему в ромашках полевых уснуть.

И мать несла его, теряя силы,
В пути минуты длились, словно дни,
Все время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они.

Что значат взрывы, плач, дорога эта!
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят!

Как тяжело выслушивать вопросы...
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у березы,
Что этим мамам никогда не встать!

Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснил ему в пути,
Что это спали неживые мамы,
От бомбы не успевшие уйти.

И он задумался под лязг машин железных,
Как будто горе взрослых понял вдруг, —
В его глазах, недавно безмятежных,
Уже блуждал осознанный испуг.

Так детство кончилось. Он прежним больше не был.
Он шел и шел. И, чтобы мать спасти,
Следил ревниво за июньским небом
Малыш, седой от пыли, лет шести.





Ольга Берггольц

(СССР)

...Я

говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...

Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

Далантайн Тарва

(МОНГОЛИЯ)

Пусть небо Всегда будет ясным !

(Из „Поэмы, навеянной посещением
Пискаревского кладбища“)

Н

а каком обелиске
эти цифры кровавые
высечь!

Здесь
лежит под землей их —
шестьсот пятьдесят тысяч.

Здесь
лежат под землею они,
словно братья,

Город-герой,
как отец,
заключил их в объятия.

Живые
с цветами идут вдоль могил —
все безмолвны.

Могилы
рядами тянутся вдаль,
как застывшие волны.

О тайне,
сокрытой в них, —
ни звука, ни слова.

У тех, кто пришел сюда,
лица суровы.

Головы
клонятся ниже,
шаги все глуше.

У тех, кто пришел сюда,
скорбные души.

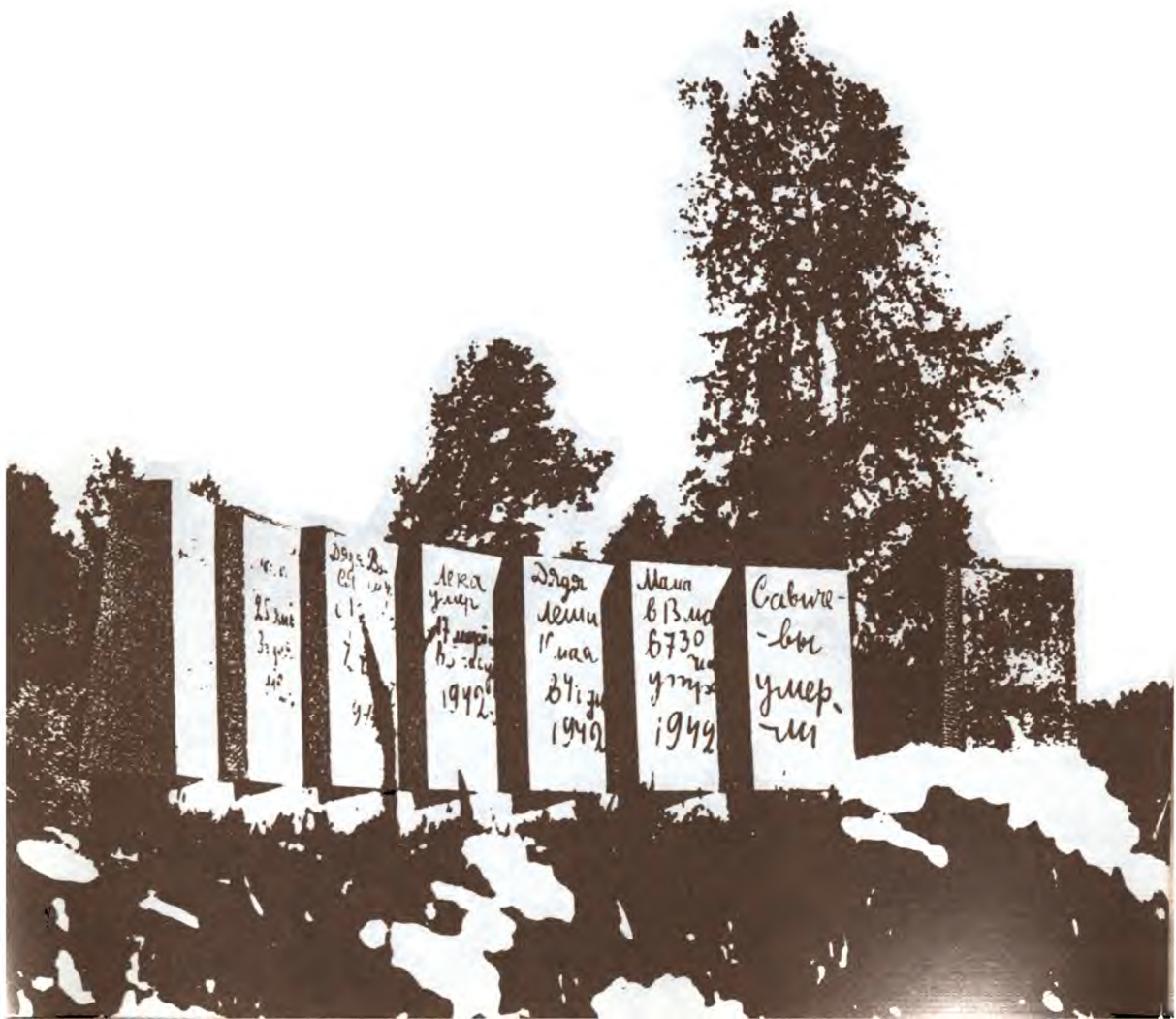
.....
Сколько месяцев,
кто сочтет,
в девятистах днях!

Сколько лет —
о, как сложен счет! —
в девятистах днях!
Город врагом был окружен
девятьсот дней,
И врагу не сдавался он
девятьсот дней.
Мужество этих людей
город спасло,
И перед ним
ныне весь мир
склоняет чело.

Но сколько не вынесло голода!
И сколько сгорело в огне!
И сколько погибло от холода!
Не выговорить мне.
Не выговорить — нет мочи —
Безымянных число,
Чьи жизни в те черные ночи,
В те страшные дни унесло.
Вот Танечки девятилетней
Предо мною дневник,
Строками страницы последней
Он в мое сердце проник.
Такое лишь на гробнице,
На мраморе высекать,
А это на мятой странице
Для нас сберегла тетрадь.
Так воеет народное горе!
Так рвется в душе струна!..
Проклятье фашистской своре!
Проклятье тебе, война!
Девчушка в пустой квартире
Судьбу записала свою,
Обрушившуюся, как буря,
На дом, на нее, на семью.
«Семнадцатого марта
Не стало Лены.
Третьего апреля
Умер дядя Ваня.
Десятого мая
Умерла мама.
А в двенадцать часов
Умер Женя.



От Савичевых осталась
Я одна».
Каждая буква так ясно видна.
Только себя не сумела сама
После похоронить.
Видеть — и не сойти с ума,
Только слезу уронить!
Стою над могилой, оцепенев,
В сердце смешались горе и гнев.



Изет Сарайлич

(ЮГОСЛАВИЯ)

Письмо в тысяча девятьсот сорок первый год Тане Савичевой

Таня, Танюша.
О, если бы можно тот май
продолжить на десятилетье!
В Ленинграде цветет жасмин,
как будет цвести
и двадцатилетье спустя.
Слушай, малышка,
брось Маршака и Чуковского
и на улицу выбеги,
не пропусти ни единого дня —
в жизни твоей их осталась
самая малость.
А Маршак не станет сердчать за то,
нет, Маршак не осудит тебя,
что ты в этом мае ему изменила.
Милая,
детских писателей сердит лишь то,
что читатели их умирают так рано.

О, когда бы я мог,
я послал бы в письме тебе все
человечества лучшие годы!
Май сорок первого — удивительный год!
Живы все Савичевы.
Мама печет пирожки.
Бабушка тихо ворчит.
Где-то опять загулял дядя Вася.

Таня, Танюша.
Май сорок первого — какой замечательный год!
И какой короткий.
О святая девочка Ленинграда!
Скоро уже загремит канонада,
и блокада начнется.
Выйди на улицу!
Не пропусти ни единого дня!
В жизни твоей их осталась
самая малость.





Константы Ильдефонс
Галчинский

(польша)

Письмо из плена

Любимая, доброй ночи,
глаза у тебя слипают,
стена моей одиночки
тень твою вспоминает.

Единственная на свете,
ну как твое славить имя!
Была ты водою летней,
была рукавичкой зимней.

Была ты счастьем весенним,
весенним, зимним, осенним, —
скажи мне доброй ночи,
ответь мне с прежним весельем.

За что получил все это
и жил, тебя воспевая!
Ты — свет моего света
и песнь моя путевая.

Кемаль Стафа

(АЛБАНИЯ)

Погибшему брату

Р

одился ты
В тот год, когда война
Вошла без стука в наши двери,
Когда людские племена
Вцепились друг в друга,
Словно звери.
И стлался над землей сражений дым.
И у твоей убогой колыбели
Нужда и нищета сидели,
А голод был наставником твоим.

Но подлый век,
Но низкий старый мир
Тебя лишь закалил,
А не сломил.
И ты отверг, смеясь,
Их лживый блеск,
Их золотую грязь.

Да, наша молодость была тяжка,
Но клятву принесли мы с братом
Хранить навеки гордость бедняка
И ненависть к богатым.

Нам говорили:
«Ложный путь
Избрало ваше поколение,
Вам надо бы развлечься, отдохнуть...»
Те,
Кто всю жизнь стояли на коленях,
И нам хотели головы пригнуть.
Но, все преграды преодолевая,
Мы с боем
Шли вперед.

И думал я,
Что брат со мной придет
К твоей победе,
О земля родная!
Как о твоей свободе он мечтал —
И не дождался,
Не дошел.
Упал...
Прощай, товарищ!
Милый брат, прощай!
Я возвращаюсь в партизанский край,
В орлиное гнездо народа,
Под знамя то, что вышивала мать,
Не уставая слезы вытирать, —
Под знамя
Нашей правды и свободы!



Милош Крно

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Кавказ

Н

а карте в дыме сигарет Кавказ
лежит на том же уровне что степь
хотя окрашен темными тонами
На карте в дыме сигарет Кавказ
Капкан для глаз
Яд для непрошенных гостей
на русской карте перед нами

В тебя вонзает красную стрелу
мундир зеленый
А ты вершины устремил во мглу
среди гроз и молний
Кавказ ты цитадель Ты молодец
Ты встретишь эхом каждый арналет
и лавой будешь извергать отвагу
Кавказ ты цитадель Ты молодец
Безумец здесь найдет конец
Огонь здесь встретит лед
Флагштоком красному ты станешь флагу

Краснеются в венце победном розы
Сова убийцам предвещает крах
Там где разбились Лермонтова грезы
сломает голову безумный враг

Александр Прокофьев

(СССР)

Е

сть что вспомнить всем нам, —
будем живы,

За беседой вспомним тихим днем
Все пути-дороги, все обрывы,
До небес забытые огнем!
Все пути широкие на марше,
Их пройти нам было нелегко.
Что с того, что стали на год старше,
Нам до смерти — ой как далеко!
Так держать!

И мы стоим в дозоре,
В дотах мы, и мы из-под земли
Видим небо, наше небо в зорях,
Видим — за полями битв, вдали,
Сотней радуг горизонт окрашен,
Тысячами солнц земля горит.
«Наше, — говорим мы, — это наше!»
«Ваше!» — все вокруг нас говорит, —
Реки все, моря и океаны,
Вся земля, ломающая гнет...
В тучах богатырские курганы,
Но оттуда солнце и сверкнет!



Семен Гудзенко

(СССР)

Перег атакой

К

огда на смерть идут — поют,
а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.

Разрыв —

и умирает друг.

И значит — смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед.

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год —

ты, вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.

Разрыв —

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шею.

Бой был короткий.

А потом

глушили водку ледяную
и выковыривал ножом
из-под ногтей

я кровь чужую.



Славко Яневски

(ЮГОСЛАВИЯ)

Внук



о голому полю, опустошенному первым дыханием суровой осени, еле бредет сгорбленная старушка. Взгляд ее потемневших слезящихся глаз скользит по золоту далеких дубов. Она совсем стара, глаза почти не видят, и дорогу ей больше подсказывает чутье. Старушка опирается на палку и улыбается своим мыслям; теперь она часто и подолгу о чем-то задумывается, и думы скрашивают ее молчаливое одиночество.

С порога полусгоревшего дома за ней с любопытством наблюдает задорный паренек с густой шевелюрой пепельных волос, выбивающихся из-под зеленой пилотки. Ему скучно. Партизанская бригада вот уже три дня на постое. За это время он успел несколько раз вычистить ружье и вдоль и поперек исходить село. Паренек не прочь поболтать и потому добродушно окликает старушку:

— Здорово, бабуся! Откуда ты?

Старуха напрягается, чтобы разглядеть лицо говорящего, но безуспешно. Да и что разглядывать?! Ни усов молодецких у парня, ни густых бровей, ни глубоких морщин землешца. Обыкновенное лицо — веснушчатое и широкоскулое. Старушка силится вглядеться в него, ей тоже хочется кое о чем спросить парня. Уже два дня идет она по бездорожью, через горы, питаюсь задохшим хлебом да водой из горных ручейков, изредка встречающихся среди камней и пожухлого можжевельника.

Старушка подходит к пареньку и шепотом, словно боясь выдать тайну, спрашивает:

— А ты, сынок, не из овчаров ли?

— Да нет, бабуся, какие тут овчары? — удивляется паренек, деловито поправляя патронташ, потом спохватывается и, приоткрыв белые редкие зубы, говорит: — Уж не про партизанский ли батальон Овчара ты говоришь?

— Да, да, — кивает старушка и опускает на землю мешочек с едой.

— Я из этого батальона. А зачем мы тебе?

На западе темнеет, солнце погружается в холодные сумерки.

Но до полной темени еще далеко; мгла, отделяющая день от ночи, медленно окутывает верхушки деревьев.

Старушка рассказывает тихо, не спеша, будто припоминает забытое:

— В деревне сказывали, что я тут вас найду, вот и поплелась, старая, через горы. Внук у меня в овчарах. Ушел из дому еще в прошлом году, в день поминования. Сказал: «Пойду к овчарам». — «А кто такие эти овчары?» — спрашиваю. В нашей-то деревне и десяти овец не насчитаешь, какие уж тут овчары! А внучок мой и говорит: «Да не в пастухи я иду, а к тем, кто борется с фашистами». Уж очень ему, видать, не терпелось ружье поносить, как дед его, бывало, носил, когда против турок воевал. Всполошилась я, жаль мне внучка, один он у меня, просила-умоляла остаться. Кто же глаза мне закроет, как помру? А внучок ни в какую: все равно, мол, пойду с Николой Дреновским, с тем Николой, у кого полсемья разбрелось по миру хлеб зарабатывать. Что поделаешь, положила я на судьбу, а по ночам слезы лью на сиротской рогоже...

Паренек почесал заросший затылок и через голову старушки посмотрел на синие вершины Козьяка.

— Говоришь, бабуся, у нас твой внук?

— У вас, а то где ж? Верно, знаешь его? Борис Петров...

— Борис... а-а... — припоминает паренек, — как же, здесь он, в бригаде. Мы его Молчальником прозвали. В бою лихой, а языком еле ворочает. Ты, бабуся, посиди здесь, а я побегу его разыщу...

Паренек удаляется раскачивающейся походкой, словно две гранаты, висящие у него на поясе, тянут каждая в свою сторону — одна в левую, другая в правую. Подойдя к группе бойцов, которых усатый обозник Йован веселил своими бесчисленными анекдотами, паренек отзывает коренастого, широкоплечего, удивительно длиннорукого бойца.

— Борис, поди-ка, тебя зовут...

Борис вопросительно смотрит на паренька, ожидая услышать, кто его зовет, но тот тянет его за собой. Борис и паренек внешне очень разные. Серая щетина, покрывающая смуглое, широкоскулое лицо Бориса, напоминает о том, что юность его давно миновала. Похожи у них только волосы: кудрявые пряди лезут на лоб, свисают на затылок, закрывают уши.

По селу разносятся звуки глубокого баритона — слышится песня о том, как народ оплакивал своего любимого воеводу. Слова песни не всегда понятны, трудно разобрать, кто по ком тоскует, но мелодия растет и ширится, и нужда в объяснениях пропадает. Слышится в песне — скрипит полусгнившая деревенская телега, шаловливый мальчуган вытаскивает колючки из хвоста большого сонного пса, шелестят ветки за повалившимся забором.

Партизаны подошли к старушке, а она беспокойно переводит

взгляд с одного на другого, стараясь узнать внука. Веснушчатый паренек подталкивает к старушке смущенного товарища.

— Чего зеваешь? Бабушка твоя пришла, повидаться с тобой хочет.

И делает шаг назад, наблюдая замешательство товарища, который с недоумением разглядывает старушку.

У наших бойцов ведь как заведено: делятся друг с другом последним сухарем и окурком, сражаются плечом к плечу, помогают, чем могут, в беде, но и в подначке не откажут — это уж точно.

Веснушчатый паренек виновато улыбается и краснеет, веснушки тотчас скрываются под румянцем.

— Видали медведя?! Бабушка принесла ему гостинец, а он стоит как истукан.

Старуха протягивает к внуку высохшие руки, на редких ресницах блестит слезинка.

— Борис, внучок... Обними меня, голубчик. Видишь, пришла проведать тебя...

Партизан по прозвищу Молчальник растерянно оборачивается к товарищу, но тот с невозмутимым спокойствием выскребает со дна кармана крошки табака, высыпает их на ладонь, делая вид, что не замечает его недоуменных взглядов. У бабушки беспомощно дрожат губы, горячие слезы застилают глаза.

— Ах ты соколик мой, вырос-то как, в плечах раздался, настоящий юнак! Эх, кабы видел тебя дед...

Едва сдерживая рыдания, старуха что-то шепчет, точно качает дитя в люльке, и кажется ей, что Борис стал очень походить на ее Кара-Димитара, который, бывало, из добытой в бою турецкой чалмы делал завязки для обуви. Да, ее Кара-Димитар был brave солдатом, а уж усы-то у него были никак не меньше крыльев ворона. Бывало, чтобы напиться, рукой их приходилось придерживать. Усы и улыбку скрывали, и судорожно сжатые губы. Придет времечко — и внук усами обзаведется, сейчас-то, конечно, рановато — парню и двадцати пока не стукнуло.

Борис задумчиво сдвинул брови и вдруг решил. Своими громадными ручищами он обнял бабушку и пробормотал какие-то слова благодарности. Друг, видно, напугал: старушка искала не его (у него и бабушки-то нет), а пулеметчика Бориса, что погиб летом у железной дороги. Сердце подсказало ему: пусть бедняжка ошибется, зачем растревлять ей душу вестью о гибели ее любимца! Обнимая старушку, Борис ощущал дрожь ее сухонького тела и вспоминал свою мать, которую давно не видел.

Солнце уже скрылось за зубцами горного хребта, сумерки незаметно спустились над деревней, низкие крыши хат испуганно прижались к бесплодной земле. Стемнело. Только в одном окошке мерцал тусклый огонек. Борис знал: в том доме штаб. Отвечая

на бабушкины вопросы, Борис сказал, что здоров, тепло одет, всегда сыт. Потом нагнулся и поцеловал бабушку в лоб.

Но вот усатый обозник отдал приказ строиться: партизанская бригада выступает в поход.

Бабушка подняла котомку и вынула из нее теплые носки.

— Возьми, внучок, носки, вязала я их зимою, коротала длинные вечера.

Она вложила носки в руки Бориса и повернулась к веснушчатому пареньку, который наконец-то скрутил самокрутку из обрывка фашистской листовки и теперь высматривал, у кого бы прикурить.

— Ты, сынок, береги моего внука. Постарше ты и поопытней. Не пускай его под пули, пусть за камнем схоронится — нечего лезть в глотку к дьяволу. А кончится война, приходите вместе, угощу вас на радостях.

Веснушчатый паренек торжественно пообещал бабушке беречь ее внука и, немного помолчав, добавил:

— Обязательно, бабуся. Ты не бойся, вражья пуля не берет Бориса, а его, партизанская, уж завсегда врага уложит.

Первые звезды загораются осторожно, точно боятся голых веток, раскачивающихся в холодном свете. Исчезают тени, все погружается во мрак, в осенний сон, пьянящий сладким ароматом базилики, и глубокий, как материнская тоска. Баритон, певший о печали утрат, замолк, будто тоже потонул во мраке ночи. Только на краю села, возле каменной церквушки, переговариваются бойцы.

Тяжело старушке расставаться с внуком. Костлявыми пальцами ухватилась она за твердую, теплую ладонь Бориса и быстро-быстро что-то шепчет, словно боится не успеть высказать внуку все, о чем передумала в долгие зимние ночи.

— А знаешь, внучок, иногда мне снится, что тебя уж и в живых нет. Ох, как мне тяжело тогда, как сердце колет! Помню, ты, еще маленький, — такой баловник! — забрался на крышу дома дяди Стояна и давай швырять камни-то! Господи, словно вчера это было... — Бабушка поискала веснушчатого паренька. — Береги его, сынок, прошу тебя. Он ведь несмышлениш еще. Да и сиротка он у меня, грешно, чтоб род наш кончился. Помню, заболел он... Уж как молилась я тогда святой Параскеве Пятнице! Еще не забудь: нельзя ему в пятницу мяса есть. И носки мои — чтоб не в мешке валялись, пусть носит. Как бы ноженьки не обморозил...

Долго еще бабушка давала бы наставления веснушчатому пареньку, но он вдруг прервал ее и спросил, где она собирается ночевать. Старушка улыбнулась: встреча с внуком прибавила ей сил, теперь она может ночевать где угодно, даже здесь, на пороге покинутого дома, да и в селе, глядишь, найдутся добрые люди, пустят заночевать. Вдруг она спохватилась: внук-то не рассказал о себе пока. И стала тормошить Бориса вопросами. Но бригада

уже построилась, вот-вот двинется маршем. Раздались недружные удары ботинок по твердой каменистой земле.

Бойцы по очереди обняли старушку и заняли свои места в строю.

Смотрит им старушка вслед, а они быстро исчезают в темноте. Глаза ее, еле видящие днем, ночью и вовсе слепнут, едва-едва видится им свет далеких звезд — немых свидетелей этой необычной встречи.

Глядит старушка вслед бойцам, хочется крикнуть хоть слово вдогонку, но ком подкатывает к горлу — ком горечи и радости.



Матей Бор

(ЮГОСЛАВИЯ)

Вечерняя мелодия

Спать нам сегодня под ветром —
вон он как свищет и воет.
Облаком, как простынею,
нас эта полночь укроет.

Скатится с ветки намокшей
первая крупная капля.
Где-то за просекой топкой
вскрикнет встревоженно цапля.

Дождь наши лица омоет,
хлынув с ненастного неба.
Ножиком ночь нам нарежет
мокрого черного хлеба.

Но, обливаясь слезами,
мрак отгоняя и стужу,
встанет заря над лесами,
землю согреет и душу.

Лес запоет, оживая,
солнце ударит нам в лица.
Голову, брат мой, не вешай!
Длится война, еще длится!



Александр Яшин

(СССР)

Русские мы !

Л

ивень смывает с деревьев пыль,
Демаскирует автомобиль:
Черные лаковые бока
Снова заметны издалека.
Я покрываю его попоной,
Темно-зеленой,
Из веток сплетенной,
И оставляю в лесу, в стороне —
Я не ропщу на дождь на войне.

Полям ползем,
Ложимся в окоп.
В каждом окопе соломы снопы.
Из-под соломы забили ключи,
Грязь проступила...
Лежи, молчи!
Пусть, размывая стенки окопа,
Речки кричат о начале потопа,
Кости норд-ост продувает мне —
Стужа меня не страшит на войне.

Кашляем мы,
Но холоду рады,
Только б врагам не давал пощады,
Пусть они ждут, как смерти, зимы.
Сами все вынесем:
Русские мы!
Пишет подруга из Сталинграда
О голубых вечерах в степи.
Мне и небес голубых не надо,
Мы говорим друг другу: «Терпи!»

Пусть в эту осень не будет света,
Теплого вечера,

Бабьего лета,
Солнца, которое я воспевал,
Только бы враг наш околевал!

Топа да будут непроходимы,
Небо нелетным, черным от дыма,
В полночь пустым,
Беззвездным, безлунным,
В полдень знобящим, низким, чугунным.

Пусть оно будет тогда голубым,
Когда победим.





Константин Симонов

(СССР)

Третий адъютант

К

омиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если тот выдерживал испытание, вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир называл свою фамилию.

— А моя — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навывлет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолдое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, повернулся. Ему стреляли в спину. Две пули попали во флягу.

Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке. Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона:

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать до темна.

— До темна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падали, не бросались на землю. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.

Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портулею и привлекая к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он был такой парень, что должен был выжить. Да, да, должен, — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине.

Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что, действительно, смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить. — Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом был свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал много, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом

с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не оставлял комиссара.

Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо. — Нечего тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая — сзади.

Комиссар встал отряхиваясь.

— Вот видите, — сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади. — Если бы мы с вами трусили и ждали, как раз бы она по нас и пришлась. Всегда надо быстрее вперед идти.

— Ну а если бы мы еще быстрее шли, так... — И адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар. — Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целились и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром, совсем тесно, локоть к локтю.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то становились вязкими и непроходимыми. Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие; пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он превращенный разговор, — ну, пусть Холодилина убили потому, что он

боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, выживет, хорошо. Едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теории, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароят, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией, воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, — хорошая теория.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он оставался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из пятой роты.

— А кто же в пятой роте?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами. — Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку.

Тронутый первыми заморозками гремучий песок был взрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули в ледяной зимней воде.

Отдав уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не мирила его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти, как и при жизни, между ними будет черта.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его.

Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозревая одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех намотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, на лице его было удивление.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения.

— Двое сюда! — резко приказал он. — На руки и быстро до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?» — этот вопрос у него путался с другими: как себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле? И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро — значит, выживет, непременно выживет.

И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светло-волосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил у него, а только молча протянул для пожатия левую, здоровую руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты, — сказал адъютант, — застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю, — прервал его комиссар, — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой...

Давид Кугультинов

(СССР)

Ночью в окопе

Лежим. Не пропадем авось.
Темно на белом свете.
Пронизывает нас насквозь
Весенний черный ветер.

А обувь — мокрая. Она
Дрожь вызывает в теле.
Как лед, винтовка холодна,
Аж руки онемели.

Лежат солдаты на войне,
Их снег с водою топит.
Они не в дыме, не в огне —
Они в степи, в окопе.

А все огни со всей земли
Как будто ветры сдули,
И лишь трассируют вдали
Шальные чьи-то пули.

Солдаты тихо говорят
О новостях из дому,
И от души один солдат
Сочувствует другому.

Невесел, короток рассказ
Солдата пожилого:
«Моя-то пишет, что у нас
Порожня корова...»

А молодой солдат сказал —
И у него забота:
«Темно, а то б я показал
Своей невесты фото».

**Мечты о доме, словно сны,
Витают, согревая,
И на мгновение нет войны,
А только жизнь простая...**



Алексей Толстой

(СССР)

Русский характер

Р

усский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер. Поди-ка опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марию Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже живот-

ных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это, когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождетя, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского сражения, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через во-

семь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не свое лицо. Медсестра, подававшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской навистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Всё в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое, — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — ривалился плечом к прилолке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел,

когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, поглажив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бороденку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, уroda, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну, что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютom, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегорожкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лей-

тенант лежал ничком, лицом в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку:

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках — радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива, так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне,

что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — всё свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, христа-ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощения, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить...»

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, — все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю четное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. — «Катя! — говорит он, — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.



Муса Джалиль

(СССР)

Не верь!

К

оль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Устал он, отстал он, упал», —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если верят в меня.

Кровью со знамени клятва зовет:
Силу дает мне, движет вперед.
Так вправе ли я устать и отстать!
Так вправе ли я упасть и не встать!

Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал», —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.

Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину-мать.
Тебе изменить! И отчизне моей!
Да что же останется в жизни моей!

Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Погиб он, Муса уже мертвый», —
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят тебя.

Холодное тело засыплет земля —
Песнь огневую засыпать нельзя!
Умри, побеждая, и кто тебя мертвым
Посмеет назвать, если был ты борцом!!





Марко Ангелов

(БОЛГАРИЯ)

Ой вы, птицы...



Ой вы, птицы, летящие к северу!
Ой вы, птицы, летящие с криками!
Отнесите огромный, весенний
привет народу великому.

Мой поклон передайте, птицы,
героической, гордой державе,
той, которая, будто орлица,
ураган встречает кровавый.

Устояла она! Устояла!
И сейчас — сильнее, чем раньше.
И шагает вперед с боями,
мир дивится такому бесстрашью!

Ой вы, птицы, спешите сквозь бури!
Я с надеждой гляжу вам вслед.
От Балкан, охваченных пламенем,
передайте Кремлю привет.

Максим Рыльский

(СССР)

Великая переключка

С

лышишь — сквозь ночь и кровавое пламя
Голосу голос ответный звенит!
Слышишь — идет переключка над нами,
Темных веков сотрясая гранит!

Слышишь — плывет над пучиной морскою
Байрона слово, как трубный призыв!
Пушкин с простертою гордо рукою
Встал над землею, сердца окрылив!

Видишь — он вновь на «Трибуне народов»,
Славный Мицкевич, борец и пророк!
Видишь — превыше всех каменных сводов
Вьется Шевченко терновый венок!

Слышишь — гремит всем подлунным языкам
Песнь огневая народных певцов:
«Тесно сплотитесь в боренье великом
Против коварных, кровавых врагов!»

Все племена, все народы земные —
В битву за солнце, за ветер полей!
Сила великая, встань, как стихия!
Черного зверя разбей и добей!

Враг одинок, и идти ему не с кем!
Граждане мира, боритесь за мир!
Да озарит ослепительным блеском
Землю свобода — сверкающий пир!

Милош Крно

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Партизан

П

родавец с прилепившейся к нижней губе сигаретой покачал головой.

— Так что тебе, паренек? — спросил он у десятилетнего Юрко. — Фасоль, горох, чечевицу и спички?

— Да, всего понемногу, только по отдельности. И четыре пачки спичек.

— Спички я имею право продавать только взрослым. — Продавец пытливо взглянул на него. — Такие, как ты, могут и амбар поджечь. Ты из деревни, что ли?

— Нет, — решительно объявил Юрко. — Я живу здесь, в городе.

— Высматриваешь?

— Нет. Я еще мал.

Он взял пакетики и спички, уплатил и вышел из магазина.

«Странный мальчик, — подумал продавец и долго смотрел ему вслед. — Обманывает, не местный он, — пришло ему в голову. — На улице озирается; видно, что в первый раз здесь. Может быть, гостит у кого-нибудь или с родителями от фронта бегут?»

А фронт почти уже в городе. На улицах множество немецких солдат. Грохочут танки.

Юрко перешел на другую сторону улицы и остановился перед витриной магазина «Стекло и фарфор». Он смотрел на свое отражение в стеклянной глади. «Это правда я? — подумал он и вздохнул. — Да, я. Это я».

Он был горд. Ведь он пришел с гор, чтобы выполнить важное задание.

Как же он здесь оказался?

Юрко жил в соседней деревне, и когда немцы пришли к ним в деревню, они угнали его родных. Юрко скрылся из дома и в ту же ночь ушел в горы к партизанам.

«Дайте мне ружье, — сказал он командиру, — я пойду спасать своих родных».

«Мы их сами спасем, — рассмеялся командир. — Ты еще не дорос иметь оружие».

«Нет, я!» — закричал Юрко.

«Знаешь что, — сказал командир. — В городе много врагов. Нам нужно знать, что у них там есть: сколько танков, сколько орудий. Разведаете это?»

«А чего же», — повел плечом Юрко.

«Тогда пойдешь в город, — решил командир, — сосчитаешь все танки, орудия и солдат. Нам нужно знать, сколько их там. Офицеров от солдат отличишь?»

«Отличу», — ответил Юрко.

«Значит, установишь, сколько в городе немецких офицеров. Только ничего не записывай, тебя могут схватить. Все запоминай».

Юрко шагал по улице, покрытой грязным снегом, и насвистывал. Когда встречались немецкие солдаты, у него мороз по коже пробежал. Если бы они знали, кто он!

На соседней улице стояли танки, и около них много солдат. Юрко пересчитал танки — их было двенадцать. Он взял из паке-тика двенадцать фасолинок и переложил их в боковой карман пальто. Потом во дворе школы насчитал семнадцать пушек. Сем-надцать горошин перекочевало в боковой карман. За каждого офицера Юрко переложил по чечевичному зернышку, за про-стого солдата по спичке.

Двое полевых жандармов останавливали людей на улице. По-долгу всматривались в документы и нехотя возвращали. Они за-держали плечистого молодого парня в полушубке — окликнули его и ткнули пистолетом в спину.

Юрко испугался. Он повернулся и вошел в булочную. И там были солдаты, они позабрали весь хлеб.

Как только полевые жандармы скрылись за углом, Юрко при-пустился дальше и продолжал считать.

Смеркалось, и Юрко пора было возвращаться в горы. А что, если немецкий патруль задержит его? Что он скажет им? Ведь в горах партизаны.

И вдруг он заметил аптеку. Вот удача! Юрко вскочил в нее, по-считал свои деньги и попросил:

— Дайте мне, пожалуйста, самое дешевое лекарство.

— А какое? — удивился аптекарь.

— Какое-нибудь, — повел плечом мальчик, — только чтобы было дешевле, у меня денег мало.

Аптекарь почесал за ухом:

— Я тебе аспирин дам, от простуды.

Он дал мальчику коробочку с лекарством, и тот молнией вы-летел из аптеки.

На окраине города его остановил немецкий патруль.

— В лес идешь? — спросил один из солдат.

Юрко кивнул, впереди и в самом деле лес простирался, а не деревня.

— В лесу партизаны, — сказал немец.

— Я их не встречал, — улыбнулся Юрко. — Мой дедушка лесник, я ходил за лекарством ему.

— Покажи! — приказал немец.

Юрко показал коробочку с аспирином, но немец был подозрителен и полез к нему в карман.

— Это у тебя что? — увидел он фасоль, перемешанную с горохом и чечевицей.

— Я с ними играю, — затараторил Юрко. — Фасолина — это медведи, горошины — овцы, чечевица — собаки.

— Гут, гут, — сказал немец и высыпал Юрко в карман его сокровища. — Мой сын тоже так играет. — Он показал рукой в сторону леса: — Иди!

Юрко зашагал не спеша, но когда дошел до поворота, понесся во всю прыть.

Он остановился перед санным сараем, куда должны были прийти партизаны. Юрко прислонился к стене, достал из бокового кармана фасолинки, горох, чечевицу и спички и долго их пересчитывал. Он представлял себе, как встанет перед командиром и доложит: «У меня здесь все, что нужно. Я знаю, сколько оружия у врага».

А командир ему скажет: «Спасибо, партизан».

Он взглянул на покрытый снегом склон горы. Увидел две фигуры с автоматами на плечах. Узнал их. Навстречу ему шли партизаны.

Леон Пастернак

(польша)

В Польшу

И

з селений казахских,
Из аулов Киргизии
едут парни сражаться,
биться в польской дивизии.

От печали томящей
взор горит, как недужный...
Ты прощай, Юг палящий,
ты прощай, Север вьюжный!

Труден путь в зной и в стужу
с Иртыша, из Сибири, —
но возьмешь ты оружие,
будешь в польском мундире.

Не одна пуля злая
просвистит над тобою,
прежде чем, замирая,
глянешь в небо родное.

Но из пущи тобольской,
из заснеженной чащи,
до земли нашей польской
Этот путь твой — кратчайший.

Так дойдешь до Варшавы,
до родимого края,
мир, свободу и славу
для него добывая.



Евгений Винокуров

(СССР)

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серезка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвою
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.





KOW

Елена Богушевская

(польша)

Дануся

— **А**

кто дал вам мой адрес? — не оборачиваясь, тихо и неторопливо спросила пани Дзерлацкая. Нагнувшись в углу над бочкой, она накладывала капусту в мой горшок. Что-то в ее вопросе показалось мне странным.

Промокшая и слегка озябшая, с корзинкой, набитой покупками, и плетенкой, из которой торчал хлеб, я стояла посреди комнаты, послушно стараясь вспомнить: где это было — в лавчонке Яськовской или у Войцешкевича?

— Ах, уже знаю! У Малиновских, где я покупала муку, мне сказали, что у вас хорошая капуста, что вы наквасили целую бочку и собирались открыть лавку, а немцы взяли вашу компаньонку... Впрочем, может быть, мне говорил о вас Ягодзинский?

Пани Дзерлацкая ничего не ответила, не обернувшись. Девочка — у окна — тоже молчала и не смотрела на меня. Я смутилась, словно сболтнула лишнее. Дождь бил по стеклам. Мне было неприятно.

Пани Дзерлацкая выпрямилась наконец и повернулась ко мне. Растрепанные, очень темные, почти черные волосы оттеняли бледность ее лица. Она сказала, подумав, с достоинством:

— Все немцы не взяли мою компаньонку. Она просто заболела.

Я почувствовала, что пани Дзерлацкая говорит неправду. «И зачем ей лгать?» — подумала я с неприязнью. Высокая и худая, она подошла ко мне с горшком, полным капусты, и только теперь, вблизи, я разглядела, какое у нее измученное, изможденное лицо. Вся моя неприязнь исчезла. Пожалуй, пани Дзерлацкая даже показалась мне симпатичной; у нее были очень светлые, словно вылинявшие от слез глаза и черные ресницы. С удивлением я заметила, как она украдкой переглянулась с девочкой, молча стоявшей возле столика у окна. В довольно просторной, но мрачной и неуютной комнате только и было, что этот столик под окном, табуретка, стул, у стены — кровать, в углу — бочка, какие-то предметы неопределенного назначения, узлы.

Дождь то стихал, то усиливался. Уйти было невозможно.

— Понятно, в таком маленьком городишке люди все друг про друга знают. Ну и болтают... А ведь мы, собственно говоря, тут ни с кем еще не знакомы, — заговорила, словно извиняясь, пани Дзерлацкая.

Поглядев на окна, которые так и заливало дождем, я поспешила поддержать разговор. Как выяснилось, пани Дзерлацкая потратила все, что у нее было, на эту бочку капусты и весы для лавчонки, которую так и не удалось открыть. Выяснилось, что она, как и мы, из Варшавы. Выяснилось, что приехала она сюда недавно. С трудом, за большие деньги удалось ей снять у Ягодзинского эту комнату; в ней уже и теперь холодно, а что-то будет зимой?

— А вы далеко живете? — спросила она, неожиданно проявив интерес к моей особе. До сих пор она говорила только о себе.

— В дачном поселке. Отсюда час пути, — ответила я и невольно вздохнула. Как туда теперь добраться? Дождь, грязь и так темно, словно уже наступили сумерки.

— Это по направлению к Бугу, — вдруг оживилась пани Дзерлацкая.

— По направлению к Бугу?.. Да, но до Буга еще далеко. Четыре-пять километров. — Я отвечаю не сразу, потому что раздумываю, уйти ли мне сейчас или переждать, пока стихнет дождь. Нет, лучше все-таки переждать. Но кончится ли он когда-нибудь?

— Это по той дороге ходят в рейх за товаром, за контрабандой?

Пани Дзерлацкая все больше оживляется. Девочка, стоявшая у окна, тоже подходит ближе, беспокойно прислушиваясь к нашему разговору. Догадываюсь, что речь идет о чем-то для них важном. Я отвечаю, что по соседству с нами живут женщины, которые ходят за Буг. Мужчины тоже. Приносят оттуда муку, крупу, растительное масло. Иногда и сливочное. Хорошо зарабатывают.

— А вы бывали там когда-нибудь? — У девочки тонкий голосок, как у маленького ребенка, а взгляд по-взрослому серьезный, пронизательный; светлые, очень светлые глаза и ресницы черные, как у матери. — Вы видели, что там и как?

— Была, видела... К сожалению, ездила туда продавать собственные вещи... Но я видела...

Теперь мы втроем стоим посредине этой почти пустой комнаты, углы которой уже потонули в черном сумраке. Дождь стихает, почти прекращается. Можно было бы уже идти. Нужно идти...

Но в этих устремленных на меня глазах есть нечто такое, что заставляет меня говорить о таинственных походах за Буг; я и сама увлекаюсь рассказом об этом страшном Буге. Да, да, река широкая, по берегам ивы, и от деревни Ополе до нее совсем близко. Дома тянутся вдоль немощеной дороги, да и домов-то совсем немного, а за ними раскинулись поля, потом ивы, и тут же рядом Буг. Из окон видно, как ходят пограничники... Есть там один, самый

страшный, его называют Вестфалец, — огромный, рыжий, с собакой. У меня было с собой немножко своего тряпья, продавала я его только в Ополе. И все-таки меня предупреждали, чтобы я пробиралась незаметно, опушкой рощи. А каково тем, кто всерьез занимается торговлей и кому приходится тащить на спине целые мешки! Тут я невольно взглянула на узкие плечи пани Дзерлацкой — под силу ли ей такая тяжесть?..

— А много контрабандистов погибает? — нетерпеливо, настойчиво допытывается девочка, а глаза смотрят по-взрослому, даже чуть грозно. — Большой процент гибнет от пуль этих пограничников?

Так и спросила детским голоском: «Большой процент гибнет?» Вопрос захватил меня врасплох, я на мгновение задумываюсь и вижу, что пани Дзерлацкая делает рукой какие-то неопределенные, словно предостерегающие движения. Как будто от чего-то защищается. Я не спеша отвечаю:

— Ну да, гибнут. Но мне трудно сказать, какой процент. Совсем недавно убили Цихоцкого. Погиб Ягусяк... Что ж, голод вынуждает людей идти на все. Неужели и вы собираетесь за Буг, пани Дзерлацкая?

Тут все и началось, разбушевалось, пошло вовсю. Дождь совсем прекратился, серая лужа за окном стала голубой; уже поздно, а я, вместо того чтобы идти, стою тут, гляжу на них, вторгаюсь в чьи-то чужие дела. Впрочем, уже не совсем чужие, даже как будто чуть близкие.

— Да разве она пустит меня за Буг? — почти кричит пани Дзерлацкая. — Разве она такая, как все дети? На что нам жить? На деньги, вырученные с капусты? Продаем последнее тряпье. Она похожа на тень, ведь сами видите, как она выглядит! У меня только она одна... Ведь так она не дотянет до конца войны! — И внезапно пани Дзерлацкая с раздражением говорит: — Она хочет меня учить!

Девочка отвечает с таким же возбуждением, так же раздраженно:

— Ну о чем ты говоришь, мама! К чему нам тряпки, к чему еда и все вообще, если немцы тебя убьют?

Они стоят друг против друга и дрожат от гнева, похожие, как две капли воды, только одна маленькая, а другая большая. С бледных, тонких, сведенных горечью губ еще срываются быстрые и резкие слова, но эти слишком светлые глаза краснеют, готовы уже залиться слезами раскаяния. Но что я слышу? Не изменил ли мне слух? О чем говорит эта девочка? «Можно погибнуть за общее дело, но не из-за какой-то жалкой еды!»

И тут обе словно спохватились, что они не одни в комнате, что здесь кто-то чужой... Мгновенно овладели собой, остыли, затихли. Мне стало даже чуть больно, что чужая — это я. Я начала говорить, что действительно, может быть, найдется какая-нибудь работа...

Пани Дзерлацкая печально качает головой:

— Пыталась, бралась за одно, за другое. Теперь никакая работа ничего не дает, только торговля, — разве вы не знаете?

— Знаю, знаю. — Я тоже печально киваю головой.

А притихшая было пани Дзерлацкая снова преобразается. Вежливая, любезная, она суетится подле меня, ищет тряпочку, чтобы накрыть мой горшок с капустой. Ищет бумагу, чтобы не промок торчащий из моей сетки хлеб, если снова пойдет дождь. Пора мне в конце концов заплатить за капусту и уйти.

— Как же вы... — говорю я уже с порога, — как же дочка похожа на вас!

Как будто они и не ссорились — сумрачные лица просияли, и улыбка сделала их еще больше похожими друг на друга. Они обнялись, как сестры, обнялись, как мне кажется, привычным для них движением: девочка обхватила мать за талию, а мать обняла ее за шею.

— Во всем мире только она одна у меня теперь. Поэтому я так ее балую... Она такая капризная...

«Капризная? — думаю я. — Нет, не похоже. Избалованная?»

Дануся Дзерлацкая в самом деле вдруг входит в роль избалованного ребенка.

— У меня тоже только она одна на свете, как же я могу позволить, чтобы ее у меня отняли немцы? — Ее детский голос звучит капризно и почти весело.

И так мы расстаемся; обнявшись, как сестры, они вежливо прощаются с уходящей гостьей. Такими запечатлелись они в моей памяти...

Вернее, такими я представляла их себе, когда спустя несколько дней с корзиной, сеткой и горшком в руках я снова стучалась в ту же самую дверь, вторую налево, с выходом на застекленную террасу в домике Ягодзинского. Я только теперь заметила, что стекла здесь разноцветные, потому что прикрывавший их дикий виноград совсем уже растерял свои красные листья и на обнаженных узловатых шнурах стеблей лишь кое-где сохранились гроздья маленьких черных ягод...

Да, за эти дни наступила настоящая осень и сколько стряслось событий.

Грозно смотрели из-под касок глаза немецких солдат, а люди, каждый по-своему преодолевая страх, шли напрямик по улицам городов навстречу бандам эсэсовцев. Отступать было слишком поздно. В темных сенях деревенских домов каждый по-своему прислушивался к топоту тяжелых кованых сапог и лязгу оружия. И разную степень отчаяния выражали лица тех, кого захватили во время облав и загнали в вагоны.

Самые разные вести приходили из внешнего мира, то хорошие, то дурные. Порою казалось, что война уже вот-вот кончится, а иной раз — что не кончится никогда. Снова и снова проделывала я путь от нашего домика в дачном поселке до города, путь такой знакомый и все же каждый раз иной. И в зависимости от того, какие вести дошли до нас, различные чувства вызывали у меня бледно-зеленые, приглушенные тона озимых в затуманенном осеннем солнце или ослепительное золото листвы придорожных берез на яркой небесной лазури и дрожащие красноватые листики осины над придорожным рвом...

По утрам уже блестели в ложбинках маленькие зеркальные льдинки с мозаичными донышками из красных и желтых листьев. С огородов давно снята последняя капуста, и квашеную уже можно достать в городских лавках, но я снова стучусь в домик Ягодзинского, во вторую дверь налево. И постучавшись, жду, и мне кажется, что я увижу их сейчас такими, какими оставила тогда. Словно всегда должны были они стоять так, обнявшись, — Дзерлацкие, мать и дочь.

Нет, не всегда! Дануся Дзерлацкая отворила мне дверь, мрачная, исхудавшая и еще более изможденная, чем раньше. Она сразу узнала меня, улыбнулась по-детски приветливо, взяла горшок из моих рук, попросила меня присесть на единственный стул, который предупредительно вытерла своим голубым передником.

А матери не было.

Меня это даже удивило, до того неразъединимы были их образы в моей памяти. На этот раз девочка подошла к стоявшей в углу бочке и, как тогда мать, загребла капусту деревянной ложкой — сама-то не намного выше бочки. И совсем как ее мать, нагнувшись над бочкой, не оборачиваясь, заговорила равнодушным тоном. Без всякого вступления спросила, как поживают мои соседки по даче, ходят ли за Буг? Вспомнила и про злого пограничника Вестфальца, и про старуху Цихоцкую, у которой охранники убили сына. И как прежде в голосе матери, так теперь в голосе девочки было что-то, заставившее меня помедлить с ответом.

— Ходят... Нет, в последнее время никого не убили, по крайней мере, я не слыхала... Неужели мамочка... мать, — поправила я, вспомнив, как она произносит это слово, — неужели мать ушла с мешком за Буг?

Дануся помолчала; по-прежнему стоя спиной ко мне, она накладывала капусту в горшок, потом сдержанно ответила, что мать все-таки настояла на своем.

— Но вы меня не успокаивайте, скажите мне правду, — добавила она сурово, совсем не по-детски.

И тотчас, словно устыдившись своих слов, повернулась ко мне и уже гораздо мягче попросила рассказать ей, что же в самом деле происходит за Бугом. И я снова начинаю повторять то же самое: ши-

рокая немощная дорога, деревянные домики с крылечками, ивы, затопленные поля, ивы, разлившиеся воды, ивы, Буг, пограничники...

Вижу устремленный на меня взгляд ее широко раскрытых слишком светлых глаз, две неподвижных черных дуги ресниц, вижу маленький рот, крепко стиснутый от напряженного внимания, вижу маленькие, невероятной худые ручонки, которые она, как взрослая, скрестила на слишком большом для нее голубом переднике. Слышу свой собственный голос в этой неуютной серой комнате с кроватью, бочкой, столиком и табуреткой, — голос, помимо воли медлительно, словно сказку, рассказывающий что-то о пограничниках, контрабандистах и о Буге. И получается так, будто пограничники сидят в своих сторожевых будках, ничего не видя и не слыша, равнодушные и тупые. Будто никто уж с ними всерьез не считается. Будто люди с мешками на плечах свободно и весело ходят туда и обратно, и никому до них нет дела.

Дануся Дзерлацкая слушает, и мало-помалу лицо ее проясняется, становится более спокойным, мягким, совсем детским. Однако не надолго: несколько мгновений спустя внимание девочки рассеивается, она поглядывает то на будильник, то в окно и вдруг с беспомощным отчаянием говорит:

— А если она не вернется до шести, тогда что?

Ах, вот оно что, Дануся! Стало быть, надо иначе разговаривать с тобой. Надо высмеять твои глупые страхи, надо ответить тебе, как ребенку: «Если не вернется к шести, то придет к половине седьмого или в семь...»

Дануся успокаивается. Деловито ходит по комнате, ищет бумагу, чтобы обернуть горшок, берет деньги, пересчитывает их, дает сдачи. Вдруг она снова становится серьезной, задумывается.

— А если... если и в восемь все еще... все еще мать не вернется? — спрашивает она медленно, тихо, запинаясь.

Теперь я становлюсь серьезной.

— Послушай-ка, Дануся. Нельзя так говорить: «А если в шесть, а если в семь, а если в восемь». Это бессмысленно. Нужно сказать себе: «Может быть, мать сегодня вообще не вернется, но это вовсе не означает, что... струсилась какая-то беда». Моя соседка очень часто возвращается только на следующее утро, а то и через день...

— Да? — Дануся впитывает эти слова, как живую воду.

Она смотрит на меня во все глаза, приоткрыв рот, как маленький ребенок. С минуту обе молчим. Слышны голоса за окном, стук колес проехавшей телеги. Я начинаю собирать свои пакеты.

— Вы ухóдите? — испуганно спрашивает Дануся. — Побудьте еще со мной... — просит, почти умоляет девочка.

И я снова беспомощно усаживаюсь на табуретку. Некоторое время мы молчим.

— Слушай, Дануся, — начинаю я, — разве ты всегда так... раз-

ве ты всегда придумываешь всякие страсти, когда ожидаешь мать?

Она отвечает не сразу. Мы смотрим друг на друга. Исчезает разделяющее нас различие в годах. Остается только глубоко знакомая, связывающая нас тоска ожидания. Дануся смущенно отводит глаза.

— Всегда. Видите ли, тут еще одно... Вы, пани, образованная, вы пишете книжки. Значит, вы должны понять.

Я неприятно поражена:

— Откуда ты знаешь, что я пишу книжки?

Дануся смеется почти весело:

— Вы думаете, что я ничего не знаю? Ведь когда папа еще был с нами, мы... — И неожиданно обрывает фразу. — Здесь, в дачной местности, вы можете не бояться, — продолжает она затем снисходительно и словно свысока. — Мы с матерью часто говорим между собой, что здесь ведь нет гестапо, а дураки эсэсовцы интересуются свиньями, картошкой, чем угодно, кроме книжек. Но в Варшаву вы должны ездить как можно реже, — заканчивает она, как человек сведущий.

Я молчу, все больше теряясь, а она снова принимается за свое: если до сумерек она ждет спокойно, и ест, и не плачет, и не тревожится за мать, то потом ей еще тяжелее, ей начинает казаться, что мать совсем не вернется в наказание за то, что она не беспокоилась. Но если как следует поплакать, и ничего не есть, и мучиться ожиданием, то, может быть, тогда мать скорее возвратится...

Я прерываю ее рассуждения:

— Послушай-ка, Дануся, сколько тебе, собственно, лет?

— Одиннадцать. А вы думали — семь? Все думают, что семь. Но я не огорчаюсь, потому что у нас в роду все такие в детстве, а потом вырастают высокими, и мать говорит, что она сама была такая маленькая, и дядя, и брат... — Внезапно она осекается и вздыхает.

— Да, так бывает, — подхватываю я, лишь бы что-нибудь сказать, но Дануся не обращает на меня внимания. Она не шевелится, лицо ее застыло в страшном напряжении. — Дануся!

Она машет рукой, прислушивается. Теперь и я уже слышу. Слышу шарканье ног в сенях. Дануся с криком кидается к двери. Дзерлацкая стоит на пороге, едва живая, согнувшись под тяжестью мешка, с трудом переводит дыхание. Она подходит к столу, поворачивается к нему спиной, чтобы прислонить мешок.

— Постой. Пусти же меня, пусти. — Мать развязывает какие-то бечевки, ремни и отбивается от дочки, потому что Дануся душит ее, совершенно потеряв голову от счастья.

Я ухожу, чтобы не мешать им. Проходя под окном, слышу, что радостные возгласы сменились упреками:

— Почему ты так долго не возвращалась? Зачем вообще пошла?

А мать сердито:

— Ты съела то, что было приготовлено? Нет? Почему не съела? Мне назло?

Они спорят все горячее, ссорятся ужасно...

Ягодзинский в высоких сапогах и синей фуражке появляется на террасе. Проходя под окном, он понимающе кивает мне:

— Они всегда так ссорятся, а друг без друга жить не могут.

Обходя лужи, мы вместе идем в сторону рынка.

— Капусту у них берете? — спрашивает Ягодзинский и сразу, без всякого перехода, сообщает, что немцы сегодня с утра окружили станцию узкоколейки и забрали сорок мужчин. И еще — что в Варшаве снова страшные облавы и что у Войцешкевича можно достать макароны без карточек.

Мне хочется подробно расспросить его про узкоколейку и про облавы, но он исчезает, как только мы подходим к рынку. Чуть подалее, у другой лужи, я встречаю Будкову с пустыми бидонами изпод молока.

Она подтверждает слухи об облавах и макаронах и вдобавок сообщает, что у Малиновской есть мука грубого помола по восемнадцать злотых и что сюда должны прибыть какие-то новые жандармы, шуцполицай, или как их там...

— Шуцполицай? И что же они будут здесь делать?

— Почему я знаю? — взгляд ее скользит по прохожим, по дверям магазина, распаивающимся с резким шумом. Будкова словно растворяется в толпе, обступившей какую-то телегу.

Я иду дальше. Мостовую сменяет немощеная дорога, вначале разрыхленная ногами прохожих, потом все более твердая, в лужбинках покрытая тонкой стеклянной коркой льда.

Что они здесь будут делать?..

Капли воды, застывшие на ветках придорожных берез, превращаются в красивые жемчужные шарики, сосны в роще издают слабый запах, холодный, но все же приятный.

Ах нет, они не придут сюда. Сколько уже было разных слухов...

Решетка, потом разобранный забор, потом продырявленная ограда из железной сетки, потом пустырь, а направо, среди берез, дом. Внезапный страх: не случилось ли чего-нибудь? Внезапное облегчение: ничего не случилось. Раскаленная докрасна печурка, аппетитный запах картофельной похлебки, обычные вопросы: что нового в городе?

— Да ничего, только сорок человек забрали сегодня на станции узкоколейки... И еще говорят, что сюда должны приехать шуцполицай... И что в Варшаве облавы.

— Кто говорит?

— Будкова.

Вздых облегчения.

— Ах, Будкова всегда болтает лишнее! Капусту достала?

Ставлю на стол горшок с капустой и начинаю рассказывать о Дзерлацких. Но удивительное дело, до чего все мои слова увяли и поблекли. Никто попросту не слушает, что я рассказываю о Данусе Дзерлацкой. Кто разливает похлебку в глиняные миски, кто режет хлеб, а кто говорит, что не надо резать хлеб, потому что картошку можно есть без хлеба, а хлеб пригодится вечером. Кто-то высказывает предположение, что война скоро кончится. Кто-то раздраженно заявляет, что с него хватит пророчеств. Кто-то почти кричит, требуя, чтобы замолчали по крайней мере хоть на то время, пока едят похлебку.

Легко сказать! Когда есть новости, от них никуда не спрячешься. Их приносит холодный порыв ветра всякий раз, когда открываются двери, они проникают вместе с посеревшим снегом, налипшим на сапогах тех, кто входит в дом, врываются вместе с каждым звуком голоса, раздающимся в сенях. В самом деле, можно ли до такой степени одуреть от колки дров для печурки, чтобы никак не реагировать на новости? Нет, нельзя. Никогда не бывает так плохо, чтобы от дурных известий не могло стать еще хуже. Никогда не бывает настолько хорошо, чтобы, опасаясь новых разочарований, можно было решительно и лицемерно отрешиваться от лучшего. В одном можно быть уверенным: до праздников ничего уже не изменится. А праздники нужно как-нибудь отметить. И из этого вытекает другая очевидная истина: в сочельник должны быть пироги с капустой.

С капустой! Отсюда уже только один шаг, и вот снова возникают из небытия Дзерлацкие, мать и дочь. Любящие друг друга, ссорящиеся, такие похожие и такие странные...

Дым из труб тянется прямехонько вверх к бледному зимнему небу. Колодцы обросли льдом. Голубоватые ломаные тени ложатся на снег вдоль дороги, а в сенях дома Ягодзинского, у второй двери налево, металлическая щеколда так и обжигает холодом...

— Да, мы с Данусей так решили, — улыбается Дзерлацкая. — Так и сказали, что вы придете к нам за капустой на праздники.

Она показалась мне несколько иной, чем раньше. Более веселой. Даже выглядеть стала немножко лучше. В комнате тоже что-то изменилось: теперь здесь как-то теплее, уютнее. Всюду хозяйственный беспорядок, поставлена посуда, на столике белая мука, кухонная доска, скалка...

— Вижу, вы уже обзавелись хозяйством. Как идет торговля за Бугом?

Пани Дзерлацкая мрачнеет. Молча берет из моих рук горшок и нагибается над бочкой. Капусты в ней поубавилось, и приходится сгребать ее со дна лопаткой. Спустя некоторое время раздается снова чуть глуховатый, слегка обиженный голос:

— Да разве она позволит мне ходить за Буг? Ведь настояла на

своим. Меня не пустила и сама пошла. — И, повернувшись ко мне, пани Дзерлацкая машет рукой: — Вот что она сделала. Заставляет меня печь пирожки, а сама продает их на узкоколейке. Уезжает в восемь пятьдесят и возвращается после двенадцати. Ну что вы скажете на это? — спрашивает она, взглянув сперва на будильник, потом на меня.

Что я скажу? Не знаю, что ответить. Хорошо знакомые мне слиш-ком светлые глаза смотрят вопросительно, а я не догадываюсь, чего они от меня ждут: одобрения или порицания своевольной Дануси?

Оказывается, пани Дзерлацкая ничего от меня не ждет. Она сидит на низкую табуретку, которой раньше здесь не было, и рассказывает, как всегда, быстро, взволнованно о своей Данусе. Что за ребенок! Она так беспокоилась о ней, о матери, что совсем потеряла голову. Возвращаясь, мать заставляла дочку почти без сознания — до того девочка себя доводила. Дануся все время твердила: «Ты одна у меня осталась, что будет, если немцы тебя схватят? И пострадешь-то ты не во имя общего дела, а из-за какой-то еды...»

Что-то забулькало на плите. Пани Дзерлацкая встает, снова бросает взгляд на часы, переставляет кастрюлю и, как будто немного успокоившись, с гордостью рассказывает, что Дануся выпросила кредит у мельника, обо всем позаботилась сама в отсутствие матери, все предусмотрела...

— Как взрослая, уверяю вас, совсем как взрослая. И везет же ей! Нарасхват у нее берут! Только пройдет, выкрикнет: «Пирожки, свежие домашние пирожки!..» Вот увидите, когда поедете в Варшаву. Но теперь, перед праздником, вы, вероятно, не поедете?

— Нет, перед праздником не удастся поехать. Нужно кое-что сделать по дому, приготовить еду...

Пани Дзерлацкая снова хмурится...

— Да, да, нужно кое-что приготовить... Вот в тюрьму передачу отнести бы надо, хоть и неизвестно, передадут ли эти мерзавцы...

Задумавшись, она постукивает ложкой о край кастрюли.

— А хуже всего в праздник тем, кто, как затравленный зверь, должен скрываться в лесу или где-то еще. И как такому посылочку из дома передать? — говорит она с тоской. — Всякий раз, как мы с Данусей о них говорим, потом она ночью так плачет, так плачет... Потому что там и отец, и брат, а теперь и тетка... Сестра мужа тоже в Павиаке. Вся семья, — говорит пани Дзерлацкая с гордостью, поворачивая ко мне раскрасневшееся от кухонного жара лицо.

Словно озаренное вдохновением, лицо ее, под шапкой растрепавшихся темных волос, кое-где тронутых сединой, кажется теперь прекрасным.

Я гляжу на нее и слушаю...

— Сестра вашего мужа, это и есть та самая компаньонка, которая будто бы заболела?

— Ну да, что же нам друг от друга таиться... Я ведь вижу, что вы тоже...

Мы долго молчим. Люди за окном ходят, разговаривают, слышен стук колес по мостовой. Предпраздничное оживление.

— Прежде вот бывали праздники... — задумчиво вспоминает пани Дзерлацкая. — Интеллигенция, может быть, этим особенно не интересовалась, но в приличной рабочей семье все должно было быть... Муж был наборщиком, зарабатывал, знаете, хорошо... Часто я думаю: что бы он сказал, узнав, что его дочка теперь носится с корзиной по вагонам, что она стала такой самостоятельной и самовольной? Как бы он отнесся к тому, что я ей не перечу? — Она снова поворачивается ко мне, в глазах ее печаль и беспокойство.

— Ну что он мог бы сказать? Был бы доволен!

— Вы так думаете? — пани Дзерлацкая снова смотрит на часы и снова что-то переставляет на плите.

— Обрадовался бы, что дочка такая смелая, самостоятельная и любит мать...

Лицо пани Дзерлацкой расцветает.

— Об этом говорить не приходится, она просто с ума сходила от страха за меня.

— А вы теперь сходите с ума от страха за нее... Не так ли?

Я сказала это и сразу раскаялась, увидев, как изменилась она в лице. И я торопливо добавляю, что у Дануси-то были основания для беспокойства о ней, о матери. Но беспокоиться за Данусю просто нелепо. Не станут же немцы хватать в поездах детей, даже немцы...

Лицо пани Дзерлацкой снова проясняется. И таким просветленным я сохранила его в памяти навсегда. Потому что больше никогда мне не пришлось ее увидеть. Ни ее, ни Данусю...

Той зимой я ездила по узкоколейке в Варшаву, даже несколько раз. Иногда мне казалось, что я слышу детский голосок Дануси в общем хоре голосов, предлагавших конфетки, карамельки с начинкой, ириски, папиросы, булочки, свежие булочки... Но нет, это был не ее голос...

Попадался мне часто пожилой господин с чемоданчиком, полным свежих пончиков, попадалась красивая темноволосая девушка с пирожками, но Дануси не было... Были женщины, сгибавшиеся под тяжестью мешков и бидонов; были женщины с узлами чудовищных размеров, но легкими, как пузыри, потому что в них были пустые бидоны. Были жители варшавских пригородов, занимавшиеся торговлей, мужчины в высоких сапогах и синих фуражках; были изможденные интеллигенты в очках и с портфелями; были кокетливые лавочницы, ездившие в Варшаву за товаром или возвращавшиеся из Варшавы с товаром, но Дануси не было.

Музыкант-гармонист, знавший все подробности о каждом станционном буфете и о каждом завсегдае узкоколейки, фамильярно и лукаво подмигивая, пел хриплым, но красивым голосом под фальшивый аккомпанемент гармонии: «Как прекрасна моя девочка». Были три певицы постарше, изящные, изголодавшиеся, надтреснутыми голосами слащаво исполнявшие старомодные трио. Господа в летних пальто, с виду смахивающие на пассажиров, вдруг стремительно распахивали чемоданчики, набитые ножничками, гребенками и ассортиментом иголок. Узкоколейка шумела и гудела — дела, болтовня, торговля, товары, спекуляция, рассказы о «походах»: тут убили, там поймали, того расстреляли. Время от времени появлялся немецкий солдат, и от взгляда его страшных глаз из-под надвинутой на лоб каски шум вдруг стихал; но как только он уходил, тяжело стуча сапогами, снова поднимался галдеж. Да, да, кипела обычная жизнь узкоколейки, но Дануси не было.

«Что ж, — думала я, — вероятно, она ездит в другие часы или простудилась и сидит дома. Нужно бы к ним зайти...»

Что говорить, не часто я о ней вспоминала. Быть может, разок-другой мысль о ней возникала в моей голове, занятой собственными делами, заботами, тревогами. Но однажды, когда я выходила из поезда в Радзимине, впереди промелькнули зеленовато-седые усы, добродушно-хитрые глаза под синей фуражкой; да, это пан Ягодзинский, в куртке, в высоких сапогах, с железной трубой от печки под мышкой, с пакетом, обернутым в желтую бумагу, в руке.

Сперва я было потеряла его в толпе; потом он снова появился у калитки, где отбирали билеты. Мы пошли вместе. Я спросила про его жиличек, про маленькую Данусю, что продавала пирожки в поезде. От удивления он даже остановился.

— Так вы ничего не знаете? Немец убил ее в Марках. Недели три тому назад...

Я вынуждена была прислониться к стене.

— Но ведь немцы не убивают детей в поездах...

Он оглянулся по сторонам и заговорил шепотом:

— Напрасно так думаете... Они следили за одним молодым парнем, который ей что-то сунул в корзинку. И как только поезд тронулся из Марек, немец бросился к ней, но она, видать, неглупая была... Только почувяла, что дело плохо, и все, что было при ней, швырнула за окно. Немец сразу убил ее прикладом, но в корзинке не нашел ничего, кроме пирожков... А знаете, что там было?

Я не знала. Я стояла, прислонившись к стене, четко видела проходивших мимо людей, видела зеленоватые усы Ягодзинского.

— Вот это-то самое интересное... — Он еще раз осмотрелся кругом и, глядя на меня в упор, зашептал, выразительно отчеканивая слоги: — Кап-сю-ли для гра-нат! Моя пани, капсули для гранат... Слышите? Ведь совсем еще ребенок!

Я молчала. А он, переждав минуту, продолжал:

— Я рад, что избавился от таких жильцов. Ведь вся их семья такая. Этот молодой парень, говорят, ее брат, он в лесу партизанил. Отца немцы поймали с оружием в руках, и неизвестно, жив ли он...

Я молчала. Я не решалась спросить про мать. Но он сам сказал, что она исчезла сразу же, на следующий день. Уехала. Скрылась.

— Вы бы ее не узнали — так она изменилась. Поседела вся. Но держалась спокойно, ничего не говорила... Ну, здесь мне сворачивать, а вам надо прямо...

Только теперь я заметила, что мы прошли еще часть дороги. Мы были возле лавки Войцешкевича; из дребезжащей двери выходили люди. Ягодзинский остановился с ними, но немного погодя снова нагнал меня.

— Тут у меня, в их квартире, поселились другие. Моя свояченица с детьми. У нее тоже хорошая капуста, даже еще лучше. Если понадобится, заходите...

Эрих Вайнерт

(ГДР)

Я отвратить лицо не смею

П

усть не народ вихрь преступлений поднял:
Грабеж, убийства, мор — не счесть всего.
Но если мой народ молчит сегодня,
Призвать к ответу могут и его!

Я, немец, отвратить лицо не смею
От черных дел, что к небу вопиют.
Попрали честь и совесть лиходеи,
Барышничают, кровь людскую пьют.

Я не могу сказать, в сторонке стоя,
Что я — не тот, что я тут ни при чем.
Позор над всей страной! И надо мною!..
Народ, спасенье — в действии твоём.

Пока мы все в могучем единенье
Из дома грязь не выкинем в окно,
Стране, родившей нас, клеймо презренья
Нести с проклятьем вместе суждено.



Кшиштоф Камиль Бачинский

(П О Л Ь Ш А)

Б

ыл мой народ, словно мощное древо,
рос, будто дуб, горделиво, высоко,
полнило пламя зрелого сока
дерево веры, силы и гнева.

Начали дровосеки, однако,
заступов сталью рубить твои корни,
чтоб изменить твои голос и форму,
чтоб превратить тебя в сон вурдалака.

Листья твои обрывали, срезали,
чтобы, нагой, ты залился слезами.

Выкололи твои ясные очи,
жечь чтобы взглядом не было мочи.

Заживо в землю тебя зарывали.
Бога из сердца они вырывали.

Встал ты, решетками весь загражденный,
тучею распространился ты, горький,
пыткой и плеткой изборожденный,
полузамученный и полумертвый.

Много тебя было — все разогнали,
но не погасло любви горенье.
В раны земли своей когти вгоняя,
спишь ты, и снится тебе презренье.

Но время точит о радугу сабли,
с неба удары часов раздаются.
Слышишь сердца! Они не ослабли.
Солнце блеснет, и все содрогнутся.

Встанешь из мертвых, как бог из могилы,
мощь урагана в себе обнаружа.
Силы земли и небесные силы
вместе с тобою. Народ мой! К оружию!

Василий Федоров

(СССР)

Завещание

С

олдат,
Приподнимаясь над постелью,
В предсмертный час
Для сына диктовал:

«Передаю тебе родную землю,
Которую я вновь отвоевал.

Чтоб не посмел
Никто ее обидеть,
Ты, продолжая славный путь отца,
Расти большим,
Чтоб всю ее увидеть,
Понять ее душою до конца.

Пиши, сестра, пиши...
Наш край метельный,
Где ты родился, —
Так и напиши, —
Умей любить
Любовью беспредельной,
Умей любить
Всею нежностью души.

Смотри, мой сын,
По капле не разлейся,
Но, жизнь, и труд,
И славу полюбя,
Ты мужеству учишь
И не надейся,
Что кто-то будет думать за тебя.

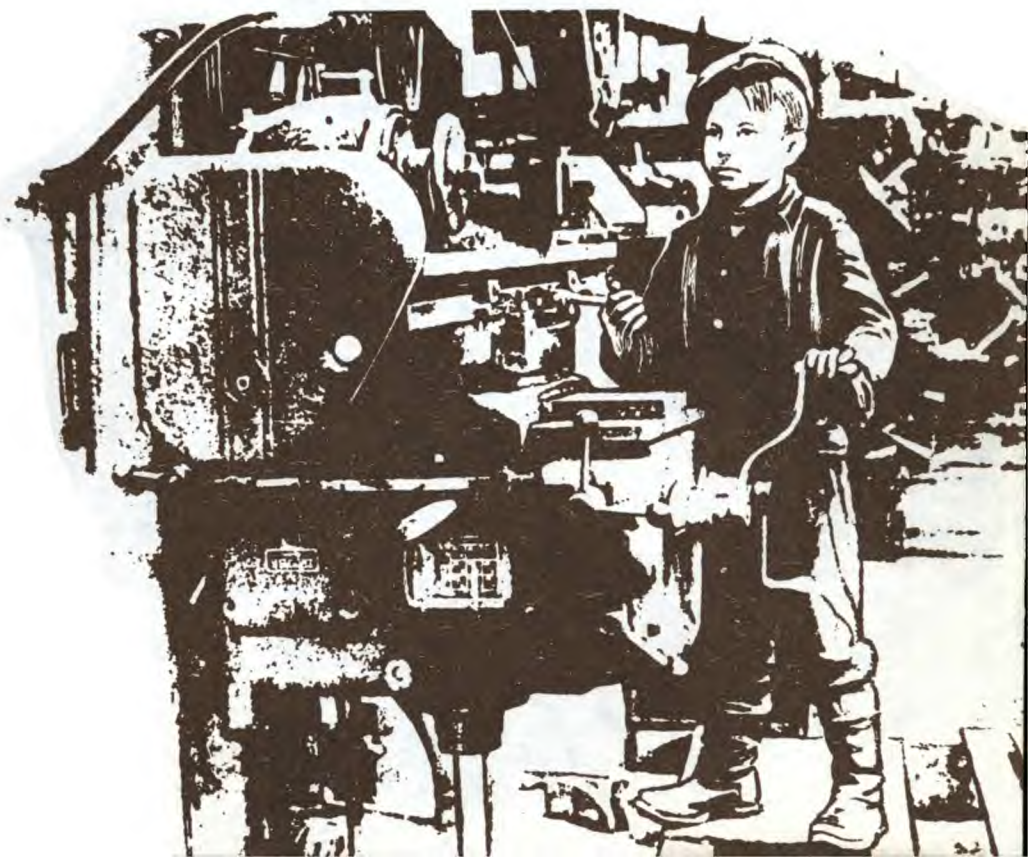


Настанет время,
И дорогой вешней
По волнованью луговой травы
Ты в жизнь пойдешь,
Не выходи без песни,
Не опускай веселой головы.

Она подарком не дается свыше,
Умея жить и все одолевая,
Я сделал все,
Чтоб ты ее услышал,
Узнал ее и смог завоевать.

Чтоб в трудный час
Любого испытанья
Ты верности в груди не погасил...

Писал в минуту ясного сознанья
И в полноте моих душевных сил».



Роберт Рождественский
(СССР)

Концерт

С

орок трудный год.
Омский госпиталь...
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
«Господи!..
До чего же артисты
маленькие...»

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
с мандолинами
и большими пачками книг...
Что в программе!
В программе —
чтение,
пара песен
военных, правильных...

Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением...
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
под Ельней
на себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело...
И другой —
до бровей забинтован, —
капитан,
таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом...



Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но всю
запевале
внимая,
о народной поем,
о священной
так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты
падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступить должна.

Если честно признаться,
нравится
нам
такая война!..
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем —
укор:
«Погодите...
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер
майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду...

...Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.





Антал Гидаш

(ВЕНГРИЯ)

Стонет Дунай

М

чится февраль,
золотистую пену сдувая.
Стонет Дунай,
и, вздымаясь с глубокого дна,
мертвый песок
обнимает рука неживая.
Пена играет на пальцах,
холодная плещет волна.

Руки ли бьются
иль стонет дунайская пена!
«Венгрия, Венгрия,
смою тебя я навек,
если ты вновь,
потрясая оружием надменно,
будешь позорить
все то, чем велик человек.

С давних времен
по моим берегам плодородным
венгры, румыны, славяне
цветут, как живые сады.
Кто это сделал,
чтоб кладбищем стал я холодным,
медленным кладбищем
вечно текущей воды!

Пять государств
караван мертвецов снарядили.
Видишь, как тихо
покойники спят в глубине!
Знать, помирились
они в моей влажной могиле...
Только живые
сгорают в зверином огне!

Светят костры.
Догорают вечерние зори.
Сети рыбацки
живым налились серебром.
Люди Дуная,
когда ж вы забудете горе,
дружно пируя
на празднике светлом моем!»

Ропот воды
замирает у ног постепенно.
Солнечный луч
разрывает на миг облака.
Пальцами матери
движет холодная пена.
Стонет Дунай,
в молчаливые бьет берега.





Аветик Исаакян
(СССР)

С

**Сердце мое на вершинах гор,
Вместе с орлами, в приволье родном,
С тучами гневно в грозный простор
Молнии мечет, бросает гром.**

**С вами сердцем мы, о бойцы,
Смерть не посмеет пронзить вам грудь.
Вас прославляю я, храбрецы,
Благословляю ваш светлый путь.**

**Народу вы дали великий обет,
И вы несете с оружием в руках
Свободы неугасимый свет!
Повергнете вы врагов во прах!**

**Буря, промчись, гроза, разразись,
Смой с человечества гниль и грязь!
Крылья расправив, взвейся ввысь,
К солнцу, наша бессмертная мысль!
Буря, сверкай, гроза, разразись!**



Михайло Лалич

(Ю Г О С Л А В И Я)

Осиротевшая земля

Год начался под знаком ослабления четнических сил на реке Лиме. Их растрепанные орды, предводительствуемые главарями, превосходившими друг друга властолюбием и низостью, расплзались по лесам и окрестным селам. Все свои надежды главари четников возлагали на очередное наступление немцев или на десант англичан; а пока суд да дело, они терроризировали население: устраивали засады, убивая наиболее видных партизанских комитетчиков, грозили спустить шкуру с каждого, кто посмеет двинуться к партизанам в Сербию.

Но, несмотря на угрозы, все жители горного сельца Капы, вплоть до древних стариков, подались кто в Четвертую пролетарскую бригаду, кто в местный партизанский батальон. Остался один Оташ Недич, так как, согласно партизанским законам, комитетчики должны были находиться в селам. С ним задержался и брат его Сретко, рассчитывая таким образом сберечь своего единственного сына Момчило, пятнадцатилетнего парнишку, стройного, светловолосого, с серыми, как у отца, глазами. Сретко знал, что если он пойдет к партизанам, то и сын рванется в какой-нибудь отряд, и уж тогда никто в целом мире не оградит Момчило от опасностей. Как и все обитатели Капы, он был охотник, хороший стрелок и за себя не боялся, но гибель сына страшила его больше, чем гибель целого света. Не мог он допустить, чтобы осиротел добрый участок равнинной земли — приданое жены, — единственный в этом горном гнездове.

Оташ злился на брата и шипел осипшим басом:

— Вот ты бы комитетчиком и заделался, раз к партизанам идти не желаешь, а я бы к ним пошел. А то срам один слушать, как люди говорят, что мы с тобой на пару забрались под одеяло, закрылись с ушами и поглядываем на всех сверху. Говорят, это я тебя не пускаю: других, мол, посылает, а брата бережет.

— Пусть болтают, что им взбрет в голову, — отвечал Сретко, потупившись и глядя в землю. — Комитетчиком меня народ не выберет: не заслужил я того, а к партизанам не могу из-за ревматизма. В костях у меня ломота по ночам.

— Известно, ломота. А тут, глядишь, и кости прогреешь, и сам уцелеешь, — едко замечал брат, злобно горящими глазами уставившись прямо в его обмотки. — Вот если бы добро делили, у тебя бы всякая ломота прошла, притче других бы побежал. Знаю я тебя, ты всегда был таким — радикал и еретик.

— Довольно уж Недичей в ту твою партию записалось, только не видать, чтобы им от этого счастья прибавилось. Дай вам бог, оперитесь, только без меня. А все, что вы там делить да распределять будете, себе забирайте, я у вас своей доли не потребую.

С началом весны, сговорившись, тайком от своих, в партизанскую бригаду подались девчата из Капы и Брезы, среди них и Среткина дочь Елисава. В то утро Елисава сказала Момчило, что ей нужно сходить по соседству за какой-то новой вышивкой, и попросила его постеречь овец. Отговорившись таким образом, с глазами полными слез, выбралась она из села и присоединилась к подругам. Напрасно парнишка, досадуя на сестру, дожидался ее целое утро. Только потом он догадался, что произошло, и хмурый явился домой.

— В бригаду сбежала, как пить дать, — сказал он отцу. — Поделом тебе, раз сам не идешь и меня не пускаешь. Стыд какой... Девчонка в армию идет, точно из вдовьего дома! Но теперь и я уйду, и не спрошусь у тебя!

Уход Елисавы к партизанам не слишком поразил и расстроил отца. Он знал, что она уйдет, и заранее примирился с этим. Дочь — чужое достояние; с легкой печалью и шумным весельем провожают дочерей из дома, и они навсегда исчезают с наших глаз. Но угроза лишиться сына опажнула его душу страхом. Он собрал все свои силы, чтобы скрыть охватившее его чувство, и с самым беспечным видом заговорил миролюбиво и вкрадчиво, цедя слова по одному:

— Вот что... теперь-то я могу тебе признаться: Елисава просила моего разрешения — и я ее отпустил. Только матери меня не выдавай. Стыда тут никакого нет, потому что нынче девушки наравне со всеми в армию идут. И мы с тобой туда двинемся, вот только пашню на Кулине засеем да делянку корчевья на Тусте картошкой засадим. А там прямо к партизанскому начальству явимся, попросим, чтобы девчонку они отпустили. А нас двоих пусть берут. Правильно я говорю? Две хорошие винтовки в мужских руках — не то, что одна в слабых женских. Дочь пусть за домом смотрит, а мы повоюем. И меня Оташ попреками своими одолел, не вечно же мне их сносить... Ради вашего же благополучия терпел, а теперь довольно. Зато уж после нечем ему будет меня попрекать, верно?

Сбитый с толку миролюбивым тоном разговора — без обычного негодования и крика, — парнишка не заметил подвоха. Впервые в жизни отец на равных разговаривал с ним; обдумывая, прикидывая, обстоятельно излагал свои соображения, как сделать лучше. Сын согласился подождать до тех пор, пока они управятся с севом, и был настолько растроган и взволнован, что едва не бросился отцу

на шею и не расцеловал его. Но здесь, в Капе, любовь и ненависть принято было скрывать одинаково тщательно.

На следующий день Момчило не терпелось приняться за дело, чтобы поскорее справиться с работой. Тут отец и стал тянуть, откладывая сев со дня на день. Отговаривался то тем, что земля не готова к севу, то тем, что надо дожидаться дождя, потом ссылался на непогоду и, наконец, на свою болезнь. Всю свою надежду возлагал он отныне на эту проволочку с делами, а все свои усилия направлял на то, чтобы украсть у судьбы лишний день — а дни были нынче не божьи, а дьявольские. Сретко надеялся, что время принесет какие-нибудь перемены: или кто-нибудь потеснит партизан, или они сами куда-нибудь подадутся и еще хоть на одну весну оставят ему сына.

В начале апреля отправились они к горе Тусте — засадить картошкой корчевье. По дороге туда Сретко все еще надеялся на затяжные дожди, которые должны были задержать их в поле и оттянуть возвращение в село. Впрочем, погода и так сверх всяких ожиданий содействовала этому: зеленая громада гор притягивала тучи и выдаивала из них нескончаемые буйные ливни; работать под ними было невозможно. Мутные потоки день и ночь низвергались со склонов, неся снег и лед с горы Трехглавой. Под их несмолкаемый рев далеко уносились мысли отца и сына...

Когда небо очистилось и над потоками стали стлаться белесые туманы, отец и сын начали готовиться к посадке картошки. Сретко удалось протянуть с началом работ еще пару дней — пока земля не впитала влагу, пока не подсохли посадочные клубни, — а сам все время уповал на новые дожди и затевал какие-то мелкие дела: то чинил ограду, то принимался перебирать семенные клубни. И между делом, предвидя конец и этим оттяжкам, потихоньку заводил разговор о Долгом поле.

— Оно вот уже несколько лет прозябает в праздности, а надо бы и его тоже засеять, достаточно уже оно отдохнуло под парами, да и вообще грех это и не к добру, когда земля остается незасеянной. Не то чтобы она прямо так сразу одичала, зачерствела и в луговину превратилась, а все равно нехорошо, непорядок это в хозяйстве, когда так делается...

— Известно, что это за грех! — догадался Момчило. — Да будь у нас всё до последнего клочка земли засеяно, ты все равно какую-нибудь зацепку в хозяйстве откопаешь, только бы меня при себе удержать. Все мои сверстники давно оружие носят, Миня Милянов взводным стал, а чем я его хуже? Ты меня к Тусте приковал, чтобы к партизанам не пустить, знаю я тебя!

— Много ты понимаешь! Вон глаза на мокром месте, а туда же — дай ему винтовку в руки. А про то не думаешь, что мне приходится за тобой ходить, как за малым дитятей. И в отряд одного не отпущу. А как оставишь дом без хлеба, скот непоеным — не делается так...

На третий день отправились они копать на заветренном склоне, окруженном густыми и влажными рощами. Под прикрытием леса на краю корчевья выстроились покосившиеся зимние хижинки, давно уже не используемые под зимовье, перед ними на лужке вот уже десяток лет стояли пустующие овечьи загоны с кучами навоза.

Щедро удобренная и много раз возделанная земля хорошо поддавалась вспашке. Легкий взмах — и мотыга неслышно уходит по самым дужкам в рыхлую темную почву. Мягкие комья, полные жизни и весеннего сока, тихо рассыпались под босыми ногами земледельцев. Вскоре отец и сын позабыли про все свои заботы и, снимав с себя одежду, размахались вовсю, ощущая обнаженными спинами теплую и мягкую ласку солнца и ветра.

Посреди луга вдоль ряда старых буков протекал быстрый и говорливый ручей. Сретко, опуская мотыгу в землю, краем глаза поглядывал в эту сторону и каждый раз ловил себя на мысли, что за буками кто-то прячется. Только было он собрался рассказать сыну, что эти буки были тут еще во времена его деда, прославленного Вук-Неды, который первым поднялся против турок при Мораче, как увидел, что за буками и действительно кто-то скрывается, а из рощи в сторону поля идут какие-то неизвестные люди с винтовками, одетые в разношерстные остатки униформы. Те, что прятались за деревьями, поняли, что замечены крестьянами, и крикнули:

— Эй, вы кто такие будете?

— Сретко Недич с сыном! — ответил Сретко голосом, выдавшим тревогу.

— Недичи из Капы, значит, коммунисты, — разъяснил кто-то из подошедших и злобно хохотнул.

Этого смешка было довольно, чтобы понять, кто там находится. Сретко передернулся от страха и проговорил срывающимся и неуверенным голосом:

— Коммунистами мы никогда не были, мы от них здесь скрываемся.

Несколько оборванцев между тем уже подходили к ним. Один из них, исхудалый и смазливый, деланно засмеялся:

— Испугался, думаешь, мы четники. А вот и нет — мы тоже партизаны, так что можешь не бояться.

— Не знаю, кто вы, — упорно твердил испуганный крестьянин, — а знаю про себя: коммунистом я не был и не буду.

— Ладно, нечего прикидываться! — настаивал смазливый. — Ты что, меня не признал до сих пор, а еще ужином кормил, когда мы на Плевли шли. Тут кто-нибудь из наших проходил?..

— Слушай, маленький, отвяжись ты с этим делом от меня. Никого я ужином не кормил, и никто ко мне не заворачивал. А по следам я ни за кем не хожу. — И Сретко, обливаясь потом от страха, поднял голову, чтобы оценить, есть ли еще какая-нибудь надежда на спасение.

И тут он увидел, как по тропе из рощи выезжает всадник в выгоревшей шинели, из-под которой свисали, словно пустые, штанины от итальянской военной формы. По этим штанинам он тотчас же узнал четнического главаря Арсовича. Мать его была родом с Брезы, из дома Неоричей, и Сретко запомнил его еще с довоенных времен, когда служил срочную в Подгорице. Кто-то с Брезы сказал тогда Сретко: «Вон, посмотри, внук Янки Неорича — саблю нацепил, нос задрал, знать никого не хочет...»

Арсович с тех пор еще сильнее отощал, настоящий скелет: физиономия вытянулась, нос удлинился, оттопырились синие губы. Придержав коня, он что-то спрашивал, указывая на корчевье. Несколько голосов сразу откликнулось на его вопрос — люди наперебой торопились выслужиться перед своим главарем. Арсович поднял руку, приковывая к себе взгляды, и скрипучим голосом бросил короткий приказ:

— Связать!

И, лишь поняв, что ему скручивают руки, Сретко стал вырываться и вопить истошным голосом:

— Господин Арсович, да что же это такое? За что это меня связывают, господин начальник, что я такого сделал?

Он обернулся и увидел, что трое других схватили Момчило и связывают ему руки за спиной. И под страдальческим и укоризненным взглядом сына опустил глаза в землю.

Когда их привели к букам, Арсович уже спешил. Кривоногий, в обмундировании карабинера, этаким цаплей расхаживал он вдоль берега ручья. Момчило молчал и, представляя, что его ожидает, стоял с побледневшим смертельно лицом. Почувствовав на коже озноб, от которого ошетинились усы и борода и волосы на голове зашевелились, отец кинулся к главарю с мольбами:

— Зачем же вы парнишку душите?.. Господин Арсович, за что же это нас связывают? Что же это такое творится, господи боже?

Арсович глянул на него бесцветными глазами и прошипел:

— Молчать! Здесь я спрашиваю! Кто убил моего дядьку Мирко Ристова Неорича?..

— Так что ж это, я его, что ли, убил?.. Или вот этот парнишка? Сам ведь знаешь, что дядьку вашего партизаны убили! А могли с таким же успехом и меня убить, я им тут не помеха!

— Могли, но не убили, значит, ты ихний. Коммунистический комитетчик тебе родня. И Сава Недич тебе родня, старый разбойник, коммунист. Родня тебе и Ново Недич, и Милич, а они оба комитетчики и партийцы. А ты тут из себя святую невинность корчишь! Ну, как там, из Капы все к Моше Пьяде подались?

— Да разве это справедливо, чтобы из-за них я страдал за то, что сам к нему не подался, да еще меня же и еретиком объявили... — судорожно отбивался Сретко в слабой надежде как-нибудь выкрутиться, но Арсович снова перебил его:

— Это коммунистов справедливость волнует. Вечно они какую-то справедливость ищут. А мы справедливость у таких вот буков отвешиваем. Эй, там! — крикнул он своим оборванцам и хлопнул в ладоши.

Видя, что они снимают винтовки с плеч и что расстояние между жизнью и смертью с немислимой быстротой сокращается, Сретко, как был связанным, рухнул на колени и стал молить — голосом, лицом, всем телом:

— Пощади, господин Арсович, не бери грех на свою душу за меня и за этого ребенка!.. Да будь я таков, как ты говоришь, разве б вы меня застали здесь? Я же сам только о том и мечтал, чтобы где-нибудь спрятаться и сына спасти, от армии его уберечь, от гибели. Молю тебя...

— Кто молит, тому от меня пуля; кто не молит — тому петля.

— Как бога, тебя молю, выслушай меня! Не был я ни четником, ни партизаном, худым словом о вас не обмолвился. А с этих пор одному тебе буду служить, повсюду за тобой пойду...

— Знаю я вас, паскудное семя: все вы верные до первого ручья, а там — нож в спину. Не-ет, этому больше не бывать!.. Все вы такие хорошие, когда в расщепку попадетесь...

— Как бога, тебя молю! Если ты мне не веришь — связанным меня веди, расспросишь людей, услышишь, узнаешь, каков Сретко. Не убивай без нужды своего человека... Ладно, меня не развязывай, только дитя освободи...

— Чтoб он за тебя отомстил, так, что ли? Поздно! Некогда мне твои проповеди выслушивать. — Арсович подмигнул своим понятивым приспешникам.

Два приклада обрушились на широкую спину Сретко Недича, третий угодил прямо в лицо. Сретко словно впился зубами в землю, потом, выплевывая кровь вместе с выбитыми зубами, поднял голову и встал, сверкнув ядовитым взглядом и застыв под наведенными на него стволами винтовок.

Убийцы между тем не торопились, сама смерть не доставляла им такого удовольствия, как предсмертный ужас и конвульсии жертвы. И они дали ему время взмолиться еще раз, чтобы услышать его голос, захлебывающийся кровью и словами, которые выдавливали его разбитые и окровавленные губы:

— Убей меня, все у меня заberi... Пусть тебе простится моя кровь, только сына моего помилуй! Единственный он у меня, осиротеет без него моя земля. Не задувай свечу, черный флаг на доме моем не вывешивай, всеблагим господом богом тебя молю!

— Единственный, говоришь? Осиротеет, говоришь?.. Хи-хи-хи-хи! — заржал Арсович надтреснуто. — Вся Капа ваша осиротеет! Все ваши свечи задую. Красными флагами кичились, теперь настал черед черных флагов. Ну, как там, готово?

Винтовки были вскинуты, палачи спрашивали, кончать ли обоих сразу или по отдельности и кого первым.

— Если ты человек, так меня первым, чтобы хоть не видеть этого, — глухим, словно идущим из-под земли голосом выкрикнул истекающий кровью крестьянин.

Молчавший до сих пор мальчик вдруг проговорил твердо и звонко:

— Что ты просишь это дерьмо, что ты унижаешься перед ними! За нас отомстят...

Первый выстрел грянул, опередив команду, и прервал его речь. Пораженный в грудь, мальчик упал ничком.

Тогда Сретко бросился всем телом на винтовки:

— Стреляйте, предатели, стреляйте, ироды проклятые! У меня дочь в Пролетарской, она глотки вам перережет! — И так как все еще никто не стрелял в подставленную под стволы широкую грудь, а ему было тошно оставаться живым и смотреть на них, крестьянин что было силы выкрикнул, стараясь угодить в самое чувствительное место: — Выродки, отбросы человеческие, и предводитель у вас того же пошиба, внук мерзавца Ристы Неорича и этой ведьмы Кривой Джоны, от которых люди открещивались. А правнук Янко Пророка, последней гадины...

Грянула вторая винтовка. Человек стал клониться к земле, головой к мальчику. Внезапным страхом объяло поляну.

На осиротевшей земле в раскидистой тени буков отдыхали в тот день и в последующие дни двое мертвых землешцев. Кусок возделанной ими земли, подсыхая, постепенно сравнялся цветом с остальным полем. Весело журчал ручеек, ветер играл в ветвях, птицы наполняли радостным гомоном окрестность, и только две брошенные мотыги на пашне напоминали о тех людях, которые тут были и которых больше нет.



Рудо Мориц

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Огонь железного „Гурбана“

В

небе над селом два штурмовика преследовали тяжелый «юнкерс», и в ту минуту, когда из него вырвался клуб дыма, появился подпоручик Лавый.

— Нужны хорошие стрелки на бронепоезд!

— Куда? — спрашиваем.

— На бронепоезд «Гурбан».

Он втащил меня в сарай, усадил на охалку соломы и начал рассказывать. Говорил он торопливо, сбивчиво, что было на него не похоже.

— Железнодорожники из Зволена закончили оборудование бронепоезда. Назвали «Гурбаном» — помнишь, был у нас такой народный вождь. Лет сто назад. Операция намечена уже на сегодня. На двух платформах — башни от подбитых танков. Орудия у нас отличные. Нужны опытные стрелки.

Он ждал моего ответа.

— Двоих на каждую башню? — спрашиваю я.

— Двоих. Стрелка и заряжающего.

Договорились, что пойдем. Это так заманчиво — бронепоезд! В таком чудесном стальном поезде я никогда еще не бывал.

Я позвал ребят из своей команды, и мы сразу же решили: первая двойка — я с Имре, вторая — солдат-резервист Штево Кркан с конопатым Вило. Лишним оказался только Феро Глоговчан. У него нервы послабее. Он остаётся при нашей пушке.

Прежде чем уйти, подпоручик велел нам ждать приказа. Приказ не заставил себя ждать: сразу после обеда всем четверым быть у штаба. За нами придет машина.

Время шло, волнение наше усиливалось. Бронепоезд! А куда мы, собственно, двинемся на нем? На Чремошню или в другую сторону?

Вило шепотом спросил Кркана:

— Слушай, Штево, а мы сможем выскочить из этой штуки, если что...

— Нет, брат, это железный сундук, который ходит по рельсам!

Вило слегка вздрогнул и побледнел так, что веснушки ярче проступили вокруг короткого носа.

— Не пугай его, — сказал Имре. — Не бойся, Вилко. — Он потрепал по плечу самого юного нашего товарища. — У нас бронепоезд отличный, ты будешь в нем чувствовать себя, как дома под одеялом.

— А я и не боюсь, — защищался Вило, и кадык так прыгал у него на горле, будто он проглотил горячую картофелину. — А ты уже видел этот бронированный поезд? — спросил он своего командира.

— Не видел, Вило, где же я мог его видеть?

— Не видел, а говоришь так, будто видел, — успокаивал сам себя конопатый юнец.

Пришла автомашина, на ней было несколько парней. К «Гурбану» собирались и из других подразделений. Мы вскочили в кузов и устремились к Зволену.

«Гурбан» дожидался в железнодорожных мастерских, запрятанный в закопченном депо от любопытных глаз. В середине спокойно, с достоинством дымил паровоз, впереди и позади его стояли по три вагона. Да какие вагоны — крепости! На тех, что примыкали к паровозу, стояли танковые башни с дулами пушек, на тех, что отстояли от паровоза дальше, устроены бойницы для тяжелых пулеметов, платформы по краям оберегали бронепоезд от взрывов на рельсах. Весь бронепоезд покрывала тяжелая стальная броня, и был он размазан коричнево-зелеными пятнами.

Около бронированного чудовища сустились парни в промасленных спецовках. Один с молотком и гаечным ключом, другой с масленкой. Они проводили последний осмотр.

Прибежал рослый надпоручик, похожий на аиста, с ногами, обтянутыми бриджами, в тяжелых сапогах.

— Я надпоручик Контра, командир бронепоезда «Гурбан», — объявил он громко, так, чтобы слышно было всем.

Мы быстро построились, встали по стойке «смирно». Надпоручик встал рядом с паровозом, сдвинул фуражку на затылок.

— Слушай меня, объясню задачу! — начал он говорить. — Важно, чтобы бронепоезд, встретившись с противником, маневрировал так, чтобы бойницы и смотровые щели не стали мишенями. Цель предстоящей операции: под Чремошной немцы укрепились в лесничестве, оно расположено вблизи от железнодорожной колеи. Они не дают пользоваться дорогой, обстреливают подъездной путь. Нужно ликвидировать опорный пункт противника. Стрелять начнете по сигналу красной ракеты.

Потом поставил задачу каждому в отдельности и скомандовал:

— Вперед!

Мы с Имре влезли в вагон с танковой башней. За нами взобрались двое — к пулемету. Внутри было полутемно, свет проникал лишь через прорезь для пулемета. Но когда глаза привыкли, мы стали

неплохо ориентироваться. К башне прислонились ящички с противотанковыми гранатами. С одной стороны — бронебойные, с другой — разрывные. Знакомый вид ящичков нас успокоил. Мы чувствовали себя так же, как будто перед нами была наша пушка. В глубине вагона стоял пулемет.

Мы все осмотрели. Башня вращалась легко. Вести наблюдение нужно было через перископ.

— Это хорошо придумали, — похвалил Имре, обнаружив в углу несколько бутылей с водой и банки консервов. — Так можно жить!

Потом мы познакомились с пулеметчиками и стали ожидать, что будет дальше.

Вскоре послышался сиплый свисток паровоза.

— Поехали, — поднял голову блондин у пулемета.

Поезд дернулся, буфера лязгнули. Значит, тронулись. Мы бросились к бойнице, посмотреть, что происходит снаружи.

«Гурбан» медленно выдвигался из депо, а вокруг стояли железнодорожники. Они махали нам руками и кричали:

— Счастливого пути, «Гурбан»!

Мы заняли свои места. Я влез в башню, принял к перископу и всматривался в местность около железной дороги. Имре зарядил орудие и закрыл затвор.

А колеса «Гурбана» негромко выстукивали знакомую песню. Когда мы въехали в первый тоннель, они зазвучали сильнее.

«Гурбан» продвигался медленно, даже стук колес стал неслышен, как шаги кошки, когда она убирает свои когти в подушечки.

Теперь это могло произойти с минуты на минуту. Пальцы на предохранителе, стóбит только отпустить их и нажать на спуск. Напряжение возрастало. Сердце подскочило к самому горлу.

Имре взглянул на меня:

— Еще нет, Мартин?

— Нет, — говорю. — Вокруг одни горы, елки до неба достают.

— Я здешний, — подал голос светловолосый пулеметчик. — Я из Чремошни. Живем рядом с костелом. — Через бойницу он разглядел окрестности. — Лесничество близко, вон там, за поворотом.

И вправду. Только «Гурбан» прошел поворот, как за полосой старых елей на обширной прогалине показалось лесничество.

Красивый, уютный пряничный домик лесника. Деревянный, с резьбой над оконными рамами, с рогами на фронте веранды. Позади хозяйственные строения.

— Тут бы да пожить, — вздохнул я печально. — Сейчас «Гурбан» превратит эту красу в груду обломков.

Вокруг дома ходили двое немецких часовых.

Красная ракета! Я нажал на спуск. Но меня опередили на другой платформе. Резервист Штево Кркан оказался расторопнее. Пуле-

меты так и жарили по дому. Лесничество стало похоже на муравейник. Из окон и дверей выскакивали застигнутые врасплох фашисты. Одни только в рубашках, другие застегивали на ходу мундиры. Многие уже не застегнут их, упав на землю.

Те, что избежали смерти, ищут укрытия и оттуда стреляют. Неторопливо строчит немецкий пулемет. Мы берем на прицел нижние окна, сначала стреляем в одно, потом в другое. Из них повалил дым.

Вот застучал и второй немецкий пулемет, и из-за дома полетели мины. К счастью, миномет бьет не прицельно, мины рвутся далеко от бронепоезда. А «Гурбан» медленно движется — взад-вперед, взад-вперед, — и все его орудия изрыгают ужасный огонь.

Лесничество превращается в груды обломков. Угол крыши оторван гранатой Кркана. С фронтона слетели рога. Одна из опор веранды рухнула. А какая она была красивая! Разрушать такую красоту из-за этих негодяев! Чего им надо?

Стискиваю зубы и в перископе ищу пулеметное гнездо. Оно, наверное, вон за той старой елью. Стреляю по дереву, но где там, такую громадину не прострелишь!

Вдруг что-то блеснуло в окне. Ага, каска и автомат! Я быстро прицеливаюсь. Действую обеими руками. Чувствую, что на лице пот проступил. Это потому, что я понял, что это значит. Там не простой стрелок, там классный стрелок, там снайпер! Не успел я нажать на курок, как в окне блеснул огонь. И в то же мгновение «Гурбан» остановился. Будто в нем сразу погасла жизнь. Будто что-то оборвало нерв.

Я нажимаю спуск, снаряд попадает в угол окна, где прячется голова снайпера. Попал я или нет? Но если попал, то на долю секунды позже, чем было нужно! Черт побери! Нужно быть расторопнее. Я кричу пулеметчикам:

— Что же вы зеваете, не могли стрелять быстрее?! Вы что, не видели его?

— Ничего мы не видели, — слышу сквозь стук пулемета.

Немцы поняли, что им делать. Поезд неподвижен, нужно подобраться к нему и забросать гранатами. Видно, как они по-пластунски приближаются к нам, переговариваясь жестами. Если мы не начнем двигаться, будет плохо!

— Что случилось? — спрашиваю я Имре.

— Ну что, снайпер через люк попал в машиниста.

— А что же кочегар, не может вести паровоз?

— Откуда я знаю? Я же не вижу через броню!

— Штево Кркан — железнодорожник, он же ездил на паровозе! — говорю я. — Только как он из вагона в паровоз переберется?

— Думаю, что с другой стороны мог бы, — отвечает Имре и вкладывает заряд в ствол орудия.

— Смотри, как они лютуют, — кричу я, закашлявшись, потому что вагон полон дыма от стрельбы.

— Стреляйте! — кричу я пулеметчикам, потому что вижу в перископ, как из вагона с башней выскочил Штево Кркан.

Закрытый колесами поезда, он по-кошачьи крадется к паровозу. Нужно отвлечь немцев, чтобы они не заметили его.

Мы устроили им настоящее пекло.

Среди ветвей ближней елки что-то блеснуло. Ага, там снайпер!

Тщательно прицеливаюсь. Наши орудия бьют точно. В ладонь попадаешь с пятисот метров. Я беру его, гада, на мушку. Задерживаю дыхание, ладонь автоматически нажимает на спуск. Снайпер свалился под елку, как перезрелая груша.

Тогда осматриваю местность через перископ. Что со Штево? Добрался ли он до паровоза или его подстрелили? Это был бы конец, потому что машинистов у нас больше нет.

Внезапно «Гурбан» дернулся, будто воспрянул от сна. Нас качнуло так, что я ударился лицом об острые грани перископа. Мне бы выругаться, но вместо этого я закричал, как мальчишка:

— Справился, молодец!

— Штево молоток! — говорит Имре. И подгоняет меня: — Что не стреляешь, нет больше фрицев, что ли?

— Черта с два нет, — ворчу я и тыльной стороной ладони вытираю лицо. Чувствую теплую влагу. Смотрю на руку, она вся в крови. Так дернул, черт этакий, что рассек мне лоб.

«Гурбан» опять потихоньку движется взад-вперед. А я снова прицеливаюсь и стреляю. Немцы, пораженные тем, что «Гурбан» опять движется, на минуту замерли. Нужно воспользоваться этим исыпать им по первое число.

— Дай один фугасный! — кричу я Имре.

— А зачем, темно, что ли?

— А затем, что мы устроим им костерок. Все равно это уже не лесничество, а груды щепы.

— Хочешь поджечь?

— Не спрашивай без конца, а дай снаряд!

Вдруг у меня мелькает мысль, от которой я даже вздрогнул.

— Эй, послушай! — кричу я блондину. — Наши из лесничества ушли или еще там? Не знаешь?

Блондин минуту подумал, потом говорит:

— Калишка из Быстрицы. Определенно они здесь немцев не дожидались.

— Тогда давай, друг!

Зажигательный снаряд сделал свое дело. Деревянное строение вспыхнуло, как факел. Сухое дерево трещало, взрывалось, стреляло так, будто у нас прибыло оружие.

Немцы выбегали из помещений и становились отличной мишенью для пулеметов.

Через несколько минут колеса паровоза внезапно заработали, и бронепоезд отправился в обратный путь. Гудок заревел, как бык.

— Штево нас приветствует! — засмеялся Имре.

— Да, приветствует, — соглашаюсь я.

Я слез на пол и сделал три приседания, чтобы расправить затекшие члены.

Как только мы приехали в Ильянку, сразу выскочили на свежий воздух и бросились к паровозу. А Штево Кркан вместе с покрытым копотью кочегаром, совсем молодым пареньком, вытаскивали тело машиниста. Мы помогли им.

— Он мертв, — бормочет Кркан. — Пули попали прямо в глаза.

Он прикрыл его разбитое лицо платком, не слишком чистым. Вот и надпоручик Контра на своих аистиных ногах.

Он обнимает Штево, стискивает и прижимает к себе.

— Ты сберег «Гурбана»! Я тебя представлю на повышение и к награде!

— Я сделал только то, что было нужно, — улыбается Штево.

— Знаешь, Штево, я сам заряжал и стрелял, — тронул его за рукав конопатый, с лицом, покрытым копотью, Вило.

Никак не мог удержаться, чтобы не похвалиться.

— Ты молодец, Вило! — похлопал его по плечу Кркан. — И его надо бы повесить, надпоручик!

У Вило заблестели глаза, но надпоручик не ответил.

Прибежали люди со станции. Контра передал им убитого машиниста. Когда шесть человек понесли его, мы отдали ему последние почести — салютовали ему залпами.

Потом командир «Гурбана» крикнул:

— По местам!

Штево вскочил на паровоз, раздался свисток, и через минуту бронированный «Гурбан» уже постукивал так, будто на его колесах были подковы.

Алексей Сурков

(СССР)

Б

Софье Кревс

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко.
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.





Димитр Гулев

(БОЛГАРИЯ)

Государство

Б

ольше всего мы любили играть в государства. Обычно это происходило после обеда, когда становилось попрохладнее. Собирались у Жениного дома, на тротуаре, и улица, тихая и пыльная, звенела от наших возбужденных голосов.

Участвовали в игре только мы, старшие, а те, что поменьше, сидели на заборе Жениного дома и живо комментировали наши победы и поражения.

Мелом или куском засохшей известки мы рисовали на тротуаре большой квадрат, и каждый из нас, больших и сильных ребят, отчеркивал себе часть от этого квадрата. Туда мы вписывали крупными буквами название своего любимого государства, определяли, кому начинать игру, и, поставив ногу на свое государство, ждали.

— В бой идет, в бой идет, в бой идет!.. — кричал кто-нибудь из нас, и мы вздрагивали в ожидании, а услышав наконец название государства, бросались врассыпную.

Владелец названного государства гнался за нами и, если кого-нибудь догонял, забирал у него часть земли.

Мы выбирали те государства, о которых узнавали в школе или слышали от родителей. Я, например, всегда хотел быть Болгарией и каждый день спорил из-за этого с Недкой, сыном железнодорожника Ставри. Недка уступал и брал себе другое государство.

Турцию представлял толстяк Филипп. Он вечно проигрывал, но проигрывал весело, не сердился, не хмурился и постоянно смешил нас своими жалобами и причитаниями. Ловкому худощавому Илийке, как правило, доставалось самое маленькое государство... Война уже началась, радио и газеты сообщали нам о неведомых до сих пор государствах, и почти ежедневно кто-нибудь из нас поражал всех новым названием.

Играли до изнеможения, до самой темноты. Иногда только бежали посмотреть на длинные серые колонны немецких войск, медленно тянувшихся по соседней мощеной улице. Потом возвращались на наш тротуар и возобновляли игру или же усаживались вокруг Жени. Она была двумя годами младше нас, но всем каза-

лось, что красивее, умнее и добрее ее нет на свете. Как магнит, притягивали нас ее светлые, прозрачные глаза, удивительно рыжие волосы, горевшие, как пламя, и нежное лицо с гладкой матовой кожей. В ее присутствии мы были необыкновенно говорливы, остроумны, нелепо горды, и, пока Жени не уходила, напрасно матери звали нас домой.

Но все мы невольно вздрагивали, стоило лишь появиться на улице отцу Жени. Узнавали его издалека. Даже в самую сильную жару он ходил в темной одежде и черной широкополой шляпе, тень от которой закрывала его бледное лицо. Илийка клялся, будто он совершенно лысый, без единого волоска на голове, но мы никогда не видели его без шляпы и без кожаной перчатки на правой руке. Руку эту держал он всегда прямо, как деревянную, вытянув ее вдоль туловища.

Завидев отца, Жени тут же переставала смеяться, лицо ее как-то странно вытягивалось, и она покорно ждала его. Он оглядывал нас своими светлыми глазами, протягивал Жени здоровую руку, и они молча уходили домой. Отец Жени разжигал наше воображение, и, прижавшись в темноте друг к другу, мы рассказывали о нем страшные истории. Все знали, что он работает в большом желтом здании, где отдают приказы полицейским, и редкий вечер не строили догадок об этом замкнутом, сдержанном человеке, который и привлекал, и отталкивал нас.

На следующий день мы собирались снова. Как-то незаметно исчезали из нашего квадрата названия многих государств. Зато тот, кто выбирал Германию, всегда был в выигрыше, и поэтому многие из нас хотели стать Германией. Но только не Недка. Он выбирал себе другие, не известные доселе государства. Нас это не удивляло. Недка учился лучше всех, и кому, как не ему, знать, какие государства есть на земном шаре и какое из них самое сильное.

Но мы искренне удивились, когда в один июльский вечер Недка написал на своей части квадрата: «Советский Союз». В первый момент мы просто оцепенели.

— Недка, почему? — протянул Филипп.

— Так! — отрезал Недка, и его теплые карие глаза дерзко сверкнули.

Низенький, плечистый и крепкий, он никогда ни с кем не дрался, никому не грубил. Мы всегда звали его играть, хотя жил он довольно далеко, и сейчас легко согласились с новым названием, которое впервые появилось в нашем квадрате.

Игра началась.

На этот раз Филипп оставил себе Германию — надеялся, бедняга, хоть раз выиграть. Но, как всегда, проигрывал. Когда называли Советский Союз, Недка преследовал только одного Филиппа и, хотя другие ребята были ближе, непременно его обыгрывал.

— Пропала, пропала Германия! — охал Филипп и тянул нараспев: — Вечная ей память, аллилуйя!..

Слово «Германия» так странно переплелось с войной, с нехваткой продуктов и кукурузным хлебом, с грохотом самолетов в синем небе и озабоченными лицами отцов, что мы невольно подтягивали Филиппу и ликовали, что он проигрывает.

А Недка играл с ожесточением. Скакал за Филиппом, хватал его то за шею, то за пояс и пядь за пядью отнимал его земли. Никогда раньше мы не видели Недку таким увлеченным и поэтому радовались каждой его победе. А он, раскрасневшийся и возбужденный, носился по тротуару и горделиво поглядывал на восторженную детвору, облепившую весь забор.

Жени всплескивала руками, смеялась, и рыжие ее волосы метались, как пламя. Вдруг она вбежала в квадрат на мостовой, оглядела государство Недки и радостно закружилась.

— О, какое большое, какое большое! — воскликнула она.

Недка вынул из кармана кусок мела и крупными буквами заново написал название своего государства. Проходившие по улице люди поглядывали на нас, кто с удивлением, кто с улыбкой, кто сердито, и все почему-то спешили поскорее уйти. Но нам было не до них. Захваченные игрой, мы не заметили, как у забора остановился и отец Жени. Сколько он так простоял, не знаю! Увидели мы его только тогда, когда Илийка налетел на него и, как мячик, отскочил в сторону. Все замерли. Отец Жени стоял неподвижно, не сводя глаз с Недки, и только нижняя его губа, тонкая и бледная, слегка подрагивала. Жени смотрела на отца широко раскрытыми от страха глазами и машинально вытирала руки о пальто.

Недка отступил назад, но отец Жени опередил его, поднял здоровую руку и ударил мальчика по лицу.

— Марш отсюда! — прошипел он. — Убирайтесь все! И чтобы больше вы не смели играть в это... — Он кивнул головой на очерченный мелом квадрат, плюнул в государство Недки и направился к дому.

Жени побежала за отцом.

Мы стояли растерянные, испуганные и обиженные. Недка тронул покрасневшую щеку, обернулся, поднял камень и, не успели мы опомниться, кинул его в отца Жени. Но камень попал в Жени. Мы услышали, как она вскрикнула, и бросились бежать. Улица мгновенно опустела.

На другой день мы не посмели высунуться на улицу. Притаившись во дворах, тайком перешептывались сквозь щели в дощатых заборах. К Недке идти боялись. Так прошло несколько дней. Матери удивлялись нашему непонятному послушанию. Но понемногу страх прошел, и мы снова собрались было начать игру, как вдруг всех поразила неожиданная новость: интернировали семью Недки. Мы не поверили. Забыв про страх, мы вдвоем с Филиппом побежали к дому

Ставри. Там уже были все наши товарищи. Мы смотрели на опустевший дом и недоумевали: неужели Недки больше не будет с нами? В то утро полицейские отправили на вокзал и Недку, и его брата, и дядю Ставри, и толстую тетю Шинку.

Мы шлепали босиком по раскаленным плитам мостовой, и одна и та же мысль мучила всех: неужели Недку выслали из-за нас, из-за нашей игры в государства? Молча шли мы мимо дома Жени, и вдруг все вздрогнули. На скамейке в саду сидела Жени с забинтованной головой и смешно поднятыми вверх рыжими волосами, которые резко выделялись на белых бинтах. На коленях ее лежала раскрытая книга, но Жени не читала, а смотрела на нас, и в ее светлых глазах застыли и недоумение, и боль, и грусть. Я подумал о Недке, отвернулся и с удивлением увидел, что все мои товарищи тоже смотрят куда-то в сторону. Что-то сдавило мне горло, защипало в глазах, и я поспешил домой.

В тот день на нашей улице только и было разговоров, что о Ставри, и я узнал, что старший брат Недки, солдат, бежал из казармы и бесследно исчез.

— За это их и выгнали из села! — вздохнула мама, и глаза ее подернулись печалью.

А я подумал, что не только за это, но и за нашу игру в государства, и за камень, брошенный Недкой, и за отца Жени.

Но никто из взрослых не знал об этом.

На закате мы собрались на своем обычном месте. Не было только Жени. Ни на заборе, ни в саду. А без нее как-то не хотелось начинать игру, а рассказывать страшные истории было рановато: ведь еще не стемнело. Мы сидели на траве, кто-то насвистывал. На улице застыла тишина. Вдруг Филипп поднялся и вынул из кармана кусочек мела.

— Вставайте! Начинаем! — позвал он нас и нагнулся, чтобы начертить квадрат.

Все оживились. Каждый выбрал себе государство, только Филипп стоял, о чем-то задумавшись. Потом присел и четко вывел: «Советский Союз».

— Филипп! Ты что? — ахнул Илийка.

— Так! — тряхнул головой Филипп. — Из-за Недки.

Каждый почувствовал, что на сей раз за нашей игрой таится что-то другое, очень большое, чего сразу и не понять. И ребятишки на заборе не приветствовали нас так шумно, как обычно, а все озирались. И сад Жени был пуст. Играли мы без особого желания, скорее, по привычке. Может быть, поэтому Филипп и выигрывал. Мы нарочно не спешили убежать: пусть быстрее догоняет нас. И почему-то казалось, будто это не Филипп, а Недка играет на его месте. Земли Филиппа расширились, они занимали уже весь квадрат. Впервые он выиграл, и яркая краска заливала ему щеки. Он первый увидел двух жандармов, показавшихся в конце улицы. Возможно, они забрели

сюда случайно. Но в тот момент мы были уверены, что пришли они за нами и послал их отец Жени.

— Играйте! — прошептал Филипп, внезапно побледнев. — Называйте мое государство!

Илийка — была его очередь — испуганно обернулся, втянул голову в плечи и промолчал.

— Тогда я сам! — хрипло произнес Филипп, и его голос зазвучал на всю улицу. — В бой идет, в бой идет, в бой идет Советский Союз!

Жандармы замерли на месте, переглянулись и зашагали к нам. Илийка хотел было убежать, но Филипп остановил его:

— Стой! Продолжаем!

Мы подошли к квадрату.

Я видел побледневшее лицо Филиппа. Было так тихо, что четко слышались тяжелые шаги жандармов. Сердце глухо стучало.

— В бой идет, в бой идет... — Филипп задохнулся и с усилием проглотил слюну. Голос его прерывался. Он схватился рукой за горло и крикнул: — В бой идет, в бой идет, в бой идет Советский Союз!

Мы бросились бежать. Мне казалось, что мы ползем как черепахи. Через плечо я видел, что за нами бегут жандармы. Передо мной мелькали голые пятки Илийки... Только на углу мы остановились...

Около нашего квадрата никого не было, кроме двух жандармов. Они осторожно ступали по плитам, наклонялись, чтобы прочитать название государства, и издали грозили нам кулаками. Потом стали что-то стирать подошвами сапог.

Этот резкий скрежет сапог наполнил наши сердца тревогой. Спрятавшись за угол, мы смотрели, как они топчутся на тротуаре. Но вот они направились к нам. Мы тут же кинулись врассыпную.

С того вечера, едва начинало смеркаться, на нашей улице появлялись жандармы. Теперь мы не смели высунуть носа на улицу и никогда уже не собирались у дома Жени, никогда не играли в государства.

Сергей Викулов

(СССР)

Баллада о хлебе

Я

помню: мы вышли из боя
в разгар невеселой поры,
когда переспевшие, стоя,
ломались хлеба от жары.

Ни облака в небе, ни тучи...
Не чая попасть на гумно,
слезой из-под брови колючей
стекало на землю зерно.

Солома сгибала колени,
как странник, уставший в пути...
В Ивановке — местном селенье —
Иванов — шаром покати!

Авдотья кругом да Орины,
короче — солдатки одни.



**И видим: еще половины
хлебов не убрали они.**

**Уставшие — шли не с парада, —
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
хоть чуточку бабам помочь.**

**И тут же, по форме солдаты,
душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
составили в козла штыки.**

**И в рост — во весь рост! — не сражаться
пошли, — нетерпением горя,
пошли со снопами брататься,
в объятья их по три беря.**

**Мы вверх их вздымали, упрямы.
И запах соломы ржаной
вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.**

**И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
от такой вот благодати
мы даже могли уставать...**



Сейчас же все боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
суслонам чубы вороша.

Мы пели б — наверное, пели б, —
работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть неостывшего зноя
и вспомнить на миг в тишине
родимое поле ржаное
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист наседает,
забыть, что у края жнивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатки на нас.

Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.

Глядели, участью не рады,
глядели, на речи скупы...
И мы ощущали их взгляды,
таская в охалках снопы.

Ломили упрямо работу,
носились, не чувствуя ног,
седьмым умывались потом,
быть может, в остатний разок.

И слепли от этого пота...
И очень боялись — вот-вот
раздастся суровое:
«Рота-а!» —
и все, словно сон, оборвет...

Анна Зегерс

(ГДР)

Человек становится нацистом

Ж

ил-был немец по имени Фриц Мюллер. В марте 1942 года он предстал перед военным трибуналом Красной Армии по обвинению в расстрелах, повешениях, жестоких расправах над женщинами и детьми, особенно в деревнях Котельниково и Лядовка, в убийстве колхозницы Ивановой и двух ее сыновей, причем последние были застрелены на глазах у матери. На допросе пленные солдаты показали, что действовали в соответствии с его приказами; обычно эти приказы предварялись речью, в которой им внушали, что жалость к врагу есть предательство германского народа.

В октябре 1917 года унтер-офицер Фридрих Мюллер, в прошлом слесарь, а ныне окопник с высоты 114 в Аргоннском лесу — правда, высоту давно снесло орудийным огнем, — узнал, что в Дюссельдорфе на Уфергассе через девять месяцев после того, как он побывал дома в отпуске, родился его четвертый сын, Фриц.

Фрау Мюллер воспитывала ребенка так же, как большинство обитательниц Уфергассе. Днем она уходила на работу, оставив младшенького под присмотром соседки, а вечерами до поздней ночи готовила и обшивала семью.

В ноябре 1918 года солдаты хлынули с фронта по домам, и поток этот вынес унтер-офицера Мюллера к родному дому. В слесарной мастерской, где он проработал десять довоенных лет, места не нашлось.

Мирная жизнь старшего Мюллера началась с торчання дома, на кухне, и хождения на биржу труда. Сперва он от души радовался, что война кончилась. Но со временем чаще и чаще вспоминал фронт и все уши домашним прожужжал своими рассказями. Воспоминания возвращали веру в себя: ведь долгие годы он был не то что нынче — безработный слесарь, он был человеком, в котором нуждалось общество.

Не меньше соседей бранил он государство, не обеспечивающее своих граждан куском хлеба. Но ходить на демонстрации отказался наотрез. Хватит, мол, намаршировался. А в глубине души мечтал когда-нибудь вырваться из этой среды. Бывшие фронтовики открыли клуб ветеранов, и Фридрих Мюллер стал каждое воскресенье появ-

латься там при всех регалиях. Рабочие с Уфергассе посмеивались над «жестяными побрякушками», а для него ордена воплощали четыре года страданий, отвагу и стойкость.

Шло время, много крови было пролито и еще лилось в молодом государстве — в дни Капповского путча ¹, в Руре, в Средней Германии, — только ему-то что: как был, так и остался безработным; и вот на пасху 1923 года Фридрих Мюллер отправился записывать своего младшего сына Фрица в школу — народную школу третьей ступени имени Шиллера.

Тогдашняя школьная система предоставляла способным ученикам возможность продолжить образование. Правда, бывший слесарь Мюллер говорил, что для их брата рабочего эта блажь ни к чему, но, когда он шагал по школьному двору, сжимая в жилистой ладони ручонку сына, душевная горечь мало-помалу сменялась горячей надеждой, а вместе с ними под сквозистой зеленью пасхальных платанов по всем школьным дворам Германии, держа за руку сыновей, шагали десятки тысяч других отцов — с надеждой в очерстевших сердцах, надеждой на будущее не ради себя, но ради сыновей.

Часть школьных учителей была еще из довоенного контингента. И учили они тоже по-старому. Какой маленькому Фрицу прок от того, что «труд почетен» и что «с ремеслом не пропадешь», если его собственный отец, слесарь, сидит без работы, а старшие братья даже учениками не могут устроиться?

Молодые педагоги тоже боялись увольнения и безработицы. Они шли в класс, вооружившись новыми методами и теориями, в которых, впрочем, и сами были не сильны. Но им не терпелось опробовать новшества. И многие молодые учителя гораздо больше дорожили своими методами и теориями, чем учениками, гораздо больше, чем маленьким Фрицем Мюллером.

Как выяснилось, ученик Мюллер был отнюдь не из числа особо одаренных, которым государство — вероятно — предоставит возможность учиться дальше. Отец, хоть и называл учение блажью, не мог скрыть досады. Благодаря невысказанным ухищрениям матери сын всегда выглядел прилично: чистенький, опрятный, коротко стриженный мальчик из приличной семьи. Как все мальчики, он любил гимнастику, плавание и вообще все упражнения, наполнявшие его ощущением силы — физической силы, — решительности и отваги.

К этому периоду относится небольшой инцидент на школьном дворе. Фриц ударил ногой в живот слабенького мальчишку за то, что он своей неповоротливостью испортил игру. Мальчишка побелел и упал. Разъяренный ученик Мюллер пнул его еще дважды. Все это

¹ Попытка установления военной диктатуры, предпринятая в 1920 г. монополистической буржуазией и потерпевшая неудачу благодаря организованным выступлениям рабочего класса.

произошло на глазах у трех других школьников: один из них помог избитому встать на ноги, второй оттащил Фрица Мюллера, третий сказал:

— Так нельзя, лежачего не бьют.

В конце концов об этой истории прослышала мать. Она, конечно, выбрала Фрица, но не слишком сурово, не так, как бранила старших сыновей, — годы уже не те, устала.

В класс пришел новый учитель; он любил детей, старался вместе со счетом, письмом, чтением привить ученикам лучшие идеи эпохи, говорил о мире между народами, о равенстве людей, о свободе. Но чистенький стриженный мальчик был не из тех, кто способен увлечься абстрактной идеей. В любом рассказе его интересовала не идея, а события, захватывающие и опасные. Кроме того, Фрица злило, что в любимчиках у учителя ходят ученик Эрнст Буш, отца которого папаша Мюллер называл подстрекателем, и малыш Вайль, его отца папаша Мюллер называл еврейским портняжкой, — а ведь эти ребята и в эстафете были последними, и плавали куда хуже его. «Мир между народами» — эти слова ничего Фрицу не говорили, потому что сам он мечтал о военных приключениях вроде тех, о которых слышал от отца; и свобода была для него пустым звуком, потому что ему нравилось командовать ребятами послабее и подчиняться сильным, ну а что такое равенство, если ему очень хотелось приодеться! Новый учитель отметил про себя, что Фриц Мюллер туповат и равнодушен.

На следующий год класс передали другому учителю, тоже из молодых. «Класс распустился, — объявил он, — прежде чем зубрить стихи, надо приучить детей к порядку». Фрицу Мюллеру порядок был больше по душе, чем поэзия. И вообще новый учитель ему понравился. Учитель выяснил, что ученик Мюллер бойко плавает и лучший в эстафете. Идеи этого учителя Фриц усвоил — они пробуждали в мальчике хорошо знакомые чувства. Он спал в одной постели с братом — вот и считал, будто понимает, почему немецкому народу необходимо жизненное пространство. Терпеть не мог еврей-портного и потому считал, будто прекрасно понимает, отчего именно евреи виноваты, что он никогда не ест досыта. Порой учитель хвалил Фрица за такие вещи, ради которых он палец о палец не ударил: за то, что отец был на фронте, за то, что Фриц белокур и голубоглаз.

Молодой педагог ежемесячно отсылал начальству докладные записки; кое-кто воспринимал их с усмешкой, а кое-кто недоуменно пожимал плечами. Учитель писал, например: «За три месяца я воспитал в классе вожака. Еще за два месяца добился, чтобы класс добровольно признал его». Парень, которого учитель именвал вожаком, давно нравился и Фрицу Мюллеру, к тому же во всех забавах, играх и начинаниях вожака сам Фриц был далеко не последним, и это ему тоже нравилось. Учитель считал ученика Мюллера

смышленным: сын фронтовика, чистокровный ариец, правда, без ярко выраженных задатков руководителя, зато готов не раздумывая последовать за признанным вожаком. На пасху, когда государство уволило многих учителей, потеряли работу и эти двое: один потому, что он красный, второй потому, что нацист. У Фрица опять появился новый учитель, из стариков. И пастор на уроках катехизиса, и классный наставник в напутственной речи стремились внушить Мюллеру-младшему, что он вступает в жизнь.

Жизнь, в которую он вступил, была нескончаемой очередью на бирже труда, бесцельным шатанием по улицам. В то время в столице Германии каждый четвертый сидел без работы. Хозяину мастерской, где раньше работал отец, тоже пришлось отправиться на биржу. После смерти Фридриха Мюллера — он скончался от испанки, которая, как чума, косила изголодавшихся людей, — четверо сыновей вынуждены были отдавать матери все свое пособие до последнего пфеннига.

Из школы Фриц не вынес идеи, которая помогла бы ему осмыслить нынешнюю жизнь. Ведь она была начисто лишена смысла — бесполое снование от дома до биржи и обратно. По воскресеньям Фриц несколько раз ездил за город со старшим братом и его друзьями. Но танцы, гитара, песни, гулянье казались ему пошлыми и нелепыми на фоне унылого существования, он — как прежде отец — считал, что жизнь беспросветна, хотя и пожить-то еще не успел. Третий брат приглашал его в свою молодежную ячейку. Там говорили, что скоро, очень скоро произойдет революция и надо ежечасно к ней готовиться. Но единственным человеком, который произвел на Фрица впечатление, был бойкий педант учитель, и Фриц отлично помнил его рассуждения о том, что революция-де не принесет народу ничего, кроме уравниловки, — всех уравниют: хорошие и плохие расы, сильных и слабых. А Фриц мечтал о жизни, вовсе не похожей на серое прозябание безработного, — о наградах, отличиях.

Как-то раз на бирже один парень сказал ему:

— С твоей внешностью и с твоим ростом — небось метр восемьдесят пять, не меньше? — и без девушки!

— Разве в таких лохмотьях можно показаться с девушкой? — возразил Фриц Мюллер.

— Не республика, а навозная куча, — заметил парень. — Ничего, скоро тут все прочистят. А твоей беде, между прочим, можно помочь хоть сейчас. Зайди к нам, когда будет время.

«К нам» — Фриц Мюллер на той же неделе выяснил, где это. В старой развалюхе на другом конце города разместились казарма СА. Парни в шикарных сапогах, в коричневых рубашках с иголочки, и выпить есть, причем даром. Тут ты не какой-нибудь оборванец, ты мужчина — одет, обут, вооружен. Вот как выглядело это «у нас». Однако про то, на чьи денежки приобреталась эта роскошь, все по-

малкивали. Фриц Мюллер колебался, не зная, как в семье отнесутся к его новым друзьям. У себя в переулке он слышал, что эти парни, мол, враги народа. Но в том же переулке, да и дома, от братьев, Фриц наслушался столько противоречивого насчет народа и его врагов, что перестал придавать этому значение. И штурмовики успокаивали: в свои-де кварталы носу не кажем.

Он побывал там еще не раз, сменил застиранные лохмотья на новую коричневую рубашку. Узнал, что причина его страданий — Версальский договор, сфабрикованный евреями и масонами, чтобы закабалить его, Фрица. Еще он узнал, что перестрелять тех, кто подписывал этот договор, самое что ни на есть благое дело. И еще: большевизм отнимает у людей душу и уже украл ее у русских.

Однажды летней ночью они на пятнадцати грузовиках промчались через всю страну, чтобы в отдаленном городе с почестями встретить человека, которого называли своим фюрером, тогда Фриц впервые в жизни праздновал по-настоящему — с застольем, с пивом, с факелами, с фанфарами. На обратном пути они, горланя, несли по дорогам, будто по вражеской территории.

Скоро дома узнали, где он пропадает. Мать запричитала; старший и третий брат, забыв раздоры, отвернулись от него. А второй брат попросился с Фрицем к штурмовикам.

К казарме СА примыкала улочка Лангегассе. Ее жители — рабочие с соседнего цементного завода — решили: раз уж полиция бессильна, возьмем и сами перекроем штурмовикам проезд. Группенфюрер Фриц Мюллер получил приказ пробиться на грузовиках сквозь пикеты. И вот с криком «хайль» и «бей жидов» они выехали в ночь. Тогда-то Фриц впервые стрелял в людей. Яростно палил куда попало. Быть может, он палил так яростно потому, что оскорбительные слова, брошенные в лицо: «Душу за рубаху продал!» — все-таки еще задевали его. Как выяснилось на суде, одна из пуль влетела в окно и ранила женщину. Пока Фриц не видел, в кого стреляет. Но он уже ощутил страшную силу оружия — власть над жизнью и смертью, — и это пришлось ему по вкусу. А переулок — что ж, вражеская территория, населенная внутренним врагом. Суд не сумел установить, кто стрелял, поэтому Фрица и всех остальных оправдали. Поскольку Фриц был парень бойкий, скорый в решениях и в повиновении, да к тому же и ростом хоть куда, его тайное желание исполнилось: он попал в СС. Там его окружали сыновья иных отцов, не чета его собственному. Такое равенство было ему по душе. Стрелять в переулках по рабочим, гоняться за евреями, вот такая свобода — это да.

Ему приказали сорвать митинг красных. Один юноша из бывших одноклассников узнал Мюллера и выругал его в лицо. Вот тут-то Фриц и схватился за револьвер. А когда юноша — не просто неизвестный в ночном мраке — в самом деле упал и в самом деле погиб

от его руки и у него на глазах, сердце у Фрица дрогнуло, точно связанное незримой нитью с сердцем убитого. Раскаяния он не чувствовал, но, случись поблизости человек волевой, решительный, тревожащийся за его судьбу, он смог бы, наверное, вырвать у Фрица раскаяние. Но кто станет тревожиться о Фрице Мюллере? Мать? Она слишком слаба. Братья? Они давно отвернулись от Фрица. Бывшие соседи и знакомые? Между ними и Фрицем давно пролегла непреодолимая пропасть вражды, недоверия, взаимных поношений и оскорблений. Новые дружки? Эти знай нахваливали Фрица да грубовато успокаивали. Ведь красный — это враг, а враг — он и есть враг. Дело осложнилось судебным процессом, и Фрица спешно вывезли в роскошный особняк на Рейне, под крылышко богатого эсэсовского папеньки, из тех, что трясли мощной, и спрятали там до окончания судебного разбирательства. Правда, он чувствовал себя в респектабельном доме не слишком уютно — раньше-то в таких не бывал, — однако хозяин относился к нему чуть ли не с почтением: как же, представитель «народа». Один из тех юных арийцев, которые благодаря напористости и смекалке умеют вырваться из бедности и невежества.

Когда Гитлер пришел к власти, Фриц участвовал в факельном шествии по родному городу. Братья молчали. А мать втихомолку решила, что сын, похоже, поставил на верную карту — небось теперь приятели по СС подыщут ему приличную работенку. Но работы у Фрица и без того хватало, только другой. Он устраивал облавы, выселял евреев, преследовал рабочих. В концлагерях, куда он препровождал арестованных, над воротами было написано: «Заключенный — враг нации». Жалость к заключенному есть предательство своей нации». Теперь он уже считался «старым воякой», его ставили в пример молодежи.

Призывная комиссия направила Фрица в отборный полк СС. Служба, конечно, нелегкая. Но он любил, когда его сильное тело отвечало на чужие приказы.

К демобилизации это молодое, пышущее здоровьем тело с неповоротливыми мозгами и сумбуром чувств отлично понаторело в технике утверждения власти. Вскоре представился случай блеснуть своей подготовкой на деле.

В его родном городе обнаружили квартиру, где печатались антивоенные листовки, и по приказу властей улица была оцеплена. Когда к Фрицу Мюллеру приволокли окровавленного человека, по-видимому печатника, он распорядился тут же на месте прикончить его; но на этот раз душа у Фрица не дрогнула, чувство, которое прежде нет-нет да и отравляло ему настроение, исчезло без следа: Фриц Мюллер разучился отличать доброе от злого, а ведь понимание этого и сделало первого из людей человеком. Да, Фриц охотился за бывшими товарищами, точно овчарка, натасканная на волков.



Он очень огорчился, что часть, к которой он был приписан как резервист, не участвовала ни в аншлюсе Австрии, ни в оккупации Чехословакии. Если раньше перед фюрером гнулись в дугу крупные тузы собственной страны, то теперь Фриц наблюдал, как то же самое делают заправила других стран. А для него самого сила и правота давно уже стали равнозначны.

Война добралась и до Фрица, пришло и для него начало конца. Но Фриц слышал лишь барабанную дробь да писк флейты, крики «хайль», не догадываясь, что летние сумерки, опустившиеся над маленькой станцией при отправке эшелона, были и для него приближением сумерек, сумерек вечной ночи. Только мать, будто предчувствуя что-то, плакала, плакала о нем, как и о других своих сыновьях. Вторжение в Польшу. Это не то что занимать городишки, проголосовавшие за красных. Теперь Фриц помогал топтать не отдельных людей, а целый народ. Какое ему дело до старика крестьянина, запоротого солдатами за плевков в лицо обидчику? Оружие слабых смехотворно, никуда не годится: плевков, слово, взгляд. Он презирал всех этих поляков и французов, потому что они сопротивлялись и все же дали себя сломить, как презирал и тех своих соотечественников, которые тоже сопротивлялись и тоже дали себя сломить. Мать радовалась, узнав, что еще в начале кампании его наградили Железным крестом и произвели в фельдфебели. Почти год он пробыл в изголодавшейся стране — победителем. Потом грянула настоящая война с заклятым врагом, с народом, у которого большевизм украл душу. Нет души у красноармейца — ведь он погибал, но не сдавался; нет души у крестьянки — ведь она сжигала собственную избу, но не пускала в дом врага. Доблесть — удел достойных, удел арийцев; пусть враг ожесточенно сопротивляется — души у него все равно нет, и нужно гнать его, как дикого зверя.

Фельдфебель Фриц Мюллер ненавидел русский народ всем своим существом, а не потому, что так того требовал приказ фюрера. Ибо на этот народ возлагали надежды его соотечественники, те самые, что бросали ему в лицо: «Проданся за рубаху!»

Когда они вошли в деревню Мамонтовка, Фриц заметил у околицы два трупа — такого ему еще не приходилось видеть ни на этой войне, ни вообще в жизни: они не лежали, они висели. Сменившись с караула, фельдфебель Мюллер узнал, что к подобным мерам капитан прибегнул с согласия начальства, дабы раз навсегда сломить строптивость населения. При виде повешенных Мюллеру стало не по себе, но тем не менее он взял этот урок на заметку.

У деревни Котельниково часть натолкнулась на ожесточенное сопротивление. Прикрывая отход своих за реку, у деревни окопался взвод красноармейцев, он сдерживал вражеское наступление, отчаянно сражался за каждый дом, за каждую минуту отсрочки. Плечом к плечу с солдатами дрались немногие уцелевшие жители — стари-

ки, женщины, дети. И фельдфебелю Фрицу Мюллеру пришлось по вкусу такое сопротивление до последнего вздоха. Лейтенант погиб, Фриц принял командование. Деревня была взята, хотя и после отхода красноармейцев это оказалось нелегко, потому что жители предпочитали сжечь все дотла, лишь бы не впустить этаких гостей; вступив в деревню, фельдфебель Фриц Мюллер приказал повесить одного из старейших колхозников, о котором донесли, что он член сельсовета, повесить на дорожном указателе, чтобы правая рука повешенного указывала на табличку «К сельсовету».

Деревня настороженно притихла, а Фриц Мюллер оставил повешенного на столбе до тех пор, пока труп не начал разлагаться. Фрица Мюллера произвели в лейтенанты. Но, отдавая тот приказ, он опять испытал что-то вроде неприятного удивления, как при виде первой виселицы, и в глазах у него появилось странное выражение: он будто подозрительно следил за солдатами, которых сам же назначил привести приказ в исполнение. Солдаты повиновались, ведь они прошли ту же школу и ничуть не меньше лейтенанта боялись смерти в этой проклятой деревне. И они тоже привыкли безоговорочно подчиняться приказу. А у Фрица потом дрожали руки, как будто он сам затягивал петлю.

Наступила зима и отбросила их на Украину; мороз, снег и партизанские пули жгли огнем. Фриц со своей частью был отправлен на отдых. В холоде и мраке полуразрушенной деревни, где только косые взгляды уцелевших женщин и детей горели злым огнем, ему было не по себе. Как в дни юности, он размышлял о том, что быть может, и ему суждено бесславно сгинуть во тьме, среди сотен других. После партизанского налета на транспорт Фриц приказал заporоть до смерти двух девушек, оповестивших партизан световыми сигналами. Руки его больше не дрожали, за один косой взгляд он карал, за перешептывания вешал. Он был хуже зверя! Зверь неразумен, а его поступками руководила идея: жалость к врагу есть предательство.

Весной во время наступательной операции он поставил к стенке двух своих солдат, подслушав их разговор. Начальство к нему благоволило. Рота его считалась образцовой, если храбрость заключается в том, чтобы бояться командира больше, чем врага. Фриц Мюллер воевал так, словно любой ответный удар мог отбросить его назад, к прежней жизни, в которой он задыхался до той самой минуты, когда парень возле биржи сказал ему: «Я достану тебе новую рубашку».

Его подразделение заняло деревню Лядовка. К Фрицу Мюллеру привели колхозницу, у которой старший сын был в партизанах. Угрозами он попытался заставить женщину выдать партизанский тайник, но она молчала. Он велел привести ее младших сыновей, грозил разделиться с мальчиками прежде, чем они сбегут к брату. Женщина молчала. Тогда он застрелил сначала одного мальчика, а потом и вто-

рого, потому что она молчала, и, крикнув, что она волчица, а не мать, застрелил и ее. Солдаты неподвижно смотрели на лейтенанта, который так далеко завел их по приказу своего фюрера. А он, Мюллер, удерживал деревню еще два месяца. Потом русские стремительной атакой выбили оккупантов.

Выслушав приговор трибунала, лейтенант Кашемников сказал:

— Уму непостижимо, как только человеческая мать может родить такого!

Но она, его мать, жила в Дюссельдорфе на Уфергассе, ждала писем от сыновей, в том числе и от младшего, которого родила в 1917 году, через девять месяцев после того, как слесарь Фридрих Мюллер побывал на родине в отпуске.



Иоганнес Р. Бехер

(Г Д Р)

Где была Германия ?..

К

ак много их, кто имя «немец» носит
И по-немецки говорит... Но спросят
Когда-нибудь: — Скажите, где была
Германия в ту черную годину!
Пред кем она позорно гнула спину!
Свою судьбу в чьи руки отдала!

Быть может, там, во мгле, она лежала,
Где банда немцев немцев угнетала,
Где немцы, немцам затыкая рот,
Владыками себя провозглашали,
Германию в бесславный бой погнали,
Губя свою страну и свой народ!

Назвать ли тех Германией мы вправе,
Кто потянулся к дьявольской отраве,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке невинным детям
И кровью залил мир! И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!

Но в камерах, в тюремных казематах,
Где трупы изувеченных, распятых
Безмолвно проклинали палачей,
Где к отомщению призывает жалость, —
Т а м новая Германия рождалась,
Т а м билось сердце родины моей!

Оно стучало там, за той стеною,
Где узник, сквозь молчанье ледяное,
Шагал на плаху, твердый, как скала.
В немом страданье матерей немецких,
В тоске по миру, в тихих песнях детских —
О, т а м моя Германия была!

**Ее мы часто видели воочью,
Она являлась днем, являлась ночью,
Украдкой пробираясь по стране.
Она в глубинах сердца вызревала,
Жалела нас и с нами горевала,
И нас будила в нашем долгом сне.**

**Пускай еще в плену, пускай в оковах,
Она рождалась в наших смутных зовах,
И знали мы, что день такой придет:
По воле пробужденного народа
Восторжествует правда и свобода
И родину получит мой народ!**

**Об этом наши предки к нам зывали,
Грядущее звало из дальней дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»
И, неподвластны ненавистной силе,
Германию в себе мы сохранили
И ею были, ею стали — МЫ!**



Ян Штявницкий

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Партбилет

— С

корей, скорей! — настойчиво подгонял Зимиак. Люди отделялись от деревьев и делали несколько шагов по крутому склону. Только Мишо Грончик лежал у пулемета и посылал пули в узкую долину. Временами он оглядывался, чтобы посмотреть, все ли ушли, и, видя, что партизаны слишком медленно отступают, зло ругал Зимиака.

— Скорей, скорей! — повторял Зимиак. — Темнеет.

Солнце уже зашло, и сумрак быстро сменялся непроглядной темнотой. Только снег белел. От ночных морозов корочка на сугробах превратилась в ледяной панцирь. Ноги скользили, и подниматься было очень трудно.

— Ну как ты? — спросил старик Снопко тоненькую девушку.

— Ничего, — со вздохом ответила Вероника, поправляя на плече мешок, чтобы он не мешал ей карабкаться.

Ноги у нее подламывались, спина была влажной от пота, но она крепилась. Надо выдержать. Ведь мужчины тащат ружья, автоматы, патроны, а она — только легкий мешок да пистолет.

— Пошли! — послышался настойчивый голос Зимиака, и в этот момент кто-то ойкнул.

— Ранило? — вскрикнула Вероника.

— Нет, только одежду задело.

Стрельба почти прекратилась, раздавались лишь отдельные выстрелы.

Вероника хватала воздух открытым ртом. Там, где подъем был особенно крутым, она помогала себе руками. Болели не только ноги, но и грудь и живот.

Уже больше недели охотится за партизанами рота альпийских стрелков. И они уходят от преследования, то и дело меняя направление, чтобы запутать немцев. Идут и идут, днем и ночью, едят на ходу, спят стоя...

Вероника поскользнулась и ударилась лицом о шершавую корку снега. Щиплющая боль прошла по лицу. Вероника почувствовала кровь, но продолжала без жалоб карабкаться вверх.

Вдруг кто-то начал громко кашлять. Это Снопко. С осени мучает старика кашель. Как бы не услышали немцы!

Неожиданно подъем кончился. Впереди была ровная площадка, и, хотя она была покрыта деревьями, по ней гулял ледяной ветер.

— Матей и Вило, встаньте здесь на посту! — услышала Вероника голос Зимиака.

— Слушаюсь, командир, — ответил Вило по-мальчишески звонко.

— Петруляк и Зиго, пойдете на другую сторону!

— Хорошо...

— Вот видишь, девочка, мы и добрались, — приблизился к Веронике Снопко. — Немножко передохнем. Немцы едва ли сунутся ночью в лес.

— Коммунисты, ко мне! — позвал Зимиак.

— Иду, — шепотом ответил Снопко.

— Деда! — схватила его за рукав Вероника.

— Боишься? — Старик взял в свои грубые ладони заочковенные от холода руки девушки.

— Нет... нет, — быстро сказала она. — У вас будет собрание?

— Собрание? — удивился Снопко. — Сейчас на это нет времени. Просто Зимиак, наверное, хочет посоветоваться, как быть дальше. Ты же знаешь, позавчера убили комиссара, а вчера Шумека, заместителя командира.

— Деда, когда закончите, позовите меня туда, — зашептала Вероника.

— Ты хочешь что-нибудь сказать?

— Да.

— А нельзя отложить? — спросил Снопко, продолжая согревать ее пальцы в своих ладонях.

Она могла бы быть его невесткой. Но Снопко пережил обоих своих близнецов. Петра убило в каменоломне несколько лет назад — пьяный подрывник поджег шнур раньше времени. Ему это сошло с рук, ведь он был родственником хозяина. Второй сын, Павел, ушел вместе со Снопко в горы и погиб. Его застрелил охранник, когда он закладывал взрывчатку под мост. Павел упал в реку, и вода унесла его. Только через три недели Снопко узнал, что труп Павла вытащили из реки и ночью, чтобы не видели фашисты, похоронили.

— Мне нужно обязательно сегодня, — твердо сказала Вероника.

— Я скажу...

— Деда, мне недолго...

— Подожди меня здесь.

— Ладно, — кивнула Вероника и оперлась о дерево.

Посвистывал ветер. Стволы деревьев глухо потрескивали. Иногда на замерзший снег падала сухая шишка, как осенью зрелое яблоко в траву.

Партизаны отдыхали, собирались с силами. Еще неделю назад они были совсем недалеко от линии фронта. Зимиак рассчитывал,

что за три ночи они дойдут до того места, где можно попытаться перейти фронт. Но связные принесли другой приказ: разбить отряд на две группы. Одной — перейти линию фронта, чтобы создать у фашистов впечатление, что в тылу у них партизан больше нет. Другой — двинуться в сторону от фронта и продолжать диверсии, прежде всего на железных дорогах, чтобы сорвать продвижение немецких эшелонов.

Тогда тоже была ночь, горел маленький костер. Каждый из партизан добровольно должен был решить, пойдет он через линию фронта или останется в тылу врага.

«Кто хочет остаться, — медленно произнес Зимиак, — пусть подымет руку».

«Я», — первый ответил Снопко.

«И я... — присоединился к нему Мишо Грончик. — Здесь мы нужнее, чем там».

«Останусь и я, — хриплым голосом произнес Виталий. — Родных и друзей обниму после победы».

Все хотели остаться. Тогда Зимиак решил, что к своим пойдут больные, раненые и те, кто совсем обессилел.

«Ты, Вероника, пойдешь с ними», — сказал он.

«Нет», — посмотрела она на него в упор.

«Почему? — спросил Виталий. — Почему не хочешь перейти к нашим? Научат тебя плясать казачок. У нас там танцоров хоть отбавляй».

«А если кого-нибудь ранят, что вы будете делать? Об этом вы не подумали?»

«Правильно говорит», — проговорил Снопко.

Так она и осталась в отряде.

Первый мост удалось взорвать довольно-таки легко, да и железную дорогу перед туннелем, пожалуй, тоже. Но потом фашисты спохватились и бросились в погоню за партизанами.

Вероника долго тащила раненого Виталия. Ей помогли Матей и Вило. Но потом его все-таки пришлось оставить в лесной сторожке. Зимиак повел отряд через перевал. Но немцы поняли, куда идут партизаны, и уже поджидали их там. Когда Лойзо показался на опушке леса, они открыли огонь. Вероника бежала вместе с остальными все утро, пока Зимиак не запутал немцев.

Конечно, это не было победой. Они просто выскочили из западни. Многие были ранены. Вероника трудилась даже тогда, когда другие отдыхали. Она перевязывала старые и новые раны и с тоской посматривала на свой худеющий мешок, где оставалось лишь несколько бинтов да полбутылки спирта, которым она обрабатывала раны. Что же будет дальше? Если бы им удалось захватить хотя бы одну полевую аптечку, можно было бы выдержать еще несколько дней.

Временами Веронику охватывал такой страх, что она начинала дрожать. Да, она боится смерти — разве в этом нельзя признаться?



Но больше всего она боится попасть к фашистам живой. Поэтому она попросила Зимиака, чтобы он дал ей пистолет. Зимиак дал, а старик Снопко научил ее стрелять. Если не будет другого выхода, она приставит пистолет к виску и спустит курок.

...Вероятно, Вероника задремала. Все последние дни она недосыпала. Хорошо еще, что не надо больше карабкаться вверх и можно дать покой ногам, которые так распухли, что, кажется, прямо срислись с ботинками.

— Так что я им скажу, когда меня позовут... — проговорила она, отгоняя страшную усталость.

— Что тебе, Вероника? — услышался от соседнего дерева голос Имро.

— Ничего, я так...

— Мне показалось, что ты что-то сказала.

— Наверное, во сне.

— Да, теперь не поймешь, во сне или наяву.

Вероника хотела ответить Имро, но усталость взяла свое, и она опять погрузилась в дремоту.

Вероника потеряла отца и мать, которых убили словацкие фашисты: кто-то донес на отца, батрачившего на панской мельнице, что по ночам он носит в лес мешки пшеницы. Веронику не схватили только потому, что ее не было дома. Узнав о судьбе родителей, она от ужаса даже плакать не могла. Это было давно. С той поры ее душа, кажется, окаменела.

— Где ты? — услышала она голос Снопко.

— Здесь, деда...

— Иди, тебя ждут, — сказал он и повел ее туда, где собрались коммунисты, в небольшой овражек, поросший молодыми елями. — Мы знаем, что у тебя нет бинтов, но в деревню или в город одну не пустим. Скоро двинемся к туннелю. Надо вывести его из строя хотя бы на три дня. Мелько говорит, что можно проникнуть в туннель через старую шахту.

Да, этот туннель!.. С обеих сторон он усиленно охраняется. Вот бы удалось пробраться в него и заложить взрывчатку, то-то было бы фашистам работы! А сами могли бы податься на север и там либо подождать соединения с наступающей армией, либо, если будут силы, попытаться перейти линию фронта.

Вероника представляла себе первый день свободы: они бегут навстречу восходящему солнцу, а где-то совсем близко — домики, из труб которых струится мирный дымок.

Почему ей мечталось увидеть дом с дымящейся трубой, с деревьями, спокойно спящими в саду, с забором, занесенным снегом, она, наверное, не могла бы объяснить. Но именно таким ей представлялся первый день свободы.

— Снопко сказал, что ты хотела с нами поговорить, — неторопливо произнес Андраш.

Все стояли тесным кружком вокруг него: Зимиак в длинной шинели, Снопко, спрятавший лицо в воротник своего полушубка, и добродушный Дмитрий, в глазах которого светилась мечта о просторах Украины, где он до войны водил свой комбайн.

— Хотела, — ответила Вероника.

— О бинтах? — спросил Зимиак. — Теперь тебе придется обходиться без них. В лесу они не растут, да и...

— Дай ей сказать, командир, — вмешался Дмитрий.

Раздался выстрел. Как-то болезненно хрустнула надломившаяся ветка. Все мгновенно превратилось в слух, руки потянулись к оружию. «Сколько еще пройдет времени, — мелькнуло в голове у Вероники, — пока руки их отвыкнут от этого движения?»

— Говори, Вероника, — мягко сказал Зимиак. В его голосе не было того металла, который звучал в нем, когда Зимиак отдавал приказы.

— Я пришла попросить вас... сказать вам... — слова как будто застревали, и ей пришлось набрать побольше морозного воздуха, чтобы закончить фразу. — Я хочу быть с вами... коммунистами.

— Ты хочешь вступить в партию? — спросил Андраш.

— Да...

Сердце стучало так, что Вероника чувствовала его биение где-то в горле. Никогда еще Вероника так не волновалась. Вот она стоит перед мужчинами, которым, может быть, кажется слабой, неопытной, робкой... Верят ли они в нее? С тех пор как она с партизанами, она знает, что означает слово «коммунист». Коммунист продолжает идти, когда другие уже не могут. Он должен стоять стеной, когда другие падают. Должен помогать слабым.

— Почему ты решила вступить в партию именно сейчас? — спросил Дмитрий.

— Правда, почему? — присоединился к нему Зимиак. — Еще немного, и мы перейдем через линию фронта к своим, вот тогда и можно будет подумать.

— Не отговаривай, командир, — вмешался Снопко.

— Я... — заторопилась с ответом Вероника. — Я знаю, что после туннеля нас останется еще меньше. И если меня убьют...

— Не надо об этом, ты еще слишком молода, — перебил ее Андраш.

— Если я погибну, — продолжала Вероника, и голос ее окреп, — то не хочу умереть, как мама, которая всю жизнь молилась на тех, кто потом убил ее...

— В тебе заговорила ненависть... — проговорил Снопко.

— Если мы перейдем фронт и я останусь жива, — при этих словах Веронике снова представился дом, высокая труба, из которой тонкой струйкой поднимался дымок, — может быть, когда-нибудь выйду замуж, у меня будут дети, свои заботы. Но я буду делать все,

чтобы не было войны и бедности. Я хочу, чтобы мои дети улыбались, а не протягивали голодные руки за куском хлеба, как мы когда-то.

— У кого есть вопросы к Веронике?

— Давайте голосовать.

— Я вот что хотел сказать, товарищи, — проговорил Андраш. — Мне еще не приходилось вот так принимать в партию, и может случиться, что...

— Ничего не может случиться, — прервал его Снопко. — Дело не в том, где принимать, важно — кого принимаешь.

— Правильно, — кивнул Дмитрий. — Когда кончится война, мы отпразднуем и это событие, а сейчас надо думать о предстоящей операции.

— Кто за то, чтобы принять Веронику в члены Коммунистической партии?

Все подняли руки.

— Девочка моя, — прошептал Снопко. — Девочка...

— Товарищи, я знаю, что у вас нет для Вероники партбилета, — начал Дмитрий.

— Откуда его здесь взять! — буркнул Андраш.

— С партбилетом придется подождать, — сказал Зимиак.

— Нет, — покачал головой Дмитрий. — Дайте ей партбилет убитого комиссара. Пусть она его носит и бережет, а когда придет время, получит собственный.

Все молча кивнули. Андраш расстегнул пальто и достал маленькую книжечку. С минуту держал ее в руке, а потом бережно протянул Веронике. Закоченевшими от холода пальцами она взяла партбилет комиссара, положила его на ладонь, как птенца, которого собиралась согреть и уберечь.

— Спасибо вам, — прошептала она, поднесла партбилет к губам и поцеловала.

Потом завернула его в носовой платочек — единственную вещь, оставшуюся у нее от родителей, — и спрятала на груди.

Партизаны один за другим пожали ей руку. А через четверть часа они уже двигались к туннелю. И в первых рядах шла Вероника.

Януш Пшимановский

(польша)

Полунгра!

Р

аскаленное солнце
Набрякшие наши бушлаты
Так уютжило —
Пар
Над суконной клубился спиной.
Здесь,
В Кубанской степи,
С Волги,
С Терека,
С Вислы солдаты
Повстречались с коричневой,
Шедшей от Рейна
Ордой.

Мы по толям ползли,
Задыхаясь
От хрипа и стопа.
Бил во тьму миномет,
Огрызаясь
На вспышки ракет.
И вонзались осколки
В широкую грудь
Небосклона,
И сочился на землю
Кровавого цвета
Рассвет.

Кони ржали от страха,
Впряженные
В нашу работу.
Сколько их положил здесь
Корежащий землю
Фугас!
Между прочим,

Тогда
Полосатую нашу пехоту
Та конина спасала
От смерти голодной
Не раз...

Ни пригорочка нет,
Чтобы голову
Спрятать от пули.
Хат саманных развалины,
Пепел кружится
Да прах.
По одной на троих
Парни молча сигарки свернули,
Да потуже.
Поскольку
За совесть стоять —
Не за страх.

Бесполезно по топям
Орудья тащить за собою,
Через плавни кубанские
Танк никакой
Не пройдет.
А приказ
Есть приказ:



**Черный Ерик
Любой ценою
У фашистов отбить.
Значит, снова:
«Полундра! Вперед!»**

**Я одиннадцать раз
С этим криком
Ходил в рукопашный.
Я работал штыком
И лопатой саперной кромсал
Тех,
Кто встал, чтобы смять
Этот ярый,
Безумно отважный
Полосатой пехоты
Внезапно взметнувшийся
Шквал.**

**В Черноерковской годы
Все раны
Давно затянули.
Все другое кругом —
И дорога, и сад, и канал.
И как будто не здесь
Рядом с нами**



От снайперской пули
Степа Волков,
Наш боцман,
Наш славный братишка
Упал.

Я к земле припаду,
Побратим его
С берега Вислы.
Я былинку сорву,
Поцелую у всех на виду.
Будет в горле комок,
Будут путаться
Чувства и мысли,
И особенных слов
Я, конечно, опять
Не найду.

Сколько сини вокруг,
Так сверкает
Земля позолотой.
Но привидится мне —
Только гарь,
Только пепел кругом.
И четвертой своей
Боевой
Истребительной ротой
Мы поднялись уже
И с «полундрой»
В атаку идем.

Мы в атаку идем.
Мы не ждем ни бессмертья,
Ни славы.
Мы поднялись за Ерик,
За Днепр
И за Вислу свою.
Как же радостно мне,
Что очкарик-поляк из Варшавы
В те суровые дни
Топал именно
В этом строю!

Веселин Андреев

(БОЛГАРИЯ)

Огна нощ, огин гень

Н

изкое, тяжелое небо, как огромный пресс, сжимало влажную тьму. Хотя Камен знал эти места с детства, он едва не наткнулся на шлагбаум у переезда. Тронул локтем товарища по патрулю, и они бесшумно вернулись к отряду.

Колонна двигалась за ними на небольшом расстоянии.

— Товарищ комиссар, пришли. Село за полотном.

Слышно было, как партизаны, подходя, наталкивались на тех, кто уже остановился, и приглушенно чертыхались.

Комиссар шепотом отдал бойцам последние приказания и положил Камену руку на плечо.

— Ты с Райчо и Пешо останешься здесь, в боевом охранении. Глядите в оба... Хотя что толку глядеть в этой темнотище? Держите ухо востро!

Это было так неожиданно, что Камен охнул. Лица его комиссар не видел, но уловил в голосе недоумение и обиду.

— Что? В штурмовую группу хочешь? Еще бы...

— Я ведь знаю село...

— Зато и село тебя знает. Чем позже там станет известно, кто ты теперь, тем лучше: мы всюду можем тебя послать — солдат, с увольнительной... А план села ты нам нарисовал — справимся!

Сказать комиссару правду?.. Нет, если так, наспех, чего доброго, не поймет. Больно он скор на выводы, комиссар... А вдруг что-нибудь случится? И Камен пробормотал:

— Товарищ комиссар... у нас староста... неплохой человек. Только вот упрямый...

— С чего ты про старосту вспомнил? Нет уж, если кто пошел в старосты, за такого нечего заступаться...

— Так-то оно так... но люди ведь разные...

— Ладно, ладно. Лишь бы держался по-человечески...

Тридцать партизан один за другим утонули в темноте, их легкие шаги затихли, а Камен все еще смотрел им вслед.

— Ну что, так и будем здесь торчать? Командуй, тебя командиром поставили.

Райчо партизанил уже давно, и ему стало обидно, что командовать им будет новичок.

«А ты завидуешь?» — хотел было огрызнуться Камен, но куда более важные мысли занимали его в эту минуту. Он приказал товарищам патрулировать вдоль полотна в обе стороны от переезда на сотню шагов, а сам пошел по дороге. Сейчас лучше всего побыть одному.

Шумливая тишина дышала невидимой, но напряженной жизнью. Воздух был насыщен терпким запахом влажной земли и прелых трав. Речушка, вздувшаяся от снеговых вод, звонко журчала, и ее болтовня доносилась как неясный человеческий говор. Что-то неуловимо весеннее оживляло ночь — еще не сама весна, а ее предчувствие.

Напряжение — Камен чутко вслушивался в каждый звук — не мешало его мыслям. «Надо было раньше сказать. Но я думал — в селе, при случае... А теперь на тебе».

Камен повернулся к переезду.

— Все спокойно! — услышал он голоса товарищей, и они снова разошлись.

«Спокойно... вам-то спокойно... А мне какво? Эх, был бы здесь Венко, не пришлось бы ничего объяснять...»

Венко, его товарищ, командир одного из партизанских батальонов, ушел накануне в сторону Искыра вместе с остальными партизанами из их села. Камен застал только тот батальон, который стоял лагерем на склоне Мургаша. Его приняли в отряд, поверив на слово, — он знал пароль и сказал, что это Венко передал ему указание уйти в горы. Но, очутившись один среди незнакомых людей, в чьих душах накопилось столько праведной ненависти к врагу, Камен побоялся признаться: он сын старосты...

Собачий лай вернул его к действительности. «Учуяли. Хоть бы удалось... А старик... Только б его не тронули! Случись с ним что, я себе не прощу... Но он и сам виноват. «Я всю жизнь был честным человеком, ты меня опозорил!» Это я его опозорил! И чем? Тем, что решил уйти в партизаны! А старостой быть — не позор? В конце концов, что посеешь...»

Но тревога Камена росла, он ускорял шаг и поворачивал у переезда, не дожидаясь товарищей.

Село было занято неожиданно легко. Полицейский в управе, услышав: «Жандармерия!», открыл партизанам дверь — сонный, не успев подпоясаться. Он ждал нагоняя за то, что не стоит на посту, но партизаны ехидно поблагодарили его, и от этой любезности у него глаза полезли на лоб. Лесного объездчика и полевого сторожа взяли в постели. Добровольные пособники фашистов предпочли не рисковать в темноте этой неверной ночи.

Штурмовая группа остановилась у здания общинной управы в полной боевой готовности.

Комиссар приказал нескольким бойцам набить вещевые мешки продуктами из кооперативной лавки, других разослал по двое с наказом раздобыть хлеба и созвать крестьян на собрание, а сам с двумя партизанами в солдатских гимнастерках отправился к дому старосты.

Домик был маленький, с деревянными ставнями на окнах и крепкой дубовой дверью. Партизаны постучали, прислушались, не раздается ли скрип кровати или шлепанье босых ног. Тишина. Снова постучали.

— Господин староста, капитан тебя требует. Пушай, мол, скажет, куда роту размещать. — Комиссар хотел сойти за простоватого жандарма.

Ни звука...

Прижавшись к стене, староста изо всех сил сдерживал дыхание. Тревожные мысли не дали ему этой ночью сомкнуть глаз, а с той минуты, как яростный собачий лай поднял его с постели, он ходил и курил, курил и думал. Услышав шаги, застыл у окна. В темноте сквозь дырку в ставне все равно ничего не было видно, но тут он лучше слышал.

Что это еще за жандармы посреди ночи? Ведь уже и дома партизанские сожгли, и людей повысылали, и отобрали у кого что было. А может, они уже знают о Камене?..

И снова стук в дверь:

— Эй, господин староста, просыпайся, ждет ить капитан. Злой — лучше не связываться...

Этот голос не прервал его мыслей, словно не к нему относился... Наверное, знают. Телеграмма из части, где служил сын, пришла сегодня, значит, и в полицию уже сообщили... «Нет, пусть приходят утром. На свету другое дело... А дом подожгут? Может, и бить будут. Особенно если те приехали, агенты... Глазом не моргнули — забили до смерти и Сандо, и Латина, и деда Станко. Нет, все-таки я староста... Ох этот Камен! Болгарию спасать вздумал! Я небось побольше добра людям сделал... А позор? Камен — дезертир! Ведь не из полиции — из армии сбежал».

Комиссар за дверь недоумевал: «Отчего он не открывает? Или пароль у них?» И решил действовать открыто — терять было нечего.

— Слушай, староста, мы не жандармы. Мы партизаны. Открой, а то хуже будет. Нам нужен ключ от секретного архива.

Староста едва не вскрикнул. Окрестные села полны жандармов — и вдруг партизаны!.. Нет, наверное, это те, в штатском. Испытывают его... Ну-ну, старый Рангел тоже не лыком шит...

— Товарищ комиссар, и что мы его уламываем? — слышался нетерпеливый мальчишеский голос. — Подпалим дом — как крыса выскочит.

— Мы что, по-твоему, жандармы? — строго возразил комиссар. — Не к лицу тебе эти разговорчики!

— А они нас жалеют?

— Не в жалости дело. И кто — они? Ты его знаешь? Камен сказал, что староста — хороший человек... Черт его знает, может, дома нет... Пошли!

Староста прислонился головой к стене, схватился за сердце. Сердца не было, его место заняла болезненная пустота. Когда шаги на улице затихли, он вытащил синий шершавый платок, долго им утирался.

Потом, пошатываясь, добрался до кувшина. Лицо было мокрое, а губы пересохшие, потрескавшиеся. Он пил жадно, словно давно не видел воды. Напившись, закурил, присел на кровать. Пряча цигарку в горсти, глубоко затягивался, но табак казался ему слабым.

«Камен сказал, что староста — хороший человек...» Радость пришла так внезапно, что Рангел не сразу с ней освоился. А как они с Каменом сцепились, когда тот уходил! «Ты мне больше не сын!» — «И ты мне не отец!» Камен был младшенький. Староста, суровый крестьянин, и себе не признавался, что любит его больше других детей, считал это несправедливым, но сердцу разве прикажешь?.. А вдруг Камен с ними? В управе?.. Рангел ощупью нашел башмаки, сунул в них ноги. Накинул полушубок, надел кепку. Что еще? А, хлеб. И немного брынзы, сала.

Приготовил все и... сел. Кто тебе сказал, что Камен с ними? Будь он в селе, сам пришел бы домой. Должен был прийти! И та самая гордость, которая мешала ему понять правду сына, снова заговорила в нем... «Почему Камен не пришел? Или хочет, чтобы я пошел, поклонился в ножки? Ну, нет!.. Или он не верит отцу?» «Ты староста, — все, бывало, толковал Камен, — староста, пойми. Кто поверит, что ты честный?» (И опять же из гордости он не признался сыну, что, когда в соседних селах начались грабежи и насилия, он хотел уйти с должности, но его не отпустили. Видно, среди тех, городских, «с образовательным цензом», которыми власти старались заменить ненадежных местных старост, не нашлось охотников забираться в эту дыру.) «Вот ведь эти люди поверили, ничего мне не сделали». Ему показалось странным, что он назвал их «эти люди», хотя он и раньше никогда не хулил партизан. Просто далеки они ему были, да и не понимал он, как это можно поднимать руку на государство. «Но парни, которые ушли в горы из их села, хорошие ребята — что правда, то правда. И эти — «мы ведь не жандармы»! Гордость у них есть. Что им стоило поджечь дом... Интересно бы на них взглянуть, поговорить с ними. Но разве я мог отдать ключи?..»

Три удара сельского колокола — и снова залились собаки. Уж не уходят ли? Он выкурил еще одну цигарку и взял узелок.

Небо очистилось, крупные звезды блестели, словно умытые,

и староста жался к домам, чтоб его не заметил недобрый глаз, прислушивался, потом снова шел дальше.

На площади было тревожно-тихо.

Он наступил на что-то мягкое, нагнулся. А, понятно, это они всюду делают — сожгли реквизиционные списки, налоговые книги...

В его комнате все было разбросано, и он испытал невольное раздражение. Беспорядка Рангел не любил. Он чиркнул спичкой. Сейф закрыт, но секретный архив они взяли. Деньги лежат на месте, а сверху записка: «Как мы поняли, эта сумма предназначена для расчета за продукты, реквизированные у крестьян. Немедленно выплатить им все. Политкомиссар Войнов». Смотри-ка, даже приказывают! И со списком — кому сколько получать — не дали маху, не сожгли.

Партизаны сделали свое дело и без него. «Сборщик налогов им помог, у него запасной ключ».

Староста прошел в комнату писаря, сторожей, с безотчетной надеждой найти ответ на вопрос: был ли здесь Камен?

На улице у него под ногой зашуршала какая-то бумажка. Он поднял ее, прикрыл полой полушубка. «Дорогие товарищи крестьяне, сегодня боевой праздник труда...» Спичка догорала, и он взглянул вниз, на подпись: «Штаб первого батальона бригады «Чавдар». Он сунул листовку в карман, огляделся. Вот оно что — Первое мая сегодня... Да, уже сегодня, ведь скоро рассвет... Взгляд его остановился на крыше общины: над трубой легкий ветерок колыхал два перекрещенных флага. Один трехцветный — ясно видна верхняя белая полоса, другой темный, верно, это их, красный. Мелькнула мысль: «Надо бы снять», но он не сдвинулся с места. Карабкаться в его годы... Да и не в годах дело. Значит, и национальный флаг они тоже вывесили.

А площадь была все так же пустынна, тревожно-тиха. Пусто, тревожно было и у него на душе. Вверху темнели горы, туда шел отряд, в котором был Камен. Далеко внизу мерцали огоньки Богрова — там был штаб тех, других, которые завтра спросят с него за все. А он был один среди этой необъятной ночи, один в примолкшем селе, один под высокими холодными звездами. Куда податься? В горы? Они, верно, не успели далеко уйти. Рангел ясно сознавал, что уйти с ними он не может. Но если б хоть повидать их!

В руках староста держал узелок — никому не нужный.

В ту ночь партизанам предстоял далекий путь, и, когда колонна вышла из села, комиссар устроил привал, чтобы люди подкрепились. Бойцы сразу возбужденно загудели.

Камен запихивал в рот большие куски — два дня в желудке посасывало, — но еда не была ему сладка: отцовского-то пая в этом хлебе не было!

Еще у переезда, только товарищи подошли, Мишко кольнул его:



— Хороший, говоришь, у вас староста, да? Это мы хорошие — не подождли его дом... Или дураки...

Значит, ничего плохого не случилось! Отец жив... Но радость длилась только миг. Ничего плохого? Заперся, как... А тем бы открыл!

Тайна стояла между ним и людьми, которые делились с ним куском хлеба, и потому в разговорах товарищей он слышал обвинение себе.

— Шопы¹ они и есть шопы! Прав был Захарий Стоянов² — пятьсот лет им еще нужно, чтобы проснуться! — философствовал Ицка, партизан со стажем.

— Чем это шопы перед тобой провинились? — подал голос кто-то из товарищей, верно, родом из ближних сел.

— Чем? Ты знаешь, как нас под Пирдопом встречали? Все село на площадь высыпало. Кричат «ура», цветы суют, обнимают. До того приятно — слеза прошибает... А здесь — собрания и того не ведешь...

После операции этой ночи новичкам действительно трудно было убеждать Ицку, да и неловко спорить с опытным бойцом, но возражения все же посылались:

— А кто дал тебе хлеб, который ты сейчас ешь?

— Слушай, Ицка, а позавчера под Мургашем? Человек двести вышло сразу, и все шопы...

— И как ты не понимаешь, друг: люди в себя прийти не могут. Высылают их, избивают, жгут дома. Некоторые не верили, что мы партизаны...

Но Ицку тоже не так легко сбить:

— Ну ладно, ладно. Все вы здесь шопы, вот друг друга и защищаете... А когда они поняли, кто мы, тогда почему не вышли?

— Сколько вышло, и то много. Ты, брат, винтовочку за спину — и айда в горы! А им завтра каратели покажут, где раки зимуют...

Комиссар увидел, что ему пора вмешаться.

— Тихо, вы не в лагере! И что ты болтаешь, Ицка? Подумай сам: только жандармы убрались из села — мы тут как тут. А Дочо Христов, министр, хвастался, что нас истребили. Завтра взбесится — вон в какую лужу сел! Почему нам это удалось? Помощникам нашим спасибо, сразу нам сообщили. Помощники — шопы... Ясно? Пусть ты партизан, и хороший партизан, а перед народом нос не задирай!

Ицка прикусил язык, бойцы перешептывались одобрительно. А Камену и стыдно и горько: не защитил села, своего родного села. И все из-за отца...

¹ Ш о п ы — коренное болгарское население некоторых западных районов страны, в том числе окрестностей Софии.

² З а х а р и й С т о я н о в (1851—1889) — болгарский писатель и политический деятель, автор известных воспоминаний о борьбе против османского ига.

...Староста уснул только на рассвете, и, когда услышал «капитан тебя требует», солнце поднялось уже высоко, а ему казалось, будто он только что лег. Он протер глаза, но кошмар не исчез: у дома стояли унтер-офицер и два жандарма. Стояли молча. Винтовки — с примкнутыми штывками.

Повели его как арестанта.

По площади сновали солдаты и полицейские. Крестьяне в ближайших проулках, увидев старосту меж торчащих штыков, переглядывались. Но невинно-лукавое выражение не могло сразу исчезнуть с их физиономий — не каждый день такое увидишь: пятеро храбрцов, расставив руки, переступали по мокрой крыше управы, словно танцуя обрядовый танец вокруг проклятых флагов, которые полоскались в воздухе, сверкая утренней чистотой красок. Жандармы боялись какой-нибудь партизанской ловушки. Наконец, подбодренные руганью самого капитана, они уцепились за трубу и яростно сбросили флаги в грязь.

В комнате старосты сидели повесив головы местный полицейский, сборщик налогов, лесной объездчик, двое полевых сторожей.

Партизаны заперли их в подвале, посоветовав не рыпаться до утра, и теперь они раскаивались, что вняли совету. Это чуть успокоило старосту, — значит, ночью они его не видели... Но у них было оправдание: они не могли ни о чем сообщить. А он?.. В углу кладовщик из кооперативной лавки прикладывал мокрый платок к лилово-синему кровоподтеку под глазом — он по наивности сказал, что партизаны ему за все заплатили.

Два желто-зеленых армейских «штайера» угрожающе взвыли и вдруг затихли посреди площади. Из машины вышел пожилой генерал, за ним, в полном безмолвии, несколько офицеров в боевом снаряжении.

— Дайте мне сюда старосту... — процедил генерал, ни к кому не обращаясь.

Адъютант козырнул и кинулся выполнять приказание.

Генерал медленно прохаживался по площади — пять шагов вперед, пять назад. Надо собственным хладнокровием поднимать дух у подчиненных, да, но попробуй выдержи все это! Поголовное бегство в лес. Удар за ударом. Только за два дня — Саранци, Негушево, Долни Камарци... А теперь здесь! И какое коварство — именно Первого мая!.. Генерал чувствовал себя уязвленным: он лично руководил блокадой, он сам составил план, он знал от нескольких сбежавших трусов, где формировалась партизанская бригада. Но он опоздал и теперь находился в идиотском положении человека, который стоит с повязкой на глазах и бессмысленно, никого не задевая, размахивает в воздухе руками, а его то и дело огревают по затылку. Ведь в его распоряжении армия, жандармерия, полиция, каратели, «общественная сила». Но человеку свойственно сваливать вину на

других, и генерал с негодованием думал об «этом типе» (Христове, министре внутренних дел), который раззвонил в газетах, будто партизаны на Мургаше уничтожены. У генерала было прочное положение, и он мог позволить себе некоторые вольности... в мыслях. Тупица. Трепло. Кого он обманет? Немцев, чтоб поддержали его еще немного? Сегодня же вся София, вся Болгария будет знать... Генерал, быть может, преувеличивал, но не слишком. Утром из села в Софию отправилось бог знает сколько рабочих и эвакуированных. Он задержал бы поезд, он изолировал бы село, как чумное, но... Чтобы за целую ночь ему не сообщили! Это не власти, а сброд. На одну ночь остались без военных и наложили в штаны. Чтоб во всем селе не нашлось ни одного смельчака, ни одного патриота, который прибежал бы в Богров! Зараза проникла повсюду, надо вырывать ее с корнем!..

Он остановился. Вели главного виновника.

Староста, увидев генерала, приободрился: «Хорошо, что он, а не те выродки». Он слышал, что и перед генералом все дрожат, но все-таки человек пожилой, ответственный, высшую власть представляет.

Генерал курил, не снимая кожаных перчаток, слегка постукивая ногой по земле. Время от времени болезненный тик передергивал его пепельно-желтое лицо.

— Н-ну-с, господин староста?..

— Слушаюсь, гос-син генерал! — Староста снял кепку, сдвинул пятки.

— Слушать потом будешь... — прошипел генерал. — Сейчас отвечай. Почему вы не оказали разбойникам сопротивления?

— Но как, гос-син генерал? С одним полицейским и двумя полевыми сторожами? Да и... их заперли...

— Так... — Генерал яростно растер сапогом окурки, шагнул вперед. — А ты-то, староста, кто — чучело ты или представитель власти? Почему ты не поднял добровольцев, болгарских патриотов? Почему сам не дал им отпор?..

Вчерашнее — те незнакомые люди, «он хороший человек» — казалось сейчас прекрасным, как сон, и, как сон, далеким. А эта сила — реальная, враждебная — стягивала вокруг него свой обруч. Но о Камене они, наверное, не знали, и Рангел попробовал выпутаться:

— Как начались... эти дела, — он вовремя проглотил более точное слово, — никакая я не власть. Любой жандарм выше меня...

— Молчать! Молчать... убью... На армию клеветать...

И чтобы не изменить своему принципу — хладнокровие! — генерал снова зашагал взад и вперед. Только бросил коротко, зло:

— Почему не сообщил?

Староста ждал этого вопроса и все-таки не был готов — сказал первое попавшееся:

— Телефонный провод перерезали эти люди...

Генерал на мгновение усталился на него, потом подался вперед и, не снимая перчаток, взмахнул одной, потом другой рукой. В плотной тишине пощечины отдались глухим, тупым звуком.

Староста стоял, словно врос в землю, коренастый, седой, с лицом, потемневшим от солнца и ветров шести десятилетий. Рубец от шрапнели, который пересекал его левую бровь и уродовал нос, сейчас налился кровью и вздергивал губу в гримасе лютой обиды и отвращения. Одеревеневшее от старой раны плечо торчало выше другого, он казался ошеломленным, каким-то взъерошенным, однако по-прежнему был полон достоинства. Генерал невольно считал взгляд от его глаз, налившихся влагой и ненавистью. Генерал считал себя солдатом, и ему стало неловко, что он ударил старого фронтовика.

— Господин генерал, я... я две войны... Никто не поднимал руки... — Он задыхался, гнев захлестывал слова. — Я... не прощу...

Генерал почувствовал облегчение — было за что ухватиться. Махнул рукой, чтобы разогнали крестьян («досадно, видели!»), и снова стал перед старостой, сгорбленный, заложив руки за спину, упершись затылком в воротник шинели.

— Не простишь, а? «Лю-ди»! Ты... разбойников людьми называешь? Бандитов?

Староста молчал. Полоснувшие его удары раскрыли ему многое, чего он не понимал, во что не хотел верить. Стоило ли сердиться на капитанишек, на агентов? Он считал, что они превышают власть, что отсюда все зло. Нет, их так учат! Этот вот с лошадиной головой. Он и есть власть. Он и есть государство. И армия, о которой ты все толковал... Бьет в перчатках, брезгует, чистюля...

Вдруг появился сборщик налогов. Низкорослый, плюгавенький, он притронулся пальцами к засаленной кепке и комично вытянулся, распираемый не нашедшим себе применения усердием нестроевого:

— Гос-син генерал, разрешите доложить!

Генерал посмотрел на него с отвращением: «Этот еще откуда взялся?» Он не выносил хилых людей, может быть, потому, что сам не отличался богатырским телосложением. Сборщик не выдержал воинственной позы и принял свой обычный вид — заговорщически поманил начальство пальцем и противно подмигнул двумя глазами сразу:

— Можно... в сторонку... конфиденциально?

Нет, человечиска не был наивен. Он знал: генерал простит ему фамильярность. Накануне он прочел — незаметно для старосты — телеграмму о дезертирстве Камена. Чего ради ему всю жизнь торчать в сборщиках, если есть шанс сделаться старостой?..

Генерал повернулся кругом и пошел на свою жертву шагом победителя. Да, и до этого он держался громовержцем, но тайное сомнение грызло его: «Если уж и старосты таковы, государство погибло». Это было слишком сложно для него и слишком страшно. А теперь все снова просто: староста говорит так не потому, что он прав, а потому, что виноват...

— А-а-а, скры-ва-ешь, скры-ва-ешь? — шипел генерал и, схватив седовласого старосту за подбородок, свирепо встряхивал его голову. — Сын у него бандит, дезертир, а он... предатель! — Генерал искал слово покрепче, поубийственнее и, найдя, сам обрадовался: — И-у-да, предатель... И-уда проклятый... — Он отряхнул одна о другую перчатки и кивнул офицерам: — Дом, его дом, немедленно! И расстрелять!

Наконец он успокоился и пошел к машинам.

— Хоть пожитки вынести. Все-таки добро, чего ему гореть! — вдруг заговорил староста.

Генерал застыл на месте — эти слова показались ему неслыханной насмешкой.

— Да ты что, идиот?! На тот свет без пожитков легче доберешься!

Только теперь все происшедшее дошло до Рангела. И он, не раздумывая, шагнул вперед.

— Как, без суда?

Это была не просьба, а обвинение. Генерал почувствовал это, с явным удовольствием вернулся, уперся кулаками в бока и, покачиваясь на носках, задекламировал:

— Я — суд. Я — закон. Ни апелляций, ни помилования. Ну?

Староста стоял, расставив ноги, откинув голову, словно оберегая себя от какого-то зловония, и выглядел куда выше и сильнее генерала. По крайней мере, так казалось ему самому. Лицо его было неподвижно, и даже рубец побледнел, став такого же цвета, как щеки. Только пальцы слегка вздрагивали, и он сжал их в кулак, вытянул руки вдоль тела, по-солдатски. Он смотрел вверх голов, на горы... Как это так — расстрелять? За что? По какому праву? Лиха беда начало, этак он всю Болгарию расстреляет... Шевелилась смутная надежда, что это будет не сейчас, что, может, этого никогда не будет, но двое жандармов стояли рядом, и над их головами торчали штыки... Не может быть! Ходишь по земле живой-здоровый — и вдруг конец? И так вот — ни за что ни про что?! Но эти двое со штыками ждут. Просить пощады? Или хотя бы суда?.. Хм, он был старостой и ничего не сумел выпросить для тех троих, ни в чем не повинных, у капитанишки не сумел, так где уж у этого... «Ни апелляций, ни помилования»... Зачем унижаться...

Генерал уже давно покачивался на носках, ожидая, вероятно, именно этого развлечения, но староста не шевельнулся, только перевел взгляд и посмотрел генералу в глаза:

— Гадина...

Генерал вздрогнул, перестал покачиваться, лицо перекосила злая гримаса, но он сделал над собой усилие и засмеялся. Потом резко повернулся к машинам.

Старосте показалось, что он бежит...

Он шел по селу, в котором прожил всю жизнь, по которому проходил сейчас в последний раз, и прощался... Старуха его померла. Вовремя — хоть не видит его теперь. Если назначена где-то встреча,



они свидятся... Гаце и Милена в Софии, ничего не знают. Оно и лучше: каково бы им было прощаться с живым... Только Камен близко. Вот с Каменом непременно надо проститься...

Но никого не было. Страшно умирать, когда вокруг никого нет... Людей, что ли, не осталось в этом селе?..

Из-за гнилого плетня выглянули дедушка Стамен и его сноха. Неожиданно для себя Рангел крикнул:

— Прощайте, люди. Конец мой пришел...

Сноха Стамена подняла руку к глазам и застыла. Стамен держал в одной руке топор, в другой — чеку, которую только что вытесывал.

Они смотрели на старосту и ничего не понимали — он ли ведет жандармов, они ли его тащат?

— Прощайте... говорю. Если увидите Камена, поклон ему! Так и скажите...

Он отвернулся, здоровое плечо его дрогнуло. Услышал только: — Прощай, Рангел. Да постой... как же так...

У жандармов не было приказа не давать арестанту говорить, но на всякий случай они подтолкнули его. Все едино, больше ему и не требуется.

Несколько тяжелых, застрявших в горле комков, несколько трудных слезинок, вытертых прежде, чем они провели борозды по лицу, — этого достаточно, чтобы принести облегчение мужчине, идущему на смерть... Хорошие люди попались. Племянник у Стамена там, в горах... Они все поймут...

За селом, у навозных ям, его остановили. Неужели здесь конец? На свалке?! Постой-ка, как это говорил Камен... «на свалку истории». «Только бы громкие слова болтать!» — ответил он тогда сыну. А теперь... Вот тебе и история — у навозных ям.

— Послушайте... — Он не знал, как их назвать. — А нельзя по-дальше, на полянке...

— Здесь приказано! — виновато отозвался один, небольшого росточка.

Рангел в первый раз взглянул на них. Может быть, и в них есть что-то человеческое? И внезапно содрогнулся от страшной мысли: ведь и Камен мог... По приказу...

— А тебе не все равно, где ноги протянуть? — подал голос другой.

— Знаешь, как в песне: «Рубашку наденьте чистую...»

— Ты что ж думаешь, ты народный мститель? Как те, что с турками боролись? — смерил его жандарм насмешливым взглядом.

Это была последняя обида, которую можно было нанести Рангелу. Но она его уже не тронула.

Снова вмешался первый, маленький:

— Ну, коли он просит... Только гляди не пробуй сбежать, ты...

Солнце пригревало ласково, усыпляюще. Снежный Мургаш то сверкал, как стеклянный, то гас под тенью случайного облачка. Лес, ржавый наверху, у подножия горы оживал. Луга и озимые мягко зеленели. Могучее дыхание пробудившейся земли било в нос, вливалось в тело.

В этой земле он копался всю жизнь, а теперь ляжет в нее. Она знает его, она примет его, как родного. Какой он староста! Если и согласился когда-то, так потому, что думал — добро будет делать. И делал. Люди помнят... Он верил: если все будут честные, будет и справедливость. Но он ошибался... «Прав, видно, был Камен. А я не вышел вчера. Хоть бы руку ему пожал...»

Когда подошли к месту, Рангел был готов. Снял полушубок, остался в потертом пиджачке домашнего сукна, в выпачканных грязью штанах, в резиновых опорках. Одно только тяжело — он умрет молча. Он слышал рассказы о том, как умирают пленные партизаны: поют, кричат «да здравствует», улыбаются... Он не мог их понять, но чувствовал: для этого мало сознавать себя честным человеком... Этой ночи и этого дня было достаточно, чтобы привести его сюда, на эту полянку. Но они были слишком коротки, чтоб он мог стать рядом с Каменом...

И все же он был спокоен. Он умирал один, но не был одинок.

Ему показалось невероятным, что крохотные бледные огоньки могли толкнуть его с такой ошеломляющей силой. Но это был только миг — тот миг, когда исчезает всякая боль...

Иоганнес Р. Бехер

(ГДР)

Человек, который молчал

” **Н**ам нужно имя. Только имя! Имя!
Молчишь!! Не отмолчишься. Бросит в жар!»
Их четверо. Дубинки с ними.
И на молчавший рот упал удар.

Какая боль! Но, крик куда-то спрятав,
Он только шевельнул беззвучно ртом.
Еще удар... Еще... Четвертый... Пятый...
Счет потерял он на шестом.

В ушах как будто загудели трубы,
А губы стали очень горячи.
И словно палец лег ему на губы
И властно приказал: «Молчи!»

«Молчи, мой рот! Молчи! Ты нем как рыба.
Ты это имя позабыл...»
Тяжелая на грудь свалилась глыба —
И голубой туман поплыл.

Все тело разрывается на части.
И все неистойей ударов злость.
Как жарко дышат яростные пасти...
Как сердце к горлу поднялось.

«Нам нужно имя! Говори, собака!» —
«Молчи, мой рот! Я имя позабыл».
Но имя вырвалось из мрака.
С трудом глотнув, он имя проглотил.

Удар... Удар... Размашисто, жестоко...
Глаза распухли. Все горит внутри.
И снова чей-то голос издалека:
«Ты скажешь имя! Имя! Говори!»

Какое имя! Он напоминает...
Нельзя... Не надо... Думай о другом.
Бульвар. Скамейка. Музыка играет.
И публика шатается кругом.

А на скамье, придвинувшись друг к другу,
Сидят они, бывшие имена,
И всё молчат, и бегают по кругу,
Как в мышеловке, тишина.

Но кто-то тишину нарушил,
Назвал то имя. Тсс! Молчи!
Ведь сбоку чьи-то появились уши,
И вновь заговорили палачи.



**«Ты скажешь имя!» Комната кружится,
И стены падают... встают...
А тот, быть может, спать сейчас ложится,
Не зная, что тебя здесь бьют.**

**Что имя! Слово, семь иль восемь букв,
Семь-восемь звуков — больше ничего.
Но почему резиновым бамбуком
Так выколачивают имя из него!**

**Да, это имя — важное звено
В цепи заветных, драгоценных слов.
И если с губ слетит оно,
То сколько вслед за ним слетит голов!**

**Он видит всех. Готовятся бои.
«Товарищи! Не бойтесь, я молчу.
Товарищи, товарищи мои,
Я никого не выдам палачу!»**

**Как странно!.. Повернулся потолок...
«Зачем я здесь!» Удар по животу.
Он падает, как брошенный мешок.
И снова соль прихлынула ко рту.**

**«Ты скажешь имя!!» Имя есть звено.
Оно расплавилось и льется изо рта.
Вот на полу написано оно,
Под ним — кровавая черта.**

**Он задрожал: «Сейчас они прочтут,
Прочтут разлившееся имя.
Нет, я не дам! Я жив е́ще, я тут,
Я не пожертвую другими.**

**Стереть... Стереть!.. Ну, кто теперь прочтет!
Пусть кровь течет, пусть рот кровоточит...»
И он, с трудом скривив в улыбку рот,
Встает, шатаясь, и молчит.**

**Так он молчал. Не нужно величания,
Ни громких слов не нужно, ни похвал.
Но встанем все и в тишине молчанья
Склонимся перед тем, кто так молчал.**



Намсарайн Банзрагч

(МОНГОЛИЯ)

Мост

Л

ютые холода стояли в памятную зиму тысяча девятьсот сорок второго года. Правда, по утрам волны солнечного света заливали заснеженную степь. Но всем известно, сколь обманчива щедрость зимнего солнца!

Злые морозные туманы клубились над водоемами, и клочья их, подгоняемые порывами ветра, ползли по степи, ершистые, как перекасти-поле. В излучине реки позванивали голые промерзшие ветки ив — ни дать ни взять серебряные колокольчики в день свадьбы.

Там, где рощица ивняка редела, образуя на высоком речном берегу изрядную плешь, огромным грибом торчала одинокая юрта, припорошенная снегом.

Еще вчера все вокруг утопало в сугробах, но ветер, поднявшийся ночью, перемел снег от юрты, и теперь из-под него уродливо выглядывали сваленные как попало доски, толстые бревна, грубо сколоченные козлы и деревянные ящики. Все это лежало в беспорядке, и чувствовалось с первого взгляда, что нет тут настоящего хозяина.

Однажды ранним утром, когда черный дымок лениво выползал из отверстия в крыше юрты и тянулся нехотя вверх, к застывшему небу, огромный лохматый сторожевой пес выжидательно залаял, потом умолк, словно прислушиваясь, и наконец разразился долгим уверенным лаем. Высокий худой старик, хозяин юрты, медленно отставил тарелку с едой, натянул меховой дэл, тщательно запахнул его, неторопливо открыл дверь и вышел наружу. В первое мгновение солнце ослепило его; он приложил руку к глазам и долго щурился, всматриваясь в сторону, куда, не переставая лаять, повернулась собака.

— И впрямь едут, — обрадованно пробормотал старик, когда ухо его уловило наконец характерное поскрипывание снега под конскими копытами.

— Кто бы это мог быть? — продолжал он размышлять вслух. Но даже когда фигуры всадников приблизились, угадать не мог — мешал утренний туман.

Старик сердито прикрикнул на собаку, надрывавшуюся от лая.

Она совсем одичала за те долгие месяцы, которые они провели здесь вдвоем.

— Уймись ты, леший, ведь добром прошу, — сурово сказал он, привязывая пса.

Всадники уже подъехали к западной стороне юрты и спешились. Один из прибывших старик узнал сразу — это был молодой проводник, сын его земляка Бадарчи. Зато второго он видел впервые. «Бог ты мой, да неужто русский?» Рослый, в высоких валенках, в широкой дохе и глубоко надвинутой на лоб шапке, приезжий мало чем отличался от монгола. Но стоило присмотреться к нему повнимательнее, и его выдавало белокожее узкое лицо и ясные светло-серые глаза, весело поблескивавшие из-под заиндевевших бровей. Пока старик соображал, зачем мог приехать в такое захолустье русский, тот подошел и, стянув большую нескладную рукавицу, крепко пожал ему руку.

— Здравствуйте, товарищ! — сказал он и повторил по-монгольски: — Нохор, сайн байна уу!

Старик хотел было ответить, но его опередил проводник.

— Добрый день, дедушка, как поживаете? Вы Доной-гуай. Да-да, я знаю, мне о вас говорил отец, — затараторил он, потом, скосив на своего спутника озорные блестящие глаза, торжественно произнес: — Приезжий — наш гость, советский инженер... Я везу его из самого Улан-Батора. Он будет у нас мост строить.

— Мост будет строить, — беззвучно, одними губами, повторил старик, открывая дверь и пропуская гостей в юрту.

Русский инженер, видно, сильно озяб. Сразу же, не расстегивая дохи, он примостился у самой печки на чурбаке, заменявшем старую табурет.

— Очень уж холодно, — виновато улыбаясь, сказал гость и, пока Доной ставил на огонь набитый снегом медный чайник, все дышал на свои покрасневшие пальцы. — Ну и мороз! — снова повторил русский.

— Да, знатные нынче холода стоят, — согласился хозяин, — давненько таких не бывало. Ишь как вы замерзли! Да и то сказать, путь у вас был не ближний.

Русский улыбнулся и покачал головой.

— Не уразумел он ваших слов, дедушка, — догадался проводник. — Понимаете, Доной-гуай, он за дорогу не успел выучиться по-монгольски. Только и знает то, чему я его научил. А еще я...

— Погоди-ка, постреленок, — прервал старик словоохотливого паренька. — Скажите, русский товарищ, вы пьете наш монгольский чай, с молоком и солью?

Гость понял, закивал головой. Доной поставил перед ним на низенький столик большую пиалу, от которой шел ароматный пар, и две тарелки — с маслом и творогом.

Попив чаю и отогревшись, русский инженер полез за пазуху, вытащил оттуда какую-то бумагу и протянул ее Доною. Старик развернул сложенный лист и, оседлав свой нос очками в старенькой расшатанной оправе, медленно вслух прочитал:

— «...Командиру Н-ской части, строящей мост в местности... предписывается немедленно возобновить строительство, сорванное в прошлом году, и сдать мост в эксплуатацию в указанные сроки. Работы будут вестись под руководством советского инженера, тов. Андреева, специально приглашенного нами для этой цели».

Ниже следовала подпись начальника всех строительных частей аймака.

Кончив читать, Доной еще раз посмотрел на бумагу, потом на человека, чье имя было столь необычно для монгольского уха, и растерянно сказал:

— А ведь рабочих-то по домам распустили. Кто же строить будет? Я всего лишь сторож. Никого, кроме меня, здесь нету.

Андреев понял, нахмурился.

— Начальник нужен — дарга. Мост будем строить, — сказал он.

— Ладно, вот что сделаем: ты, сынок, — старик посмотрел на парнишку, — будешь назад возвращаться, не сочти за труд, загляни в Мухар-Булан и передай, чтобы дарга Жамьян ехал сюда немедленно.

Проводник обещал. Покончив с едой, он стал собираться в обратный путь.

— Скоро дарга приедет, — сказал старик Андрееву, явно приунывшему после отъезда проводника. — Скоро, скоро, вы не скушайте. Отдохните пока.

Русский, кажется, понял, потому что в ответ он широко улыбнулся и выражение растерянности пропало с его лица. Он снял шапку, и старик удивился, что волосы у гостя светлые, как спелая пшеница, которую недавно стали сеять в низовьях реки.

Ободренный успехом — русский, видимо, начал его понимать, — старик продолжал:

— Товарищ инженер, у нашей реки течение больно быстрое, — ни один мост держаться не будет. Мы уже пробовали. Прошлым летом возвели хороший мост, а он перед самыми Майскими праздниками уплыл: течением унесло. Не смотрите, что речка у нас не слишком широкая, она в горах родится, оттого и прыть у нее такая.

Андреев внимательно слушал старика, несколько раз переспрашивал его, но на этот раз они с Доной никак не могли понять друг друга. «Как бы ему это получше объяснить?» — ломал голову старик. И наконец надумал: надо показать приезжему остатки злополучного моста.

— Пошли, товарищ инженер!

Неизвестно, понял Андреев или нет, о чем толковал ему старик, только он натянул шапку и с готовностью последовал за ним.

Возле самой реки они остановились, и Андреев, на минуту забыв про мороз, залюбовался открывшимся его взору чудом: в белом густом тумане купалось солнце, и лучи его, преломляясь, рождали полупрозрачные причудливые картины. «Словно апельсин, оранжевое», — подумал Андреев про солнце, и это сравнение невольно вызвало у него воспоминание о родных краях. Там теперь шла война, а его командировали сюда, в далекую Монголию, строить мост.

Ему не сказали, но он и сам догадывался, что война может ударить с востока... Что ж, надо так надо. Выстроит он этот мост и сразу же вернется на фронт.

— Глядите вон туда, инженер, — коснулся его рукава старик и показал куда-то влево.

Андреев посмотрел в указанном направлении. Вот оно что! Конечно, это остатки прошлогоднего моста. Из земли, застывшей огромными комьями, торчали покосившиеся столбы.

— Крепления не выдержали, — вслух решил Андреев и покачал головой.

Он легко взбежал на искусственную насыпь, потом спустился вниз, на лед, и долго осматривал крепления, похлопывая рукавицами по обледеневшему дереву. Так же, как и он, Доной ходил вокруг свай и качал головой, бормоча себе под нос, что, мол, течение у реки очень бурное и, чтобы справиться с ним, долго придется повозиться, может быть, даже не один год. И без того белое лицо Андреева побледнело еще больше. «Видать, не на шутку замерз инженер, но да ничего, в юрте отогреется, хорошенько протоплю на ночь печь», — думал старик. Но Андреев явно не собирался скоро возвращаться назад. Он обогнул излучину и направился вдоль реки. Внимательно всматривался в берега и часто наклонялся, пробуя руками замерзшую почву.

Домой они пришли, когда солнце уже совсем склонилось к закату и полоса неба на горизонте пылала, словно озаренная отблеском далекого пожара.

Было уже поздно, когда, заслышав собачий лай, Доной поднялся с войлочного тюфяка.

— Кто-то приехал. Наверное, дарга Жамьян, — проговорил он.

Старик с Андреевым вышли из юрты, всмотрелись в темноту. Из сгустившихся сумерек как-то неожиданно вынырнула фигура всадника. Почуяв знакомого, пес вильнул хвостом и замолчал.

Как только Жамьян отогрелся в юрте, Андреев развернул перед ним проект моста. Жамьян оживился, но Андрееву долго еще пришлось объяснять ему, что к работе надо приступить безотлага-

тельно. Поняв это, начальник закивал головой и тут же распорядился:

— Доной-гуай, возьмите мою лошадь и рано утром отправляйтесь в районный центр. Половина наших рабочих сейчас там. А оттуда кого-нибудь пошлите в аймак за рабочей силой.

Метель, поднявшаяся среди ночи, начала ломиться в ставшие вдруг податливыми бока палаток, где поселились рабочие. В юрте Доной, у входа, проснулась собака. Заворчав, наострила уши.

— Ну, завьюжило, — в сердцах пробормотал старик и снова натянул на голову ватное одеяло.

Проснулся и Андреев. Только позавчера прибыл с гор посланный за бревнами обоз, да накануне из аймачного центра доставили ломы, кайла и землечерпалку. «Как на грех, погода испортилась. Не будь метели, можно было бы приступить к стройке, а теперь рабочие вряд ли выйдут», — думал Андреев. Он чиркнул спичкой. Стрелки ручных часов показывали половину восьмого. Рывком поднялся с постели, натянул доху и вышел из юрты. Еще с порога ветер едва не сорвал с него шапку, и он долго завязывал ее под подбородком непослушными коченеющими пальцами. Строители не поднимались.

— Вставайте, ребята! — тихо позвал Андреев.

Пока рабочие умывались и пили чай, подошел Жамьян.

— Поторапливайтесь, — приказал он. — Сколько можно чаевичать?

Застегнувшись получше, люди вышли в темноту, полную свиста и гула: метель разгулялась не на шутку. Андреев уверенно шагнул впереди, словно его не валил с ног ветер и не стегала по лицу пурга.

— Отважный человек наш инженер, все ему нипочем, — сказал кто-то из рабочих, но голос его потонул в реве ветра.

Как и предполагал Андреев, выкопанный за эти дни котлован занесло снегом. Отыскав под сугробом землечерпалку, он велел ее очистить от снега, потом помог установить и показал, как пустить ее в ход.

К полудню пурга внезапно улеглась, зато стужа все крепчала. Рабочие, занятые на рытье котлованов под опоры моста, не чувствовали холода, но Жамьян, который неотступно ходил за Андреевым, продрог до самых костей. Во время короткого обеденного перерыва он сказал Доной:

— Доной-гуай, сшейте-ка мне сегодня вечером толстые рукавицы...

Он хотел пояснить, что будет, мол, работать, как и все, но старик понимающе кивнул.

...Незаметно подкралась весна. Еще по-зимнему звонок и чист был холодный воздух, но ветер все чаще приносил издалека волнующие запахи пробуждающейся земли. Дни стали длиннее, и строители, не щадя себя, работали допоздна. Котлованы под мостовые опоры были готовы, сваи забиты. На реке с гулом начал лопаться лед, вот-вот с гор побегут вешние воды и превратят реку в бушующий водопад, готовый уничтожить упорный, тяжелый труд многих людей. Утро, в которое началось половодье, было светлое и по-апрельски теплое. Мощный поток хлынул с гор в реку, в бешеном мутном водовороте закружил обломки льда и ринулся на высокие опоры моста. «Неужели не устоит?» — с тревогой думал Андреев. Но мост выдержал. «Ур-ра!» — крикнул кто-то, и не успел русский инженер опомниться, как десятки рук подхватили его и стали качать.

Прошел день, второй, а опоры моста все стояли. «Человек сильнее стихии» — эти слова Жамьяна строители повторяли тогда на все лады.

Пришло время настилать мост. Один из рабочих, мужчина пожилой, неторопливый, но сильный и точный в движениях, прошел по настилу до середины. До другого берега вела оттуда лишь одна узкая доска. Он машинально ступил на нее, посмотрел вниз, увидел под собой бурлящую воду и вдруг покачнулся. Не успели люди на берегу понять, что происходит, как их товарищ исчез в волнах.

Монголы — степной народ. Они отличные наездники и славные охотники, но мало кто из них умеет плавать. Ни упавший в воду, ни остальные рабочие плавать не умели. Первым пришел в себя молоденький паренек, с которым очень сдружился русский инженер. Не сводя глаз с реки, где над волнами несколько раз кряду показалась макушка тонущего, он закричал громко и пронзительно, не узнавая собственного голоса:

— Товарищ Андреев! Сюда, скорее!

А тот уже бежал к берегу, на ходу сбрасывая стеганую куртку. Паренек все кричал:

— Инженера сюда, русского инженера, скорее, скорее!

Андреев с разбегу прыгнул в воду. В то же мгновение холодная вода обожгла тело, а потом стальным обручем сковала его. «Неужели конец?» — невольно подумал инженер. Один сапог, который он не успел снять, непосильным грузом тащил ко дну. После нескольких безуспешных попыток инженер наконец стянул сапог и тут же с удивлением почувствовал, что каждый мускул повинуется ему. Он вынырнул, набрал полные легкие воздуха и, рассекая воду сильными, упругими движениями, выплыл на середину реки, где по его расчетам должен был находиться утопающий. Но тот, потеряв сознание, больше не показывался над водой. Андрееву пришлось несколько раз глубоко нырнуть, прежде чем он нашел его. Подхватив товарища

под мышку, инженер с трудом поплыл к берегу. Оттуда им бросили длинный шест. «Принесите веревку!» — это было последнее, что услышал Андреев. В себя он пришел уже на берегу.

— Ах, какой же ты молодец, какой молодец! — смеясь и плача, повторял Жамьян.

Андреев посмотрел на окружающих так, будто хотел спросить: «А как же тот, кого спасал? Что с ним?» И, угадав его мысли, Жамьян сказал:

— Он уже давно пришел в себя.

Словно в полудреме, опустив веки, Андреев лежал на берегу на чьих-то ватниках и бездумно глядел в небо, по которому весело бежали легкие белые облака и черными стрелками пронеслись незнакомые птицы. Старик Доной сидел рядом и молча смотрел ему в лицо.

— Что же вы все стоите? — вдруг закричал он, обращаясь к рабочим. — Скорее несите инженеру сухую одежду, он же промок до нитки!

Чем ближе подходил конец стройки, тем беспокойней становился Андреев. Он быстро оправился после неожиданного купания в ледяной воде и так же бодро и энергично руководил работами. Но на душе у него было тревожно. За тысячи километров отсюда шли жестокие бои, и он ждал своего часа, чтобы встать в один строй с товарищами. Разве знал он тогда, что именно отсюда, где он помогал монгольским друзьям строить мост, советские части вместе с монгольской армией отправятся штурмовать отборные дивизии японских милитаристов? А время летело. Летело быстро, как стрела, выпущенная из туго натянутого лука, — так думал старый Доной. Летело, как снайперская пуля, — так думал Андреев. Покрылись листвой старые ивы на речных берегах. Побег молодой травы пробили старый дерн и заткали степь свежим изумрудным ковром. Далеко на востоке по-весеннему зазеленела зубчатая гряда гор. Выше и синее стало небо. Гулял и резвился ветер, напоенный запахами клейкой листвы, ветер, пробуждающий в душе надежды и мечты. Андреев любил по вечерам после работы уходить в степь. Наплывали сиреневые сумерки, пахло дождем и пылью. У подножия холма инженер присаживался на плоский коричневый камень, источенный временем, и подолгу курил самокрутку.

Как-то раз старый Доной отправился в степь вместе с ним. Разожгли костер. Горели, потрескивая, сыроватые ветки багульника. Искры взлетали в небо. А оттуда на землю падали звезды.

«Большие перемены видит древняя монгольская земля, — попыхивая такой же старой, как и он сам, трубкой, неторопливо размышлял старый Доной. — Говорят, скоро не нужны будут ни лошади, ни верблюды: стальные поезда пойдут. А через новый мост за

реку пойдут стада железных машин... Да, не то что прежде — лошади с трудом эту реку вброд переходила...»

— Скажи мне, Андреев, — неожиданно спросил он, и тот сразу почувствовал, что старик давно собирался задать этот вопрос и только ждал удобного случая. — Скажи мне, дорогой Андреев, почему ты тогда в реку бросился, ведь ты на верную гибель шел?

— А я в ту минуту об этом не думал, Доной-гуай.

— А ежели подумал бы? — допытывался старик. Огонек в его трубке ярко вспыхнул и на мгновение высек из темноты бронзовое морщинистое лицо старого арата.

— Все равно поступил бы так, ведь я коммунист.

Доной вздохнул и больше не спрашивал Андреева, смутно догадываясь, что никакими словами не объяснишь то веление души, по которому человек идет на подвиг. Потом, желая сказать инженеру что-нибудь приятное, пообещал:

— Доживем до лета, я тебе свеженьких огурчиков привезу. У меня один знакомый есть — третий год огурцы выращивает. Я с ним уже договорился. Он мне твердо сказал: «Ну как не дать огурчиков для такого человека, как наш Андреев». Остался бы ты у нас здесь, а, товарищ инженер?

— Я еще вернусь к вам, Доной-гуай, — задумчиво отозвался Андреев, — и мы встретимся, непременно встретимся. Кстати, слышал, на днях комиссия из аймака приезжает, мост будет принимать.

«Вот и получается, что уедет наш Андреев завтра-послезавтра», — печально подумал Доной.

Всю ночь проворочался старик с боку на бок, а на вопрос Жамьяна, отчего ему не спится, ничего не ответил, — разве передашь словами то, о чем думал и что чувствовал старый Доной? Да и сам Жамьян, пожалуй, не спал по той же причине. Как это поется в старинной песне?

Быстро тают снега по весне,
Когда солнце на небе сияет,
Время быстро бежит,
Когда друг дорогой
Без тебя в дальний путь,
Без тебя в дальний путь уезжает...

Утром следующего дня не успел Жамьян посоветовать, что чай у Доной получился, не в пример обычному, недосоленный, как из степи донеслось гудение автомашины. Жамьян с Андреевым оставили пиалы с чаем и выбежали из юрты. На площадке перед палатками уже собрались рабочие. Небольшой грузовичок лихо развернулся и, подняв облако серовато-красной пыли, затормозил у юрты Доной. Из кабины кузова выскочили люди. Один из них, приземистый седо-

власый человек с мохнатыми бровями, начальник всех строительных частей аймака, был знакомым Андреева. Они обнялись, а потом седовласый поздоровался со всеми строителями за руку.

Комиссия осматривала мост долго и придирчиво. Потом составляли и подписывали акт о приемке и, лишь покончив с делами, подогнали грузовичок к самому мосту и открыли митинг.

Андреев отказался подняться в кузов. Он остался стоять в толпе, мысленно прощаясь со всеми, с кем успел крепко сдружиться за эту трудную, длинную монгольскую зиму. С трибуны грузовика монгольские товарищи говорили о строительстве моста, о помощи советского инженера, о том, что они, монголы, тоже все силы прилагают, чтобы помочь советскому народу разгромить фашизм, что уже по всей стране развернулось широкое движение в поддержку фронта. Восемь эшелонов с подарками и лучших своих скакунов посылают нынче монгольские араты советским воинам.

Андреев смотрел на Жамьяна, который говорил, помогая себе короткими энергичными взмахами левой руки, а перед глазами инженера вставали первые дни войны, заставшие его, тогда еще молодого лейтенанта, на западной границе Советского Союза. В ту пору он был полон сил и энергии и проклятый осколок не сидел у него в легком...

Вдруг раздались громкие аплодисменты, и Андреев увидел: прямо к нему идет Жамьян, а рядом с ним седовласый начальник. В руках Жамьян несет ярко-синий хадак¹, который, как Андреев уже знал, преподносится только в особых случаях, за особые заслуги. Он принял хадак, как положено, обеими руками, поклонился, выпил молока из поданной ему старинной серебряной чаши и подумал, что вот он, Андреев, сейчас скажет замечательную речь и в ней будут такие слова, которые сразу поймут все монголы — ведь их страна стала ему бесконечно дорога, — вот только остаться он у них не может, потому что должен вернуться воевать. После войны он непременно приедет обратно, и вместе с монголами будет строить новые мосты, и построит их столько, сколько потребуется... Однако ничего этого Андреев не сказал. Окинув долгим взглядом знакомые лица строителей, он ограничился несколькими словами: теперь, мол, и без него строители смогут наводить мосты, не страшась никаких трудностей. Он даже не упомянул, что этому они научились у него, советского инженера.

Но, очевидно, люди поняли то, о чем он умолчал, потому что они зааплодировали, бросились его обнимать, и у многих на глазах были слезы. Потом все пошли в юрту, пили айрак², который старик Доной

¹ Хадак — сложенная в несколько раз по длине шелковая ткань, которой подпоясывают дэл; подносится в знак дружбы и особого уважения.

² Айрак — кумыс.

старательно подливал в чашки гостям, а больше всего инженеру Андрееву.

Солнце уже садилось, и зубчатая гряда гор окрасилась в розовый цвет, — пора было ехать. Андреев вскочил в кузов. Держась одной рукой за кабину, он обернулся назад и долго махал свободной рукой...

После его отъезда люди не расходились до ночи. Они молча стояли на берегу. Шумела только буйная река. Но теперь она была уже не страшна, укрощенная перекинутым через нее мостом, таким же крепким и надежным, как дружба монголов и русских.



Йожеф Фодор

(ВЕНГРИЯ)

Красные надгробия

Б

ереза ласкает надгробные плиты
в дыхании ветерка.
Спите, герои.
Спокойно спите.
И пусть над вами лавину событий
бесшумно проносят века...

Оттуда, где блещет Волга,
оттуда, где катится Дон,
ушли эти войны.
Спать им долго, —
укрой их, Венгрия, синим пологом,
да будет тихим их сон!

К тебе как свободы вестник
шагал красноезвездный солдат.
Тех ратников сладкие песни
(Ты помнишь!
Звучали и здесь они!)
на смолкших устах не дрожат.

Сердца их, отважны и человечны,
светили, где было черным-черно.
И черным огнем они были встречены,
и гибли,
и знали: смерть — бесконечна,
а жизнь — мгновенье одно.

Сергея, Ивана, Петра, Николая,
над ними листвою шевеля,
в себя приняла земля неродная...
Стань матерью им,
их покой охраняя,
венгерская наша земля!

Задумчиво-странные их напевы
на смолкших устах не дрожат.
А дома их ждут:
ну, где же вы, где вы!..
Над Волгой, над Доном всходят посевы —
но нет дороги назад.

Остановись возле этой березы,
на плиты эти взгляни —
и вспомни о тех,
кто развеивал грозы,
и в землю эту пролей свои слезы,
как пролили кровь они.

Устали в громе великого боя,
уснули, исполнив приказ...
Сквозь листья солнце течет золотое.
Спите спокойно.
Спите, герои.
Время — память о вас.



Иштван Берталан

(ВЕНГРИЯ)

Старый кларнетист

К

Каждый год в день 7 ноября мне приходит на память история старого слепого кларнетиста. Его кларнет я и сейчас храню в деревянном футляре на шкафу. После смерти старика никто больше не играл на этом инструменте. И все же нельзя сказать, чтобы он навеки умолк. Тихими осенними вечерами, когда я бываю дома один и в памяти моей воскресают события детских лет, мне кажется, что я снова слышу чистые, звонкие звуки кларнета старого Кисела...

Странный человек был этот старик. Он хромал на одну ногу, и когда изредка выходил из своей лачуги, то волочил по деревне пристегнутую к деревяшке культю. Под мышкой правой руки он держал костыль, в левой руке — белую палку. Одежда на нем была ветхая, вся в заплатках, но никогда не рваная. Седеющие волосы достигали плеч, а лицо обрамляла длинная, как у отшельника, борода. Кожа на лице у него напоминала собранный в складки пергамент: неумолимое время наложило на него глубокие борозды. За плечом у старика болталась пустая кошелка, бывшая его по боку в такт прихрамывающей походке. Здоровая нога летом была обута в сандалий, а зимой укутана в мешковину. Издали каждый мог бы принять его за нищего, однако, стоило старику подойти ближе, рука, готовая уже дать милостыню, невольно опускалась: гордая осанка, строгие черты лица слепого калеки внушали уважение. «Святой человек», — говорили о нем старухи.

Августовским днем 1944 года я вместе с большой группой ребят играл в казаки-разбойники на Главной улице, утопавшей в летней пыли. В это время дядюшка Кисел как раз шел по деревне.

— Глянь-ка, цуцилист идет! — кивнул в его сторону сын сельского старосты Хайду.

— А что это такое? Что значит «цуцилист»? — наперебой спрашивали мы.

— А кто его знает! Отец говорит, что старый Кисел вовсе не святой человек, а самый настоящий цуцилист. И песни, что он наигрывает на кларнете, тоже цуцилистские...

Я долго ломал голову над тем, что может означать это таин-

ственное слово. На другой день я спросил у своего отца. Он сказал, что я еще не дорос интересоваться такими вещами.

Недели через две мне велели отнести крольчиху к Ковачам. Весело насистывая, я быстро шел по Главной улице и вдруг на одном из перекрестков столкнулся с дядюшкой Киселом. Испугавшись, я хотел посторониться, и старик от толчка выронил из руки палку. Я нагнулся, поднял ее и подал ему.

— Спасибо, мой мальчик, — сказал старик. Голос его звучал ласково и добродушно.

Мне пришлось по душе этот приветливый, ласковый тон — со мной не часто так разговаривали. На мгновение я остановился перед стариком и уставился на него.

— Куда же ты так спешишь? — поинтересовался он.

— Вот... несу крольчиху... к Ковачам, — пролепетал я.

Своей загорелой рукой он потянулся к моей корзинке, опупал в ней крольчиху и одобрительно сказал:

— Хороша... Она наверняка принесет много крольчат... А знаешь ли ты, какой у меня есть кролик-самец? Шиншиллово-серый.

— Шиншилловый? — переспросил я, вылупив удивленно глаза.

— Ага. Ну, пошли, тогда сам увидишь.

Я немного опешил. Ведь в деревне все знали, что дядюшка Кисел давно уже никого к себе не приглашает. Я взял старика за руку и молча пошел с ним. Только мы миновали несколько домов, как откуда-то появились два жандарма.

— Кто-то идет? — спросил старик.

— Да, жандармы, — ответил я.

Когда они проходили мимо нас, я громко и почтительно приветствовал их, так как давно усвоил, что жандармы — это важные господа, а поэтому с ними следует почтительно здороваться. К моему удивлению, дядюшка Кисел молча шел дальше, хотя наверняка слышал их гулкие шаги, шорох их одежды, может быть, даже шелест петушиных перьев на их шляпах.

— Вынюхивают, полицейские ищейки! — с ненавистью произнес он тихо.

Вскоре мы добрались до крайних домов деревни и вошли в сад дядюшки Кисела. Старик тотчас же замкнул дверцу калитки. Сказочный вид открылся передо мной. Окаймленный кустарником акации палисадник был настоящим волшебным садом. От калитки до маленького дома тянулся виноградник, высокие кусты которого образовывали как бы свод над узкой дорожкой. По обеим сторонам от нее стояли любовно ухоженные фруктовые деревья; их ветви гнулись под тяжестью плодов. В конце лужайки дорожка раздваивалась, огибая большую цветочную клумбу. В центре клумбы на сложном из камней холмике, покрытом мхом и увитом дикорастущими розами, стоял крохотный замок со многими башнями. Мое удивление еще более возросло, когда я рассмотрел

домик старика. Он был построен из камней, самана, кусков жести и досок, а также хвороста, вмазанного в глину, и оставлял впечатление крайней бедности. В то же время все вокруг поражало своей красотой и необычностью.

Старик уверенно двигался по саду, словно позабыв о своей слепоте. Рядом с домиком выстроились маленькие сараюшки и клетки, в которых помещались кролики и такие животные, каких я до этого видел только на картинках в наших школьных учебниках: белка, лиса, морская свинка, еж, белые мышки, павлин, фазан.

В моей памяти надолго сохранилось это посещение; в течение нескольких дней я только и думал о странном старике и о его волшебном саде.

По вечерам в саду раздавалась грустная мелодия; переливаясь и звеня, она разносилась по всей деревне. Казалось, своим звучанием, то вкрадчиво-мягким, то рассыпающимся громкими трелями, она сотрясала застоявшийся в долине давящий, душный воздух. Возвращавшиеся с поля домой крестьяне на минуту останавливались: «Святой человек играет на кларнете!» Коровы, медленно и лениво разбредавшие по домам, поднимали вверх морды и начинали жалобно мычать.

Как-то вечером я, словно зачарованный звуками кларнета, вдруг принял смелое решение и бросился к дому старика. Спустя несколько минут я, затаив дыхание, уже прокрадывался на цыпочках в сад дядюшки Кисела. Старик сидел на скамейке перед своим крохотным замком, неподвижный, как статуя, и только пальцы его двигались, перебегая по клавиатуре кларнета. Я осторожно подошел еще ближе и, спрятавшись за кустом, решил отсюда понаблюдать за стариком. И вдруг моему взору представилось зрелище, крайне поразившее меня: перед старым кларнетистом на краю цветочной клумбы сидела совсем юная девушка в ярко-красном, как мак, платье. Своими тонкими руками она обвила колени и уткнула в них подбородок. Волосы у нее были черные как смоль. Вокруг лба их перетягивал сплетенный из маргариток веноч, а сзади они ниспадали черным дождем на ее обнаженные плечи. Задумчиво-строгое лицо ее казалось печальным. Она сидела неподвижно и смотрела прямо на старого кларнетиста, словно впитывая в себя нежную мелодию. Девушка напомнила мне сказочную фею, и я даже не удивился бы, если бы она вдруг вспорхнула с клумбы и закружилась между цветами в волшебном танце...

Наверное, с полчаса просидел я в своем укрытии за кустом. А старый Кисел все играл и играл на своем видавшем виды кларнете. Большинство мелодий я уже знал, так как часто слышал их по вечерам. Однако мелодия последней песни была для меня новой. Она показалась мне особенно звучной, зовущей вперед.

После этой песни кларнет дядюшки Кисела замолк. Он поло-

жил себе на колени инструмент и продолжал молча сидеть в характерной для слепых напряженной позе. Я взглянул на девушку. Она встала, несколько мгновений безмолвно постояла, а затем пошла медленными, упругими шагами. Она прошла совсем рядом мимо меня; я даже ощутил легкий, как ветерок, шелест ее платья. Я все смотрел и смотрел ей вслед, не в силах оторвать взгляда. Сейчас, когда девушка шла, она казалась еще более прекрасной. Осиная талия ее была перехвачена белым поясом; стройные ноги ступали легко и уверенно. Пройдя мимо меня, она пошла в дом и скрылась в двери. Я не смел пошевелинуться и решил выйти из своего укрытия, когда старик тоже войдет в дом.

Однако дядюшка Кисел неожиданно заговорил:

— Ты пришел?

— Ага, — ответил я. — А откуда вы узнали, что я здесь?

— Я слышал, когда ты пришел. Я узнал тебя по походке.

— Но ведь я очень тихо...

— Слепые лучше слышат, чем зрячие. — После минутной паузы он продолжал: — А ты не боишься?

— Нет.

— А меня обычно дети боятся... Хотя я люблю их.

Он снова помолчал. В моей голове теснилась уйма вопросов. Много мне хотелось узнать и о нем, и о девушке в красном платье. Однако что-то удерживало меня от того, чтобы спросить о ней.

— Скажите, пожалуйста, дядюшка Кисел, а правда ли, что вы цуцилист? — отважился наконец спросить я.

Старик удивленно поднял голову:

— Кто это тебе сказал?

— Да говорят... Говорят, что и песни, которые вы играете на кларнете, тоже цуцилистские.

— Это называется не цуцилист, а социалист. Но я не социалист.

— Это означает что-нибудь плохое?

— Нет, это не означает плохого, и все же я не социалист.

У меня как-то отлегло на душе. Значит, дядюшка Кисел не плохой человек.

— А песни, которые вы играете на кларнете?

— Это песни настоящих людей.

— А кто они такие?

— Бедные и честные... Но чего ты так далеко сел от меня? Садись поближе.

Я встал и подошел к нему. Дядюшка Кисел неуверенным движением протянул ко мне руку. Потом он ласково погладил меня по голове; кончики пальцев ощупывали мое лицо.

— У тебя интересное лицо.

— А вы совсем не видите?

— Совсем, мой мальчик.

— Давно уже?

— Уже двадцать пять лет.

— Наверно, очень плохо ничего не видеть?

Старик не ответил. Однако любопытство не давало мне покоя.

— И во сне не видите?

— Сначала я и после того, как ослеп, видел сны. Но уже давно я во сне слышу только звуки... Песни, мелодии, голоса людей, животных.

Мы долго разговаривали.

Он рассказал мне много интересного, о чем я раньше и понятия не имел. Старик говорил о том, что в Венгрии и во всех других странах рабочие и крестьяне — самые настоящие, самые лучшие люди. И все же наша страна не принадлежит им. Венгерские пролетарии однажды уже сбросили со своей шеи ярмо фабрикантов и помещиков, однако власть пролетариев была подавлена. Это было в 1919 году. На государство венгерских рабочих и крестьян напали со всех сторон. Вот тогда и дядюшка Кисел тоже сражался, был ранен и потерял зрение.

Уже стемнело, когда мы простились. Перед тем как выпустить меня из калитки, он положил обе руки мне на плечи.

— А о девушке, которую ты здесь видел, никому ни слова. Если узнают, что она скрывается у меня, случится большая беда, — взволнованно проговорил он. — Родителей этой девушки забрали жандармы, и ее заберут, если узнают, что она здесь.

— Я никогда никому не скажу об этом! — со всей искренностью заявил я.

— Я верю тебе, мой мальчик, — сказал старик на прощание. — Верю тебе.

После этого я часто заходил к старику. Меня влекли к нему уже не волшебный замок и не интересные животные. Гораздо сильнее привлекала меня тайна девушки в красном платье и интересные истории, пережитые стариком. Но девушку я больше не видел, да мы и не говорили о ней. Мне казалось, что она постоянно находилась в домике, так как дядюшка Кисел разговаривал со мной только в саду.

Дружба наша длилась всего несколько недель. Люди все больше и больше говорили о том, что война приближается к нам и что скоро фронт подойдет сюда.

Была уже осень. В тот вечер я напрасно прислушивался, ожидая игры старого Кисела, но кларнет его молчал. Обеспокоенный, я направился к маленькому домику. Может быть, слепой кларнетист заболел? По Главной улице в нестройных колоннах, на телегах и автомашинах двигались на запад немецкие и венгерские солдаты. Садовая калитка, обычно тщательно закрываемая старым Киселом, на этот раз была распахнута настежь. Я быстро пробежал через лужайку, усыпанную опавшими листьями. Моему взору представилась печальная картина.

Цветы растоптаны, дом разрушен, двери и окна открыты, по двору разбросаны различные вещи и предметы. Сиротливо пустовали сарайчики и клетки для животных.

Я зашел в домик.

Все здесь было перевернуто вверх дном. В крохотном помещении, которое никак нельзя было назвать даже комнатой, я увидел кое-что из женской одежды; там было и то платье цвета алых маков, которое я видел на черноволосой девушке.

Комок подкатил у меня к горлу от волнения. Среди поломанной мебели, разбросанных и растоптанных убогих вещей валялся и кларнет.

Обуреваемый тяжелыми предчувствиями, я испуганно смотрел на эти следы опустошения. Что же могло случиться с дядюшкой Киселом и прятавшейся у него девушкой? Кто и почему учинил эту жестокую расправу?

Потрясенный, я стоял один в маленькой комнатке и смотрел, ничего не понимая. Рыдания душили меня...

Через два дня советские солдаты нашли труп слепого кларнетиста на окраине деревни. Фашисты увели его туда и расстреляли на опушке леса.

Я был на похоронах старого Кисела. Он лежал в необструганном гробу; вместо савана тело его покрывало кроваво-красное знамя, такого же алого цвета, как платье черноволосой девушки.

Солдаты с красными звездами на пилотках провожали его в последний путь. Надгробную речь произнес советский капитан. Он говорил по-русски, а стоявший рядом переводчик переводил. Капитан сказал, что дядюшка Кисел был настоящим человеком. Революционером, коммунистом, боровшимся за счастье венгерского народа...

Это было как раз 7 ноября.

Девушку я с тех пор так и не видел и не знаю, что с нею случилось.

Кларнет и сейчас хранится у меня в шкафу, в деревянном футляре. Прах старого Кисела давно смешался с родимой землей. После его смерти никто уж больше не играл на кларнете. И все же я твердо убежден, что его чистая и звонкая музыка неумолчна.

Золтан Зелк

(ВЕНГРИЯ)

Ангелы



С лицом румяным, в белом одеянье —
Таким я представлял себе его,
Такой игрушечный сусальный ангел
Летал по небу детства моего.
Я возмужал, и небо стало алым,
И дым клубился, облака темня,
И на земле, а не в лазурном небе
Приветствовали ангелы меня.

Старушки добрые! В сосновых избах
Далеких русских деревень и сел
Тепло, отогревающее сердце,
Скиталец замерзающий нашел!
Казалось мне, что над землей кровавой
Запели ангельские голоса,
Что из-за туч и черных клубов дыма
Блеснули голубые небеса.

Морщинистая добрая старушка
Отогревала ноги мне, как мать,
Чтоб я в сорокаградусную стужу
С товарищами дальше мог шагать.
Морозы отгонял с ее порога
Потрескивавший в русской печке жар,
А над большим горшком с молочной кашей
Дымился вкусно беловатый пар.

Она постель на печке мне постлала,
Чтоб, как ребенок, сладко я уснул,
Сама же в полночь шла через сугробы,
Услышав поезда далекий гул.
Ласкавшие по-матерински руки
Сдвигали рельсы на пути со шпал,
И поезд вражеский с визгливым стоном
С откоса насыпи на дно упал.

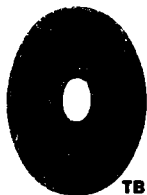
Морщинистая добрая старушка
Дала у печки в стужу мне приют,
И понял я, что не в лазурном небе,
А на земле те ангелы живут.
О, русские далекие деревни,
Бревенчатых избушек длинный ряд,
Их души, словно ангельские крылья,
Над замерзающей землей царят!



Анатолий Жигулин

(СССР)

Отвлекающий десант



Отвлекающий десант —
Двадцать девять краснофлотцев.
Отвлекающий десант...
Скоро, скоро кровь прольется!

Отвлекающий десант
С хрупкой маленькой подлодки.
Наливает лейтенант
По сто грамм казенной водки.

И ясна, понятна цель,
Невозможное — возможно:
Взять поселок Коктебель
И держаться — сколько можно.

Налететь, напасть, отвлечь —
Без подмоги, в непогоду.
И навеки в землю лечь.
В эту землю, в эту воду.

Отвлекающий десант.
Есть такой в морском уставе.
Отвлекающий десант —
Верный путь к посмертной славе.

...Болью полнится душа
На краю волны и суши:
Двадцать девять ППШ
Против сотни вражьих пушек!..

После всех побед и бед
Их припомнят и прославят.
Через тридцать долгих лет
Здесь им памятник поставят.

На воде растаял след...
Двадцать девять краснофлотцев!..
Через тридцать долгих лет
Лишь один сюда вернется.

Лишь один остался жив.
Плакал горькими слезами,
Две гвоздики положив
На холодный серый камень.



Аурел Михале

(РУМЫНИЯ)

Бирюк

М

ы во второй раз сбились с дороги. Спускалась ночь, а мы еще не перевалили через гору. Лес густел, приходилось пробиваться меж елями почти в полной темноте. Только с одной стороны, справа, мерцало на небе несколько звезд. Ночь была сырая, холодная, тихая. Ветер слегка раскачивал ели, и шорох веток, заглушающий наши шаги, будто стекал вниз к долине, как неумолкающий говор гор. Мы шли наугад. Позади остались бескрайние дубовые леса и полк в селе у подножия горы. Некоторое время нас преследовал затухающий шум боев. Уже два дня, как наши бились с немцами на шоссе, ведущем к Банска-Бистрице, но нам никак не удавалось оттеснить их. Город прикрывал немцев с тыла, и они ни за что не хотели его отдавать. Пробираясь сейчас ночью через ельник, мы время от времени оглядывались на долину. Она полыхала огнями взрывов. Пламя дрожало, росло, ширилось, металось багрово-сизой птицей. На мгновение мы остановились, глядя вниз, пытаясь разобраться в ходе сражения.

— А бой разгорается, — заметил я шепотом сержанту Глиге.

— Нет, — ответил он. — Сегодняшний окончен, немцы его проиграли. Трусят.

Мы продолжали путь. В гуще ельника сержант остановился. Я растянулся рядом с ним, дыша с трудом, прерывисто и часто.

— Что, невольно больше? — спросил Глига.

— Устал, — ответил я уклончиво.

Глига положил автомат на землю так, чтобы он был под рукой, и вынул из кармана компас. Диск его слабо светился в темноте.

— Не знаем даже, куда идем, — пробурчал я.

— Знаем, — сердито отрезал Глига, не спуская глаз с компаса.

Он был прав. Мы знали. Прошлой ночью этот же путь проделала наша пятая рота. Полк оставил тогда шоссе, предполагалось изменить направление удара. Надо было перевалить через гору, зайти немцам в тыл, форсировать Грон и внезапно атаковать Банска-Бистрицу в лоб. Но задуманный переход смогла проделать только наша пятая рота. Немцы, сосредоточившись на шоссе и атаковав полк с фланга, принудили нас перегруппироваться и принять бой. Рота, переправившаяся через горы и форсировавшая Грон,

оказалась отрезанной на окраине города и взятой противником в клещи.

— Вы должны во что бы то ни стало добраться к пятой роте, — приказал нам полковник. — Она занимает оборону между спичечной фабрикой и железной дорогой.

Вручая Глиге конверт с приказом, он добавил:

— Здесь вот что написано: рота должна любой ценой продержаться до завтрашнего утра. Я просил помощи у русских частей, тех, что справа. Завтра утром, одновременно с нами, пойдет в атаку и советская дивизия в том же направлении: спичечная фабрика — железная дорога — госпиталь. Держитесь все время севера. Не отклоняйтесь ни вправо, ни влево... Север — север — север!

И вот уже шесть часов, как мы идем на север. Из них добрых три мы потратили на обход лесных зарослей, отвесных скал, блуждая в поисках дороги. Чаще шли наугад, невольно сворачивая вправо, в сторону расположения советских войск.

— Опять отклонились, — с досадой прошептал Глига. — Надо взять левой.

— Чтоб напороться на немцев?

— Север там, — буркнул он угрюмо.

Я не стал ему возражать. Знал его нрав. Он был человек замкнутый, неразговорчивый, упрямый. Никогда не удавалось переубедить его, заставить отказаться от принятого решения. Если что-нибудь было не по нем, он замыкался в себе и молчал, выказывая тем свое недовольство. А если что-либо втемяшилось ему в голову, никто не мог его остановить. Он упрямо добивался своей цели, действовал, действовал и молчал. Поэтому у нас прозвали его Бирюком. Но душа у Бирюка была чудесная: был он справедливым и добрым. Солдаты говорили про него шутя: «Его хоть к ране прикладывай». Пока Глига рассматривал компас, я думал: «Полковник не мог сделать лучшего выбора. Если сказано — север, севера будет держаться!»

Бирюк между тем спрятал компас в карман и тронул меня за рукав. Мы снова пустились в путь. Шли пригнувшись по ельнику, держа автоматы наготове. К нашему удивлению, мы вдруг почувствовали, что начинаем спускаться. Значит, перевалили через вершину. Склон по эту сторону горы был круче и труднее. Мешал нам и молодой густой лес. Но мы знали одно: внизу, у подножья, — Грон, а на том берегу — Банска-Бистрица.

На опушке мы снова остановились. Лес впереди начал редеть. Между верхушками елей вновь замерцали далекие звезды. Ветер стих. Бирюк опять сверил по компасу направление и тут же молча сунул его в карман. Я понял: мы шли правильно.

Передохнув, двинулись дальше. Но не успели сделать и нескольких шагов, как рядом ударила автоматная очередь. Другая начисто срезала ветку прямо над нашими головами. Пришлось за-

лечь. Бирюк пополз назад и дернул меня за ногу, знаком приказывая возвращаться в ельник. Я тоже попятился, не спуская глаз с того места, откуда был открыт огонь.

— Зря мы зашли сюда, — прошептал я испуганно.

Бирюк зажал мне рукою рот. Смолкли и немецкие автоматы. В лесу снова установилась тишина — глубокая, враждебная. Мы и немцы выслеживали друг друга...

— Их немного, — шепнул мне Глига на ухо. — Случайно просочились между нами и советскими. Если минует их, не встретим больше никого.

«Легко сказать, минуем, — подумал я. — И откуда мы знаем, что их немного?» Но тут Бирюк неожиданно толкнул меня: между деревьями показалась группа немцев. Их было действительно немного, всего пятеро. Очевидно, какой-то патруль, прочесывая лес, случайно забрел сюда. Ясно было, что они стреляли вслепую, со страху, встревоженные шумом наших шагов. Немцы остановились в просвете, на опушке, выстроившись в ряд, как мишени на стрельбище. Я поднял автомат, собираясь открыть огонь. Но Глига отвел мою руку, шепнув:

— погоди! Может, они подойдут ближе... Если не прикончим всех разом, лучше дать им уйти... Они нас не заметили.

Немцы дальше не пошли. Некоторое время они прислушивались к тишине леса, потом сели на землю. Закурили.

— Не стоит обходить их, — опять шепнул мне на ухо Глига. — По короткой очереди проходи каждый — и им крышка!

Мы долго прицеливались. Бирюк дал знак, и мы лихорадочно застрочили. Пятеро немцев больше не шелохнулись. Но из леса на нас обрушился свинцовый дождь. Взбешенные пулеметы косили ельник у самой земли в пяди от нас, не позволяя шевельнуться. Но Бирюк все же подал мне знак, и мы поползли под гору, забирая влево. «Прямо в пасть к гитлеровцам», — подумал я со страхом. Но делать было нечего, и я последовал за сержантом. Через несколько сот метров мы остановились и выстрелили наугад. Немцы сразу перенесли огонь в нашу сторону.

— Пусть себе стреляют! — шепнул Глига. — А мы — айда назад! Быстро! Обойдем их.

Пулеметы продолжали отчаянно строчить нам вслед. Сыпались срезанные пулями ветки, немцам казалось, что этот шорох в ельнике вызван нашим передвижением, и они снова открывали бешеный огонь. Мы же за это время ползком обошли их справа и, оказавшись у них в тылу, сели передохнуть под деревом. Лес все еще гудел от выстрелов.

— Так и будут теперь палить до утра! — усмехнулся Бирюк.

Я не ответил, ощутив вдруг сверлящую боль в ноге, ставшей внезапно горячей и влажной. Боль усиливалась, захватывая и колено. Я дотронулся до ноги рукой и выпачкал ее в крови.

— Меня ранили, — пробормотал я испуганно.

Сгоряча я не почувствовал удара пули. Бирюк подполз ко мне и дружески сжал плечо, успокаивая. Затем снял обмотку, разорвал штанину и перевязал мне колено.

— Пошли, — заторопил он. — Нельзя медлить.

Я попытался встать, но нога подвернулась, и я упал на четвереньки. Ступить на раненую ногу было невозможно. Боль сверлила душу и тело. Мгновение мы оба молчали. Стрельба позади нас усиливалась.

— Глига, брат, — простонал я. — Не оставляй меня немцам. И мертвого не оставляй.

Бирюк встал на колени, приподнял меня и заставил рукой обхватить свою шею.

— Держись за меня хорошенько, — шепнул он. — Стисни зубы, терпи... Доберемся!

Мы снова пустились в путь. Спуск становился все труднее. Бирюк почти тащил меня на себе. Я чувствовал на лице его горячее, прерывистое дыхание. Через некоторое время он опустил меня на землю, а сам сел рядом, держа палец на курке. Я понимал, что ему не под силу тащить меня дальше по такой дороге, а затем еще переправлять вплавь через Грон.

— Иди один, Глига! — пробормотал я. — По крайней мере, хоть ты доберешься с приказом.

Он молча и как будто недоверчиво посмотрел на меня.

— Если доберешься благополучно и будешь еще в силах, — осмелился я высказать свою сокровенную просьбу, — вернешься и заберешь меня, не то...

Он опять ничего не ответил, только отрицательно покачал головой. Потом поднял меня и, взвалив на спину, как мешок, снова двинулся вниз. Так он тащил меня целый час. Второй раз опустил на землю уже в кустарнике на берегу Грона. Река катила у наших ног свои бурные волны, билась о скалы, ревела. На том берегу, на расстоянии каких-нибудь трех-четырёх сотен метров, мы ясно различали тень фабричной трубы и правее — блеск железнодорожных рельсов. Там гремели выстрелы, ночную тьму разрывали вспышки взрывов, клубился дым.

— Наши, — прошептал взволнованно Глига. — Бьются с немцами. Мы должны к ним добраться... Только бы выстояли до утра, а там русские помогут...

Мы довольно долго задержались в кустарнике, исследуя окрестности, прислушиваясь. Бирюк в раздумье смотрел на воду. Боль буравила мне кость, становилась нестерпимой. Но я не осмелился напомнить сейчас о себе. Я и так знал: Глига ломал голову над тем, как нам вдвоем переправиться на тот берег. Наконец он ушел в лес, но вскоре вернулся, волоча за собою еловый ствол.

— Ухватишься за него, — пояснил он.

Затем вынул из нагрудного кармана конверт и, запятив его под кожаную подкладку каски, стал осторожно спускаться к воде, таща за собою ствол. Я крепко вцепился в дерево обеими руками и вместе с ним соскользнул в бурлящую реку. Глига энергично поплыл к противоположному берегу. Вода вокруг ревела, колотила нас, с силой ударялась о ствол. А Бирюк все плыл, борясь с волнами и держа ствол, в который я судорожно вцепился. Казалось, мы быстро достигнем другого берега, но вдруг, как раз когда мы находились на середине реки, над нами вспыхнула ракета. Ослепительный свет повис в воздухе. Поверхность реки за сверкала. Все вокруг осветилось, как днем. Помню, я даже различил капли воды на каске Бирюка... В то же мгновение вокруг нас забарабанили по воде пули. Стреляли слева, из-за излучины реки. Я зажмурил глаза... и потерял сознание. Очнулся в кустарнике на том берегу Грона. Я был один. Рядом лежали каска и автомат Бирюка.

— Глига, брат, — шепотом позвал я его...

Я увидел его в реке, когда новая немецкая ракета на минуту разорвала тьму. Он толкал ствол дерева к середине течения. Пулеметные очереди скрещивались прямо перед ним. И еще раз я увидел, как он судорожно заколотил по воде руками, борясь из последних сил, вынырнул, снова погрузился в воду и исчез. А ствол все плыл вниз по течению, поливаемый пулями.

«Глига погиб!» — с ужасом подумал я и, хотя чувствовал себя слишком слабым, чтобы попытаться спасти его, все же пополз к воде... Но в это мгновение рядом раздался плеск, и Бирюк выбрался из воды. Он стонал, на груди у него сквозь китель проступила кровь. Его тоже ранили. Я тупо, бессмысленно уставился на него, не в силах что-либо произнести.

— Надо идти... сию же минуту, — с трудом выдавил он из себя, — пока немцы палят по стволу.

Он поднял каску и автомат и, зажав одной рукой рану на груди, пополз от берега. Я потащился за ним. Мы ползли, не сводя глаз с рельсов, блестящих впереди. Пули ложились возле нас все реже. Немецкие пулеметы обрушили всю свою ярость на ствол дерева, продолжавший плыть по течению. Над ним непрерывно вспыхивали ракеты, выискивая нас.

У железнодорожного полотна мы остановились. До наших осталось не более двухсот метров, но ни я, ни Глига не могли уже сдвинуться с места. Мы потеряли слишком много крови, и силы наши иссякли.

— Что делать, Глига? — спросил я в отчаянии.

Бирюк не отозвался. «Уж не умер ли?» — подумал я со страхом, подполз к нему и перевернул на спину. Струйка крови показалась в углу его рта. Но глаза блеснули.

— Держись за мою ногу, — прошептал он. — Мы должны добраться!

Перевернувшись на живот, он снова пополз, причем так быстро, как никогда. Я понял, что он напрягает последние силы. Некоторое время я еще держался за его ногу, но, почувствовав, что он вконец обессилел, выпустил ее и остался лежать у железнодорожных рельсов, глядя на далекие звезды и прислушиваясь к свисту пуль, пронесившихся надо мной. «Хоть бы он дошел!» — мелькнула у меня мысль, и я потерял сознание.

...Очнулся я на рассвете. Лежал на носилках в помещении командного пункта пятой роты. «Значит, он все же добрался?» — подумал я и, приподнявшись на локте, увидел рядом, на других носилках, распростертое тело Бирюка. Он хрипел. Лицо у него было мертвенно-бледное, глаза закрыты, брови нахмурены, на губах запеклась кровь. Мы были одни. Снаружи шел бой, гремели выстрелы, земля содрогалась от взрывов.

Я спустился с носилок и подполз к Бирюку.

— Глига, брат! — шепотом позвал я его.

Бирюк раскрыл черные, лихорадочно блестящие глаза.

— Слышишь? — прошептал он чуть внятно, с горькой усмешкой. — Атака началась. Мы успели вовремя.

Некоторое время он прислушивался к взрывам.

— Это «катюши»! Советские товарищи наступают! — Лицо его при этом словно просветлело. — Разобьем немцев.

На миг я подумал, что силы вернулись к нему, а раны в груди не так глубоки. Но я ошибся. Бирюк схватил мою руку и, стиснув, прошептал слабым, прерывающимся голосом:

— Я тащил тебя всю ночь... Прошу тебя об одном... Вынеси меня отсюда... чтоб я увидел...

Не знаю как, но я вытащил его на порог.

Ночная мгла редела. Не переставая, била советская артиллерия, огненными вспышками разрывая тьму. Без устали стреляли «катюши». А через некоторое время справа от наших позиций появились волны советской пехоты. Тогда и наши выскочили из окопов и вместе с советскими бойцами пошли в атаку.

— Видишь, брат Глига? — тихо спросил я.

Но Бирюк не ответил. Он умер у меня на руках с широко раскрытыми глазами, со светлым, умиротворенным лицом...



Вера Марковичова - Затурецка

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Пулеметная лента

С

тарая Агнеша Снопкова вздохнула свободнее, когда эсэсовец Кнапп оставил ее дом. Только теперь почувствовала она, как устала. Уже несколько недель Агнеша почти не смыкала глаз. Первая вставала, последняя ложилась, но и глубокой ночью, когда все спали, прислушивалась, не случилось ли чего. Если кто-нибудь заходил к ним, она поднималась из-за стола, отрывалась от работы и с каждым заводила разговор.

И правду сказать, народу в последнее время перебивалось у них немало. То и дело мелькали здесь серые немецкие мундиры, особенно с тех пор, как в доме поселился этот Кнапп.

Присутствие Кнаппа ее тяготило. Она сама не знала почему. Держался он вполне учтиво, особого ухода за собой не требовал. Охотно вступал в разговор с Агнешинными сыновьями — Адамом и Мартином, был вежливо-сдержан с пригожей Катой, женой Адама, а маленькому Тонко, их сыну, всегда приносил сладости; был чистоплотен, не пил, не повышал голоса. И все-таки Агнеша постоянно жила в каком-то страхе. Проходил ли он в скрипящих своих сапогах через их комнату — она настораживалась, будто квочка, готовая защищать своих цыплят; останавливался перекинуться словечком — она выпячивала впалую грудь и вставала перед домашними, словно ждала удара. Немцы, квартировавшие у них раньше, держались развязней, но никогда прежде не испытывала она такого страха, какой внушала ей холодная физиономия Кнаппа.

— Слава богу, съехал наконец, — вздохнула Агнеша с облегчением.

На скамье у печи было тепло. Теперь можно и вздремнуть спокойно. Глаза Агнешы слипались. Но вот она приоткрыла их опять. Как здесь сейчас тихо! Покоем веет от старого некрашеного стола, кирпичной плиты, полки с посудой, оббитого эмалированного умывального у двери, подслеповатого зеркала над ним. Когда-то в былое время смотрелась в него сама Агнеша, деревенская красавица, кровь с молоком. Там же на стене небольшой портрет — фотография молодого мужчины в военном мундире австро-венгерской армии, единственная фотография покойного мужа Агнешы.

Он прислал ее, когда был еще на военной службе, вместе с письмом, в котором заклинал Агнешу его дожидаться. У молодого человека на фотографии прямой, несколько суровый взгляд. Примечательны губы — слегка искривленные, но на фотографии, как и в жизни, чуть приоткрытые, будто жаждущие чего-то. Точно такие же у их младшего сына Мартина. Он — копия покойного отца.

Справа от фотографии вешалка, на ней две мужские шляпы — Адама и Мартина. Обе старые, давно потерявшие форму. Верх Адамовой шляпы провис, прибитый ливнями. И выглядела она куском старого войлока, вконец истрепавшегося под дождем и ветром. Иной была шляпа Мартина. Справа поля были пригнуты, как оттянула их его рука, когда он отряхивал шляпу от дождя или когда крепко насаживал себе на голову. Среди тысячи шляп узнала бы Агнеша эту шляпу. Даже с завязанными глазами. По запаху. Шляпы парней обычно пахнут тяжелым мужским потом и табаком. Шляпа Мартина благоухала ветром с гор, хвоей и дымом костра.

Агнеша с наслаждением вздохнула, словно вдыхала этот воздух. Сон смежал ей веки.

Вдруг она вздрогнула. Что это там, на вешалке, рядом со шляпами? Глаза Агнешы расширились от ужаса. Возле шляпы Мартина висело что-то чужое — длинное, стальное, страшное. Пулеметная лента. От эсэсовца Кнаппа все же кое-что осталось. Оказывается, он еще не ушел. У Агнешы дремоту как рукой сняло. Дрожа всем телом, она порывисто встала.

Адам и Мартин — они сидели за столом — заметили ее движение. Что это мать так испугало? Ого! Пулеметная лента Кнаппа! Оба разом вскочили.

Первым у вешалки оказался Мартин. Сорвал ленту и даже присвистнул. Вот это добыча!

Но Адам уже надевал свою сплюснутую шляпу.

— Дай-ка ее сюда, — сказал он, — отнесу, чтоб глаза не молила.

Мартин отступил назад, пряча ленту за спину.

— погоди. Скажи лучше, что ты задумал?

— Кнапп где-нибудь поблизости. Я догоню его.

— Очумел, что ли?

— Дай. Чтоб духу ее здесь не было.

Мартин положил руку на плечо брата.

— Адам, здесь больше сотни патронов. А это уж, сам понимаешь, пятерых-шестерых наповал...

Адам решительно сбросил с плеча руку брата, как отбрасывают неприятную правду.

— Дурной! Речь идет о наших с тобой головах!

Мартин с насмешкой взглянул на него.

- Две жизни против пяти, шести или даже десяти. Ну как?
- У меня только одна жизнь. Давай ленту!
- Я найду ей место получше Кнаппова плеча!
- Знать об этом не хочу! — зажал уши Адам.
- Да я тебе и не скажу.

Адам понял, что слова тут не помогут. Молча кинулся он на брата, хотел схватить его за плечи, но Мартин увернулся, отступил назад и быстрым, ловким движением поставил перед Адамом стул. А сам шаг за шагом продвигался вокруг стола к дверям. Но в дверях стояла мать.

— Погоди, — остановила она сына. — Далеко ли наладился среди бела дня?

— Да так... Это вот спрячу. Пустите!

Но Агнеша застыла, как статуя. Мартин не мог пройти.

Адам сплюнул.

— Ну и оставался бы там у них. Не навлекал бы беды на родной дом. У меня ведь жена, мальчонка малый.

— Жить хочется каждому, — блеснул глазами Мартин, — а все-таки...

— А все-таки ты на рожон лезешь! Делай что хочешь, когда это касается тебя, но если вся семья...

Адам не договорил, ринулся на брата. Они схватились. Агнеша рванулась их разнимать — откуда только сила взялась.

— Ну, хватит! Никто из вас с лентой этой из дома не выйдет. Мартин, повесь ее туда, откуда взял. Догонять немца мы не станем. Это уж точно. Если помнит, где оставил, к вечеру вернется и заберет. А не придет, лента твоя, Мартин.

Сыновья не посмели перечить матери. Перед ее житейской мудростью отступили и Адамов страх, и Маринова горячность.

— Ступайте-ка лучше работать! — прикрикнула Агнеша на обоих.

Молча, косясь друг на друга и на мать, Адам и Мартин вышли.

Агнеша осталась в кухне одна. Пулеметная лента, будто змея, зловеще поблескивала в лучах вечернего солнца. С какой радостью она избавилась бы от нее! И все это в ее власти, стоит только позвать Адама. Она уж поддалась было искушению, но не смогла разжать губ.

Агнеша снова улеглась на скамье, хотя знала, что не заснет больше. Думала о сыновьях.

Адам и Мартин были совсем разные. Адам — плечистый, приземистый, Мартин — высокий, стройный, будто ель. Адам с утра до вечера в заботах по хозяйству, а в голове Мартина, кроме хозяйства, было еще сто дел. Суетился он меньше, но в работе был куда ловчей Адама. А вот этого-то увалень брат никак ему простить не мог. Друг с другом они не ладили. Одно время, когда в семье начались раздоры, Мартин вовсе ушел из дому. Работал

на подбрзовском металлургическом заводе. В первые же дни Словацкого восстания Мартин взялся за оружие. Повстанцы крепко всыпали тогда фашистам при Телгарте. Его ранило. Сделать перевязку Мартин согласился, а вот с передовой не ушел. Когда войска повстанцев подались в леса, Мартин вернулся в деревню. В одну из темных дождливых ночей он постучал в окно материнского дома. Потом переоделся в обычную свою одежду. Адам хотел поскорее сжечь его военную форму, но Мартин высмеял брата. «Уж не думаешь ли ты, что мы будем сидеть сложа руки? Вот придут русские, пойдем с ними на Берлин!» Форму свою Мартин завернул в клеенку с кухонного стола и закопал, даже Агнеша не знала где.

Братья снова хозяйствовали вместе. Споры в семье не стихли, даже, напротив, участились, стоило Адаму заметить, что Мартин каждую ночь исчезает из дома и возвращается только под утро, весь заляпанный грязью. Его волосы пахли тогда ветром, хвоей и дымом костра.

Адам догадался, где бродит брат. Всеми силами старался он досадить Мартину, выжить того из дому. Пусть, мол, в город, на фабрику, идет или к тем, к кому по ночам таскается.

Мартин же только посмеивался. Он, конечно, с радостью ушел бы к друзьям в партизанскую землянку. Только кто тогда будет носить им вести с воли и провизию?

Мартин, Мартин! Агнеша всегда корила себя за то, что Мартин ближе ее сердцу, чем старший сын Адам. Он люб ей был в каждом слове своем, в каждом порыве. Ни у кого в деревне не было такой походки — гордой, легкой, стремительной. Девчата глаз с него не сводили. Мартин мог бы окрутить любую, да только не о том были его мысли. Ох, какую-то он выберет? Эву, у которой глаза как угольки? Или насмешницу Анчу — уж как она его приманивала, а к себе так и не подпустила. Около этой он больше всего и увивался. Или тихую, преданную Зузку? Ну, ее-то разве что из жалости полюбить можно! А так — хорошей была бы женой и невесткою. Но Мартин... Он советов не любит. Только Агнеша заведет разговор о женитьбе, он за порог... А что, если подружкой его станет какая-нибудь нездешняя, из тех, кто прячется сейчас в горах? Агнеша представила ее себе, стриженую, в спортивных штанах и в солдатских сапожищах, с автоматом в руках. Агнеша уже видит ее в подслеповатом зеркале напротив, видит, как расчесывает она свои короткие волосы. А может, подружкой Мартина будет другая, городская, с фабрики? Мысленно рисует она новый образ рядом с зеркалом на стене.

Но что это там?... Железная змея, битком набитая патронами... Агнеша устало закрыла глаза. Господи... Она отгоняла мысль, которая пронзила ее до мозга костей. Нет, нет, нет! Нужно молиться. «Отче наш, иже еси на небесех...» Но почему не идут слова, по-

чему не может она молиться? Не может с того самого часа, как там, под Боровой горкою...

Агнеша возвращалась в тот раз от сестры домой. Муж сестры лесничий. Вдруг услышала она немецкую речь. Схоронилась в кустах и видит: немцы гонят толпу — стариков и молодых, мужчин и женщин. Было их там около восьмидесяти. И у всех в руках лопаты. Приказали им вырыть ров.

Копали они долго. Нет-нет кто-нибудь падал в изнеможении. Но вот наконец ров, метра два шириной, раскрыл свою пасть. Копавшим приказали выстроиться у рва, напротив них стали солдаты с заряженными винтовками. Главный приказал им прицелиться. В руке он держал фотоаппарат. Отсчитал по-немецки: «Раз! Два!», но «Три!» не скомандовал — и сфотографировал заключенных. Солдаты не выстрелили. Тогда он зашел с другой стороны. И снова отсчитал: «Раз! Два!» — и опять сфотографировал. Наконец просчитал до трех. Раздался залп. И он снова фотографировал.

Мертвых и раненых немцы побросали в ров и засыпали землей. И долго потом из могилы слышались стоны. Когда они стихли, солдаты утрамбовали сапогами землю и ушли.

С той поры в мозгу у Агнеши что-то засело. Что-то чужое, инородное, словно заноза в ноге, трещина на ногте, мучительное, как нарыв. То, чему нет места в человеческих мыслях. Но как ни хотела, избавиться от этого Агнеша не могла.

Темнело. Пулеметная лента на вешалке казалась теперь темной, отвратительной петлей, капканом. А нацелился капкан на людей. «Ой, — молнией пронеслось в голове Агнеши, — уж не ловушка ли это? Уж не забыл ли ее Кнапп здесь нарочно? Да, так оно и есть! Нужно позвать Адама: пусть отнесет ленту в комендатуру».

Агнеша хотела позвать сына, но лишь слабо застонала.

В соседней комнате слышались шаркающие шаги Адамовой жены Каты. Была она красивая, полная, белая. И ленивая. Даже думать ленилась. За это Агнеша не любила ее.

— Что с вами, мама?

Агнеша лежала молча, бледная, уставившись в землю.

— Может, Адама кликнуть? — тягучим голосом спросила Ката.

Агнеша с трудом разжала губы. Она хотела сказать «да». Но... Почему, почему с них сорвалось «не-ет»?

Разве не дорог ей Мартин? За него она отдала бы всю кровь свою до капли. Но почему, почему она сказала «нет»? Значит, есть что-то другое, дороже Мартина. Есть или нет? И что это? Что?

Невестка, все так же шаркая, ушла. Но тут дверь распахнулась и в комнату не вбежал — влетел сын Каты и Адама, Тонко. Шестилетний темноволосый парнишка с ямочками на щеках и подбородке. Агнешин внучек.

Он вбежал в избу, подскакивая, как щенок. Тонко никогда спокойно не ходил и не сидел. Тонко бегал, валялся, скакал, падал. Не заживет на коленке одна болячка — глядь, а там уж новая. Упадет, поплачет немножко, но не успеют и слезы высохнуть — он снова мчится куда-то.

На дворе у Снопковых всегда было полным-полно ребятни — и постарше его, и помоложе. Где Тонко, там шум да веселье. Как-то заболел он дифтеритом, так все други-приятели его сидели по домам и томились от скуки.

Тонко вскочил к Агнеше на скамью. Стянул с головы ее платок и прижался губами к уху. Она ощущала теплое дыхание мальчика. Запах разгоряченного детского тела был приятен ей и мил.

— Бабушка, — шептал Тонко, — очень есть хочется. Дай булочку.

— После обеда я тебе уж раз давала, — напомнила ему старая Агнеша.

— Давала. Но я тогда одного червячка заморил. А теперь и другой уж есть просит.

— Вечерять не будешь.

— Ой-ой! До вечера у меня и третий запросит! — молил бабушку Тонко.

Нет, не сидится ему на месте. Подскочил, пританцовывая, к столу, оседлал стул, схватился руками за спинку и вот уже скачет, скачет...

Тонко, Тонко, дорогой ее внучек, радость бабушки и утешение... Агнеша достает из буфета сладкие булочки и одну из них протягивает Тонко. Самую пышную и посахаренную. А Тонко уже рядом и обнимает, обнимает ее, чуть не душит от радости. А подбородок его с ямочкой весь в повидле!

— Бабушка, — гудит с набитым ртом Тонко, — бабушка, когда вырасту, пойду в партизаны.

— А почему, Тонко? — спрашивает его Агнеша.

— Гм, — раздумывает малыш. — Мы в войну начали играть, а ничего не получилось. Все хотели быть партизанами, а немцами никто.

И он вихрем умчался прочь.

Дети, дети! И у вас те же мысли, что у взрослых, у всей деревни. Агнеша улыбается. Страх ее прошел. Да, мы будем партизанами, Тонко!

Она взглянула на вешалку. Пулеметная лента все так же неподвижно висела там, но уже не пугала ее. Что ж, пусть Мартин отнесет ее туда, где она нужна. Агнеша сняла ленту. Ката и Тонко ничего не должны знать. И она спрятала ленту под перину.

За ужином Адам не сказал ни слова и злой ушел к себе. Ката лениво мыла посуду. А Тонко состязался с Мартином в еде. «Третий червячок» не заставил себя ждать.

Ночью Агнеша не спала. По крыше барабанили капли дождя. Она слышала, как обувался Мартин и как укладывал свою котомку: вся деревня собирала для партизан провизию. Агнеша сама принесла ему пулеметную ленту. Мартин улыбнулся. То-то будет радости в землянке! Партизаны давно раздобыли немецкий пулемет, да вот патронов маловато. А им так нужно пробиться в соседнюю долину, где действовали отряды покрупнее! Остаться в этих местах становилось опасно. Словом, лента была очень кстати.

Мартин аккуратно завернул провизию и пулеметную ленту в бумагу, сверху обернул еще и клеенкой. Набитая до отказа котомка была увесиста.

Агнеша хотелось проводить сына на задворье и там попрощаться с ним, но она знала, что Мартин этого не любит. Легко ступая, он вышел во двор, тихо притворил за собою дверь. Бесшумно прошел через двор к гумну.

«Мартин, Мартин! Ты уже в поле... Вольный, как птица. Но птица приметная, с ярким пером. И всюду на тебя готовят силки», — горевала мать.

Тревога за сына то накатывалась на нее волной, то отступала. Знала она, какой он осмотрительный — в темноте видит, как сова, чует, как охотничий пес. Никто не заметит его, зато он увидит каждого. Все тропы знакомы ему, все дороги.

Но кругом столько опасности, столько винтовок, столько стражи!

А время идет — за минутой минута. Вот Мартин, наверное, уже у Боровой горки. Там, у этого страшного места! Сейчас он у целебного источника... Бьют часы. Теперь Мартин у Матейевой скалы. Среди своих. Недавно он рассказал ей, где они находятся.

«Мама, — сказал он ей тогда, — если со мной приключится что, пошлите к ним Ондreja Филипова».

«Если со мной приключится что!»! Сколько раз уходил он туда с такой мыслью. И ведь всегда готов подшутить, экий весельчак и озорун!

Сейчас он, наверное, уже у партизан, сидит там с ними. Рассказывает, что здесь делается. Они совещаются. Обсуждают планы. Может, и смеются. Может, он держит сейчас за руку ту, стриженую. Может быть...

Дверь тихонько отворилась. Мартин!..

— Ну как? — спросила она.

Мартин нахмурился. Пройти не удалось. Всюду посты, караульные стоят цепью. Добрался он ползком лишь до источника. Котомку спрятал под камень справа. Там его тайник с детства. Попробует завтра пройти.

Мартин стащил с себя грязную одежду. Поворочался в постели, тихонько бранясь. Потом вдруг мгновенно уснул.

Мартин! Тонко! Мысли Агнеши беспрестанно бродили от одного к другому — две светлые точки, два огонька в ее жизни. Ради кого, как не ради них, живет она сейчас?

Да ведь есть еще что-то... То, что вошло в душу и мучит ее с того страшного дня у Боровой горки, — ненависть. Но ведь она не хочет ненавидеть людей. Не хочет... но должна. Как же иначе?

Глаза затуманил беспокойный сон. Она видит источник под деревом. Вода бьет из него, кипит. Вкусная, кисловатая минеральная вода. Справа камень шевелится. Из-под него выползает змея, сплошь унизанная патронами. Пулеметная лента.

Агнеша вскрикнула и проснулась. Светало. Нет, она больше не ляжет. Нужно только смочить припухшие веки. И работать, работать. Занять руки, занять мысли.

Она принялась готовить. Встал Адам, пришел завтракать. Взглянул на спящего брата и злобно сплюнул.

— Что, их милость еще почивать изволят? Пейя подковать нужно. Давно пора бы уж отправиться.

— Сходит, сходит. Пусть поспит чуток, — сдерживает Адама мать, очищая Мартинову одежду.

— Славную тропку выбрал братец, ничего не скажешь! Что ж, пусть делает, как знает. Но козь случится что, пусть сам и расхлебывает. Мне до того дела нет.

Адам ушел, хлопнув дверью. По соседней комнате, шаркая, ходила Ката, как всегда, еще растрепанная, неумытая. Не слышно было и Тонко. Малыш спал крепким, глубоким, здоровым сном.

Проснулся Мартин. «Ну не странно ли, — размышляла Агнеша, — поутру человек обычно непригляден — волосы спутанные, лицо потное, глаза заспанные. А у Мартина все иначе: поднимается с постели розовый, свежий, ясноглазый. Даже взлохмаченные волосы не портят его, как не портят они ребенка».

Мартин улыбнулся матери и вдруг посерьезнел. А губы его приоткрылись, словно от жажды.

«Что нужно от жизни этому большому мальчику? — подумала вдруг Агнеша. — Чего ему не хватает, отчего он такой ненасытный? Все-то он читает, читает допоздна, читает запоем. И всегда прячет свои книжки. О чем-то спорит с Ондрой Филиповым. Что это за книжки? О чем споры?» Как бы ей хотелось узнать все это!

Между тем Мартин оделся и умылся.

— Пойду-ка я с Пейем, подкова у него отпала.

Взял шляпу. Улыбнулся матери на прощание и вышел.

Работать, работать, работать. Занять руки и ни о чем не думать. У Агнеши в корыте намочено белье. Она льет туда горячую воду, берет мыло, низко склонившись, стирает. Вот уже в руках у нее белоснежные рубашки. Кладет их в бак.

И вдруг стук в дверь.

— Войдите, — говорит Агнеша, заглядывая в бак. К двери не обернулась.

Дверь распахнулась. За спиной — скрипящие шаги. Дух занялся у Агнеша! Эти шаги! Она узнала бы их и среди тысячи. Размеренные, безжалостные шаги ног, обутых в немецкие сапоги.

Эсэсовец Кнапп поздоровался.

Агнеша ответила на приветствие с виду спокойно. Но мысли ее лихорадочно сменяли одна другую. Как ответить ему? Что придумать? Только бы не проговориться! Только бы выглядеть спокойной!

Кнапп говорил по-чешски с немецким акцентом.

Вчера он оставил здесь пулеметную ленту, там, на вешалке, — сразу объяснил он ей свой приход.

Агнеша размышляла. Отрицать бесполезно. Немец все помнит. Кто знает, не ловушка ли это. Нужно как-то выкрутиться.

— Да, висело здесь что-то. Это верно.

Кнапп спросил, не перевесила ли она куда-нибудь ленту, раз ее на месте нет.

— Сторонюсь я всяких напастей, я таких вещей боюсь, — спокойно ответила Агнеша.

Так она, стало быть, не знает, куда девалась лента?

— Отчего же, знаю, — сказала Агнеша. — Заходили два немецких солдата. Как увидели ленту, сняли ее и унесли с собой.

Как выглядели эти солдаты? О чем с ней говорили?

— Как выглядели? Как все немецкие солдаты. Да я не очень-то за ними и следила. И поговорить не могла: они знали только по-немецки. Пришли и сразу ушли.

А кто здесь еще был?

— Только я, я одна.

«Ах, надо было отвечать спокойнее, безразличнее, — упрекала себя Агнеша. — Не повторять без надобности. Это промах. Впрямь нужно быть осмотрительней».

Кто еще видел пулеметную ленту? Сыновья видели?

«Что сказать? Как увернуться от ответа? И что будут спрашивать у сыновей?»

— Не знаю, — ответила она, — на деревне работы хватает. Где уж тут следить за чужими вещами!

Агнеша снова принялась за стирку — показать, что работы у нее хватает, и чтобы дух перевести.

Кнапп спросил про невестку. Он и с ней хотел бы потолковать.

Агнеша кликнула Катю. Та, шаркая, пришла. Растрепанная, красивая, ко всему безразличная. Нет, никакой ленты она не видела. Шила в соседней комнате и не слышала, приходил кто сюда или нет. Нет, она ничего не знает.

«И ничего не понимает», — добавила про себя Агнеша.

Проснулся Тонко, в рубашонке выглянул из-за дверей. Не удержался, влетел в комнату.

— Бабушка, а мне почему ленту не показали? — жалуется он.

— Носился, значит, с ребятишками бог весть в каком дворе. А такую вещь я никогда бы в руке тебе не дала, — отвечает Агнеша.

А где сыновья ее?

— Я позову их, — говорит она поспешно, вытирая руки о передник.

Снова оплошность! Не надо было показывать такой охоты. Ах, никогда не научится она ловчить! А как бы ей хотелось сходить за Адамом и Мартином. Да по дороге научить их, что сказать.

Кнапп благодарит. Нет, не нужно. Он сам все сделает.

Встал, отворил дверь. Перед домом на карауле стояли два солдата. Кнапп сказал что-то одному из них по-немецки. Тот отдал честь и ушел.

Наступила тишина. Ката тем временем одела Тонко, а Кнапп протянул ему карамельку. Вкусную, кислую. Язык после нее становится красным. Тонко приставил к зеркалу стул и тотчас хотел посмотреть, какой у него язык.

Кнапп по-прежнему был сдержан и невозмутим. Страх и надежда сменялись в душе Агнеша.

В кухню вошел Адам, бледный, как стена. Нет, он ничего не знает. Вчера после обеда ушел по дрова, а вернулся только вечером.

«Адам, Адам, как я тебя обижала! — думает Агнеша. — Ты хороший, умный, ты сын мой. Держись. Да не дрожи так. Это ведь заметно. И прости ты мать, что так сомневалась в тебе».

Кнапп вытащил из кармана пакетик.

— Смотри, какие карамельки: красные, желтые, зеленые, фиолетовые. И после каждой язык будет другого цвета. Правда, забавно? Иди-ка к зеркалу.

Тонко снова вскарабкался на стул. Ишь, а язык-то совсем зеленый! И в самом деле забавно. Высунул язык как только мог. И тотчас принялся лизать фиолетовую конфетку.

«Может, не такой опасный этот Кнапп? — успокаивает себя Агнеша. — Кто ласков с детьми, злым не бывает». Может, она все это попросту придумала?

— А Мартин где? — вдруг спрашивает Кнапп.

У Агнеша забилось сердце. Что сказать? Предупредить сына она не сможет, это уж точно. Мартин скоро вернется. Нужно сказать правду. Но... но не ускорит ли она то, что ему грозит?

— У... кузнеца он, — с трудом произносит Адам.

«Снова оплошность, оплошность, — думает Агнеша. — Отве-

тить нужно было как можно скорее. Подозрительно долго они молчали. Адам, мой Адам, ты ведь думаешь о том же, что и я. Ты ведь сын мой, кровь моя».

А Тонко между тем разглядывает в зеркале свой язык.

Кнапп приказывает привести Мартина. Потом достает револьвер и снимает предохранитель.

— Так, — произносит он своим невозмутимым, холодным голосом. — А теперь кончим играть в прятки.

С минуту он поиграл револьвером, а потом, как бы ненароком, прицелился в Тонко, который стоял на стуле спиной к нему.

— Не верю ни одному вашему слову. Где моя пулеметная лента? У партизан? Кто отнес ее? Отвечайте!

Дуло револьвера поднималось прямо к Тонкиной голове.

И Агнеша не выдержала — с кулаками бросилась она на Кнаппа. Тот был наготове и сбил ее с ног. Агнеша поднялась и снова медведицей пошла на него. Кнапп свистнул. Вбежал солдат, что стоял у двери, и ударил ее прикладом по голове. Агнеша обеспамятела.

К неподвижному телу бабушки с безудержным плачем кинулся Тонко. Когда Кнапп снова прицелился в голову ребенка, Адам не сказал — выдохнул из себя:

— Это не мы... это Мартин... сегодня ночью... в горы...

Когда Агнеша пришла в себя, было тихо, так страшно тихо, словно в доме лежал покойник. Тонко недвижно сидел на скамье. Лицо его словно повзрослело.

Ката уксусом смачивала лоб свекрови. Сейчас она ходила не шаркая. Адам сидел у стола, обхватив голову руками.

Агнеша посмотрела вокруг. В голове у нее гудело. Она никак не могла собраться с мыслями. С усилием обратилась к Адаму. С губ ее сорвалось одно только слово:

— Мартин?..

Адам вскочил, словно змеей ужаленный, и выбежал.

Глаза Агнешы остановились на полу перед зеркалом. Там валялся бумажный пакетик, а вокруг — красные, зеленые, желтые, фиолетовые карамельки.

И Агнеша поняла, что случилось.

Два дня перед Агнешиним домом стояла стража. За пределы двора никому выходить не разрешалось. Адам мог накормить скотину, а Ката птицу, но ни шагу дальше. На третий день стражу сняли.

Агнеша повязала голову платком и закуталась в шерстяную шаль. Она выглядела теперь на десять лет старше.

Агнеша шла в комендатуру.

Завидев ее, прохожие сворачивали в сторону. Она стиснула зубы. Ишь, заговорить бояться! Но почему? Почему?

И все-таки один человек не обошел ее. Это был Ондрей Филипов, тот, у которого Мартин брал книжки.

Ничего не сказал, только стиснул ей руку. До боли.

— Ондра, ты не знаешь?.. — спросила она несмело.

— Тетка... Агнеша... — Слова не шли у него из горла. Он взял ее руку в свои большие ладони.

— Так не скажешь? Тогда пойду туда, туда... Там мне скажут.

— Тетка Агнеша, не ходите туда, поздно...

— Что поздно?..

— Мартин... на вербе... у мельницы...

Она покачала головой. Покрепче стянула шалью сторбленную свою спину и направилась к мельнице.

— Тетка Агнеша, не ходите туда. Когда будет можно, принесем его к вам и похороним. Не ходите, — молил Агнешу Ондра.

— Нет! — сказала она страшным голосом. — Хочу знать все.

Дорога вилась вдоль ручья и была сейчас пустынна. Где-то здесь прошел он в последний раз. И ведь именно здесь любил он бегать еще мальчишкой. Агнеша припомнила, как однажды Мартин вернулся домой, мокрый до нитки, а в руках нес калужницу. Он всегда любил воду, любил дождливые дни, любил купаться и плавал, как рыба. А теперь вода журчанием своим проводила его в последний путь.

«Вот и мельница. Совсем заброшена. И колесо стало. Может, он услышал стук его в ту... минуту», — гадает Агнеша.

Они обошли мельницу. Вот и старая верба, а под ней немецкие часовые. Ондра хотел поддержать Агнешу.

— Нет, не нужно, — проговорила она.

Здесь висит ее Мартин, на грубой веревке. Рот открыт, а губы... потрескавшиеся... пересохшие... от страшной, палящей жажды...

Ни ушей, ни носа, ни языка — только черная запекшаяся кровь. Крепко, видно, умел молчать.

Агнеша не плакала. Она словно онемела. Но уже не чувствовала себя слабой. Ненависть, что зародилась в ней в тот страшный день под Боровой горкою, наполнила ее до краев. Не слепая — зрячая ненависть. Агнеша знала, что нужно делать.

Спокойно вернулась она с Ондрой домой.

— Послушай, Ондра, Мартин как-то вспоминал про тебя. Будешь вместо него ходить под Матейеву скалу? А?

Ондра кивнул, исподволь, внимательно посмотрев на нее.

— Но в эту ночь я пойду сама. Пулеметная лента Кнаппа еще не у партизан. Она в тайнике, у источника. Сегодня же достану ее.

Боль и ненависть — зрячая ненависть — вели Агнешу. Она знала, где нужно пригнуться, как обмануть стражу, знала, как обмануть и свое измученное тело, чтобы дотащиться с тяжелой Мартиновой котомкой до Матейевой скалы.

Спокойно рассказала Агнеша командиру партизан о том, что произошло. Когда вручала ему пулеметную ленту, голос ее был тверд.

— Ребята, — сказала Агнеша, — здесь больше ста патронов. Цельтесь хорошенько. Отомстите за Мартина. Бейте, бейте их! Ведь не люди они, нет, нет — звери! А потом, как расстреляете вы все патроны, придите, скажите мне, сколько гадов отравила на тот свет эта лента. Обещайте же!

Взволнованно глядели на нее обитатели землянки. Командир хотел сказать что-то, но промолчал. Партизаны все, как один, обещали исполнить ее просьбу.

Агнеша вернулась домой. Похоронить Мартина сельчане так и не посмели. Закопали его бог весть где сами немцы.

Она не жаловалась. На Адама не глядела. И никто в деревне с тех пор не сказал с ним ни слова.

Агнеша спокойно ждала, когда приблизится фронт. Ишь как улепетывают эсэсовские зверюги! Первыми удрали! За ними — армейские офицеры. Агнеша прислушивалась из погреба, как ругали их простые солдаты. Кое-что из их речи она понимала. А смысл угадывала по тону.

Солдаты ругаются. Глотки готовы друг другу перегрызть. Что ж, так и надо!

Потом слышала она, как они недолго о чем-то спорили. Двое солдат спустились в погреб и стали что-то у нее просить. С грехом пополам поняла она, что им было нужно: белое полотно, скатерть или простыня. Агнеша дала им кусок полотна. Один поблагодарил ее. Другой свернул полотно и хотел пожать ей руку, но Агнеша свою холодно отвела. Случайно заметила она на его мизинце крохотный перстенок. Девичий, почти детский.

Немцы вывесили полотнище на крыше и тут снова повздорили. Раздались крики, а потом и выстрелы. Полотно кто-то сорвал, стрельба не прекращалась.

«Что ж, перебейте друг друга, вы же не люди! Не зря офицеры-то ваши давно дали тягу!» — злорадно думала Агнеша.

Она была полна ненависти, страшной ненависти.

К вечеру советские орудия смолкли и заговорили автоматы. Так это вы, родные наши! Тонко хлопал в ладоши и во что бы то ни стало хотел встретить русских. Его удерживали с трудом.

Но тут совсем близко от погреба раздался чей-то стон. Агнешу насквозь пронизал этот голос — так похож он был на голос Мартина! Стон повторился. Снова стон. Может, это раненый русский? Скорее, скорей ему помочь!

— Адам, — обратилась она к сыну впервые после смерти Мартина. — Адам, давай-ка внесем его сюда.

Перед входом в погреб лежал раненый. Кругом свистели пули, но Агнеша не замечала их. Осторожно, потихоньку внесли они с Адамом стонущего человека в погреб и уложили его на тюфяк. И тут при свете керосиновой лампы Агнеша увидела, что раненый — немец.

Снова поднялась в ней волна ненависти. Ну и хорошо, подумалось ей. Вот теперь-то и она посмотрит, как будет здесь умирать один из них.

Раненый опять застонал. И у Агнеша голова пошла кругом. Возможно ли, чтобы у немца был такой теплый, такой человеческий голос? Голос Мартина! Ведь... ведь немцы не люди.

Она посветила на него получше. Немец был молод. У него был высокий, красивый лоб, испуганные глаза, тонкий нос и... — лампа затряслась в руке Агнеша — полураскрытый рот, а губы... губы такие пересохшие, болезненно пересохшие...

Боже милостивый, возможно ли это?

Немец застонал:

— Wasser!

Агнеша понимала, что значит это слово. Она колебалась. Ведь Мартину никто не подал воды. Может ли она подать воды немцу?

— Wasser! — снова и снова просит немец. — Мама! Wasser!

Мама! Разве у немцев человечья мать, не волчица? И как могли женщины-матери породить таких нелюдей-сыновей?!

А немец стонал и стонал. Он был ранен в живот и корчился от боли.

Адам скреб за ухом.

— Придут русские, найдут на тюфяке немца... начнутся всякие неприятности. Не лучше ли его...

— Нет! — отрезала Агнеша. — Он останется здесь.

Она налила в стакан воды. Приподняла немцу голову и приложила стакан к его губам. Немец пил жадно. Тонкая струйка воды стекала ему в уголок рта.

Через минуту раненому стало хуже. Он стонал не переставая. И, впиваясь руками в тюфяк, то плакал навзрыд, то кричал. И что у него было прострелено? Почки? Кишки? Печень? Никогда еще не видела Агнеша таких страшных мучений.

Э-э, когда-то и она так же вот впивалась в тюфяк, и она корчилась от боли. Муки ее длились десять часов: долго не могла она родить своего старшего. Но тогда в этих страданиях был свой смысл. Она ведь знала, ради чего мучится. И Мартин знал, ради чего страдает... Вдруг Агнеше стало легче. Потому мучился Мартин, потому терпел он адовы пытки, что не хотел выдать своих товарищей из землянки, хотел, чтоб победила на свете справедливость. Ну конечно, справедливость! И сейчас, в эти минуты, поняла Агнеша, что искал



Мартин в своих книгах и чего жаждал он от жизни. «Мартин, Мартин, золотой мой мальчик!»

Так оно, так. А сейчас вот здесь, как раздавленный червь, извивается немец. И это справедливо.

Нет, нет! Агнеша приходит в ужас при виде этих страданий. А раненый снова просит воды. Возьми, возьми, напейся, бедняга!

Бедняга? Уж не жалеет ли она его? Жалеет немца? О-о... Агнеша поймала себя на этой мысли и совсем растерялась...

Положила ему под голову подушку. Раненый посмотрел на нее угасающим взглядом.

Что это с ней? Ведь она желала немцам смерти. И пулеметную ленту отнесла она, старая, в горы, шла по дорогам и бездорожью, чтобы вручить партизанам оружие мести. А этого жалеет... Как же так?

Да, а что было с теми немцами, что просили у нее полотно? Эсэсовцы-то убрались, и офицеры за ними. А эти простые солдаты вывесили белый флаг. Потом в них кто-то стрелял, ну да... свои же... Так, стало быть, немцы бывают разные... немцы звери и немцы люди. А этот кто?

Посмотрела она на немца внимательнее. И тут увидела у него на мизинце перстенок — девичий, почти детский...

Значит, это был один из тех двух. И стреляли в него свои.

Раненый начал быстро перебирать пальцами, словно отталкивал от себя что-то, а сам говорил торопливо, торопливо. Агнеша разобрала только два слова: «Krieg»¹, «Hitler».

Она глядела на его судорожные движения. Что отгонял он? Болезнь? Смерть? Войну? Гитлера? И почему глаза у него такие испуганные, словно терзают его страшные видения? А губы-то, губы... Совсем как у Мартина — пересохшие, жаждущие... но чего? Тоже... справедливости?

Агнеша не удержалась. Погладила губы, погладила этот лоб. И уже знала, что гладит не Мартина, гладит чужого, гладит немца.

И в эту минуту почувствовала она, что страшный нарыв, который гнезвился в ней с того страшного дня под Боровой горкой и чуть не задушил у вербы под мельницей, лопнул. Ненависть из него вытекла, и рана стала заживать.

Не успела Агнеша закрыть глаза скончавшемуся немцу, как в погреб пришли русские, а с ними и партизанский командир.

Поздоровались они с Агнешей и ее внуком. Весело смеясь, поносили Тонко на плечах. Даже флегматичная Ката улыбалась. Только Адам сخورонился где-то, испуганный и одинокий.

Командир снял с плеча пулеметную ленту. Расстрелянную, порожнюю.

— Вот вам, тетушка Агнеша, возьмите, — говорит. — Добрую она сослужила нам службу, когда мы к своим пробивались. Целились мы метко, как обещали.

И он положил ленту перед Агнешей.

Она взяла ленту. Удивленно на нее взглянула. Задумалась. Лента выпала из рук ее.

— Да, конечно, — проговорила она не сразу, — стреляйте, бейте, гоните этих гадов. А потом помогите вы немцам жить иначе. Ведь они тоже... люди... такие же, как и мы...



Михаил Исаковский

(СССР)

Русской женщине...

...
Д

... а разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все — без конца и без счета —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе — волей-неволей,
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают все ниже,
А громы грохочут все ближе,
Все чаще недобрая весть.
И ты перед всею странюю,
И ты перед всею войною
Сказалась — какая ты есть.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далекой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

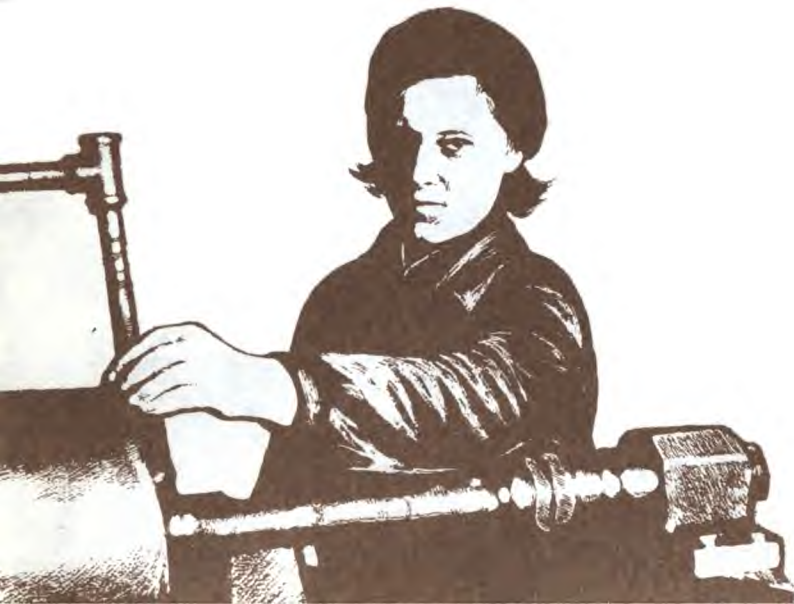
Бросались в грохоте, в дыме
Советские войны в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начиненных тобой.

За все ты бралася без страха,
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела — иглой и пилой.

Рубила, возила, копала, —
Да разве же все перечесть!
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...



Петр Незнакомов

(БОЛГАРИЯ)

Наша тайна

В

двух километрах от города, у излучины реки, там, где светлая зелень ивняка особенно густа, а трава даже в самую сильную жару остается мягкой и сочной, находился наш тайник. Тут прятали мы свое оружие — деревянные пистолеты и сабли; тут же, лежа на земле, читали, сдвинувшись в кружок, измятые от долгого ношения за пазухой книги про пиратов и благородных разбойников. Тут, в этом чудесном укромном уголке, родился наш отряд, и я до сих пор помню тот день, когда, дрожа от волнения, мы чиркали моим перочинным ножичком по кончику пальца, а потом, смешав кровь, клялись быть верными друг другу до гроба, защищать бедняков, вдов и сирот, бороться, насколько хватит сил, с жандармами и стражниками, нашими заклятыми врагами, и никогда, ни за что... не водиться с девчонками.

Было нас семеро мальчишек: самому младшему восемь, а старшему — двенадцать. Все мы жили в Старом квартале, там, где не было садов и где среди пыли и мусора тесно лепились домишки городской бедноты. Наши отцы были рыбаками или рабочими на кирпичном заводе, и только я считался в отряде, так сказать, аристократом.

Мой отец служил инкассатором, то есть занимался умственным, а не физическим трудом, к тому же на пасху мне сшили брюки из нового материала — нечто из ряда вон выходящее для нравов Старого квартала, где брюки переходили по наследству от отца к сыну и от брата к брату.

Вожаком у нас был Ванка, низенький курносый крепыш, с коротко остриженной головой и обсыпанным веснушками лицом. На его левой руке, повыше локтя, красовалась татуировка — синий якорь с надписью: «Дерзкий». Татуировку ему сделал брат-моряк, и Ванка страшно этим гордился. В отряде были мальчишки и постарше и посильнее, но вожаком единогласно признали Ванку. И все потому, что он обладал почти кошачьей ловкостью, острым умом и бойким языком. Да еще, вдобавок ко всему, брат его — не моряк, а другой — был истинным героем.

Этот другой, таинственный брат вот уже три года сидел в Плевенской тюрьме за «политику», как говорил Ванка. У нашего вожака имелось и еще одно преимущество — он был сиротой. Отец его, лучший рыбак в городе, два года назад отправился на лодке за рыбой и не вернулся. Пустую лодку нашли на другой день, а тело так и не могли отыскать.

— Пьян он был тогда, — рассказывал нам Ванка. — С горя. Накануне вызвали его в полицию, все из-за брата... А когда выпустили, он сразу в корчму... Домой пришел сам не свой... побил маму, меня, а ночью ушел... Я слышал, как он уходил, да ведь откуда я знал... Да и злился на него... А какой он был веселый!.. Как заиграет, бывало, на мандолине румынские песни, ноги сами в пляс идут...

— Так ведь он умел плавать? — удивились мы. — Как же это он утонул?

Ванка только махал рукой и отвечал, как взрослый:

— Я же вам говорю — с горя. Да и трудно пьяному плыть, голова тяжелая.

После таких разговоров Ванка с еще большим пылом бросался в бой, ожесточенно рубил «вооруженных полицейских» деревянной саблей, но все мы видели: нет в его игре радости, тяжело ему. Тогда мы расходились раньше обычного, еще до захода солнца, когда тучи комаров и без того выгоняли нас из нашего убежища.

Мать Ванки была тихая, рано состарившаяся, сгорбленная от трудов и тяжелой жизни женщина.

Она работала уборщицей в училище и, так как денег после смерти мужа не хватало, брала в стирку белье у лавочников. Ванка называл ее «старуха», не слушался, часто грубил, но мы-то знали, что по-своему он очень любит мать. Однажды директор училища обругал ее, сказал, что она вырастила негодяев и разбойников, и она пришла домой в слезах. Случилось так, что Ванка оказался рядом, когда она жаловалась соседям на обиду. В ту же ночь кто-то разбил камнями окна директорского кабинета. Несмотря на тщательное расследование, виновника так и не нашли (в училище приходили даже тайные агенты). Одни мы догадывались, кто и почему это сделал, и еще больше полюбили нашего вожака.

Лето 1944 года в нашем краю было страшно жаркое. Целых два месяца не выпало ни капли дождя. Беспощадное солнце, похожее на большую мутную электрическую лампу в городском кино, целыми днями висело на бледном безоблачном небе. Старый булыжник на улочках покрылся толстым слоем грязной серой пыли. А когда от реки дул ветер, пыль поднималась тучами, забивалась в окна и двери и окрашивала весь город — и дома, и деревья, и людей — в какой-то унылый, серый цвет.

И вот в один из самых жарких августовских дней в городе произошло событие, взволновавшее всех. В полдень к пристани подошел немецкий военный катер. Он тянул за собой с десяток барж с необычным грузом. На баржах под палящими лучами солнца, без всякого навеса, тесными рядами стояли санитарные носилки, а на них, в грязных кровавых бинтах, обросшие и исхудавшие, лежали раненые немцы. Это были совсем не те веселые и сытые солдаты, которых мы видели три года назад. Тогда они, голые по пояс, шумно мылись у городских кранов, жевали шоколад и по вечерам ревели «Лили Марлен». Сейчас зрелище было страшное, но разглядеть мы ничего не успели. Из катера выскочили мрачные и злые солдаты со свастикой на рукаве и, закричав что-то пронзительными голосами, стали расталкивать толпу любопытных. Вмешались и наши полицейские во главе с самим комендантом; засвистели дубинки, и скоро на пристани никого не осталось.

По городу поползли слухи. Рассказывали, что раненых привезли из Румынии, что Румынии капут и скоро у нас тоже повет новым ветром. Лавочники собирались кучками и тревожно шушукались о чем-то, как видно, важном. Когда мы подходили поближе, послушать, о чем толкуют, нас прогоняли, а самым любопытным доставались подзатыльники. Ванка откуда-то узнал, что староста и начальник гарнизона сразу же после появления эшелона уехали на военной машине в Русе.

— Здорово их сейчас лихорадка трясет! — посмеивался он. — На вид они такие толстые и здоровые, хоть воду на них вози, а вот на тебе.

И только в нашем Старом квартале наступило радостное оживление. Люди останавливались, пожимали друг другу руки, как в праздник, улыбались и весело подмигивали. И хотя мы не вполне понимали, что происходит, но радость охватила и нас, ребят. Мы вышли с деревянными саблями на тесные и кривые улочки, и скоро закипел жестокий бой с ребятами из Нового квартала. А самое странное — стражник Диню, который обычно ругал нас и прогонял, сейчас только грозно посмотрел в нашу сторону, сплюнул и отошел.

Раненых немцев разместили в школе.

Для нашего отряда это была редкая удача. Предстояла интересная игра. Ванка разделил нас на патрули, и каждый патруль должен был стоять на посту около школы. Задача заключалась в том, чтобы не упустить ничего, что там происходило.

Ванка и я составляли штаб. Мы устроились за полуразрушенной каменной оградой, под большим тенистым абрикосом. Ребята должны были нам докладывать обо всем, что увидят и услышат. Как раз против «штаба» находился главный вход в школу. Там стоял на посту пожилой немец с сердитым потным лицом.

На груди у него висел автомат. Из-под низко надвинутой на лоб каски смешно торчал мясистый нос. Немец расхаживал взад-вперед, задыхаясь от жары, и его кованые сапоги глухо стучали по каменным плитам.

— Из-за таких вот посадили брата, — задумчиво сказал Ванка. — Еще в сорок первом... В Русе это было... Немцы разместились в училище, а брат написал на заборе, чтобы они убирались. Правильно сделал, но его схватили. И за это дали семь лет. Три года уже отсидел...

— Значит, осталось еще четыре, — быстро сосчитал я.

— Это еще неизвестно. Я загадочно ответил Ванка.

— Почему? — удивился я. — От семи отнять три, будет четыре. Это каждый дурак сосчитает.

— Много ты понимаешь! — засмеялся Ванка и мастерски сплюнул сквозь зубы. Тонкая струйка отлетела на целых пять шагов.

Слегка обиженный высокомерными словами Ванки, я тоже попробовал сплюнуть, но из этого ничего не вышло. Мой плевок был совсем жалким. Я посмотрел на Ванку, и мне показалось, что он усмежается. Острое чувство зависти пронзило меня. «Почему у Ванки, — подумал я, — все выходит хорошо? Почему ему везет и все у него так интересно? Вот, пожалуйста, у него два брата: один в тюрьме, а другой плавает по морям... А что у меня? Всего-навсего одна капризная сестрица, которая вечно ябедничает маме. Хоть бы уж моряк не делал ему этого якоря на руке! Мало того, он еще подарил ему египетскую лиру, на которой изображен бык с человеческой головой. Эту лиру Ванка зашил в подкладку пальто, и, кто знает, может, поэтому он такой везучий. Да, да, так оно и есть... Иначе почему полицейские три раза делали у них обыск, а у нас ни разу?!»

И оттого, что у меня ничего этого нет, мне вдруг стало ужасно обидно и за себя, и за свою скучную, неинтересную жизнь.

— Так и хочется дать ему по каске! — прервал Ванка мои грустные размышления. — За брата...

Я обернулся. Он вытащил из кармана рогатку, из которой стрелял в ворон на крыше, и стал крутить ее вокруг пальца.

Немец стоял к нам спиной, и его каска представляла собой прекрасную мишень.

— Что ж, давай! — согласился я и опять позавидовал, что не мне первому пришла в голову такая блестящая мысль.

Ванка поискал камешек, натянул рогатку и прицелился. Камешек свистнул, и через мгновение послышался резкий металлический звук: удар попал в цель. Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой. Немец громко вскрикнул и шлепнулся животом на каменные плиты. Это было так нелепо и смешно, что мы с Ванкой покатались со смеху. Но смеялись мы недолго. Послеобеденная тишина была нарушена резким и

неприятным грохотом. Что-то просвистело у нас над головами, а с дерева посыпались листья и ветки.

— Стреляет! — прошептал Ванка, побледнев. — Ой... и другие выскочили!

Я привстал и выглянул из-за ограды. Из дверей школы, пригнувшись, с автоматами наготове выскакивали один за другим немцы со свастикой на рукаве и, что-то крича, падали на тротуар. Ноги у меня подкосились, и вдруг страшно захотелось пить. Ничего не скажешь — самое подходящее время!

— Ты что, к земле примерз, дубина?! — прокричал мне в ухо Ванка. — Скорее за дом! И на соседнюю улицу...

Откуда нашлись у меня силы побежать за ним, я до сих пор не знаю. Пиу... пиу... пиу... — свистели над нашими головами пули. Немцы заметили нас. Мы бросились за дом, перелезли, как ворышки, через забор, перемахнули еще раз через несколько заборов... Какая-то женщина закричала нам вслед, захлопали двери и окна... Потом мы вдруг оказались на соседней улице, и снова над нами сбоку послышался противный, леденящий сердце свист.

— Что ты бежишь прямо, дурак! — закричал у меня за спиной Ванка. — Сворачивай направо!

Мы свернули направо и совершенно отчетливо услышали, как стучат позади по булыжнику кованые сапоги.

Мы снова перелезли через какой-то забор, и тогда все перепуталось: мы неслись через дворы и улицы, не зная, где мы и куда бежим...

Опомнились мы только в нашем тайнике, у реки. Как мы пробежали эти два километра, вспомнить трудно, да и не хотелось вспоминать.

— Ванка! — вдруг закричал я. — Что это у тебя на рукаве?

— Где?

— Да вот тут... на левом...

Ванка пощупал рукав и взглянул на ладонь. Она была красная.

— Смотри-ка, кровь! — удивился он. — Наверно, оцарапался где-нибудь. Ой, знаешь, начинает болеть!

Я быстро закатал рукав его рубашки и ахнул. Повыше локтя, под якорем, там, где синела надпись «Дерзкий», кровоточила отнюдь не царапина, а большая рана... Ванка тоже увидел рану, побледнел и стиснул зубы. На лбу у него заблестели мелкие капельки пота.

— Ванка, — вскрикнул я испуганно, — это от...

— Знаю, от чего, — оборвал меня Ванка, стараясь казаться спокойным. — Что ты уставился? Как будто в первый раз видишь рану от пули! Вместо того чтобы глазеть, лучше перевязал бы меня, а то вся кровь вытечет...

— Нечем, — беспомощно пожал я плечами.

Ванка оглянулся.

— Сними с меня рубашку! — коротко приказал он.

Я снял с него рубашку и все думал, что будет, если Ванка вдруг упадет сейчас на землю и... умрет. Шутка ли, рана от пули!

— Рви на полоски!

— А как же... — заколебался я. — А мать не будет тебя бить?

— Ну, ты и голова! — рассердился Ванка. — Прежде всего она прибьет меня из-за раны. Скорей!

Я разодрал рубашку и стал неловко перевязывать рану. Ванка стискивал зубы и только время от времени тихонько охал.

— Стой! — вдруг крикнул он. — Сейчас же развязывай!

Я удивленно посмотрел на него.

— Развязывай! Развязывай! Так нельзя. Надо положить на рану табак. Так я слышал от брата...

— Где же я тебе сейчас возьму табак?

— Слушай! — сказал Ванка. — Иди поищи в «сейфе», там как будто было три окурка.

Я побежал к «сейфу». Это была маленькая деревянная коробка, которую мы зарыли в потайном месте — в зарослях ивняка. Там хранились самые большие отрядные ценности. Я отсчитал три шага от деревянного креста, служившего меткой, встал лицом к реке. Направо в пяти шагах был «сейф», я выкопал его и дрожащими пальцами перерыл содержимое. Под патронными гильзами я нашел окурки и быстро отнес на наш «перевязочный пункт». Ванка метался, как рыба на песке, когда я посыпал ему руку табаком, но все равно ни разу не вскрикнул — иначе какой же из него герой!

Потом мы сидели на берегу, свесив ноги в темную воду, и молчали. Солнце уже клонилось к западу, и река переливалась множеством красок. На той стороне темнела полоска низкого румынского берега. Где-то справа мирно позванивали колокольчиками коровы, пасшиеся в кустах ивняка. Было тихо и спокойно, и мне показалось, что не было никакой стрельбы и никаких немцев, а просто мы уснули на мягкой траве и увидели кошмарный и бессмысленный сон.

— Хорошо, хоть кость не задела! — нарушил молчание Ванка. — Это что, пустяки! А то пришлось бы отрезать руку... Якоря было бы жалко...

— Нечего нам было связываться с этим немцем, а? — робко подхватил я. — Сами на рожон лезли...

— Глупости! — отрезал Ванка и насмешливо посмотрел на меня. — А признайся, браток, здорово ты струхнул?

— Н-нет... чего мне трустить?

— Признайся, признайся!

— А ты не испугался?

Ванка не счел необходимым ответить на этот вопрос, только

презрительно махнул здоровой рукой, как будто хотел сказать: «Что с вами разговаривать, с мелюзгой!»

Мы снова замолчали.

— Теперь ты, конечно, всем разболтаешь, — наконец заговорил Ванка.

— Еще чего не хватало! Почему это я разболтаю? — обиделся я.

— Знаю я, какой ты трепач...

— С чего это ты взял?

— Никому ни слова, слышишь? В участке за такие дела по головке не погладят... А старухе только посмей сказать... Полянись!

Я встал, плюнул на землю и торжественно произнес:

— Если я скажу кому-нибудь хоть слово, то не успеет этот плевок высохнуть, как быть мне в могиле!

Это была наша самая страшная клятва, которую мы никогда не нарушали. Ванка успокоился.

— А ты... — заикнулся я. — Что ты скажешь матери про рану?

— Мое дело, — ответил Ванка. — Это уже не твоя забота. — И, немного подумав, добавил: — Пожалуй, пора возвращаться в город? Там, наверно, такой переполох!..

Я кивнул в знак согласия, потому что и мне хотелось поскорее вернуться. Что там сейчас говорят? Как нас встретят? Достанется дома или обойдется?

Мы шли через абрикосовые сады. Так нас никто не увидит, да и гораздо интереснее пролезать через изгороди из колючей проволоки, чем шлепать по пыльной дороге. Лицо у Ванки было хмурое — наверно, болела рука, — но голову он держал прямо и гордо. И, глядя на него, я опять позавидовал его счастью. Ведь эта проклятая пуля могла задеть и меня, черт ее побери! Разве один Ванка всегда должен быть героем?

Но тут же я сообразил, что геройство имеет и обратную сторону и что отцы и матери не очень-то любят таких героев. Представил, что бы произошло, если бы я вдруг явился с перевязанной рукой и в изорванной рубахе... И зависть моя тотчас испарилась.

Когда мы поравнялись с первыми городскими домами, Ванка обернулся ко мне и сказал:

— Теперь разойдемся в разные стороны. По крайней мере, сегодня вечером нас не должны видеть вместе... Ты направо, я налево! И ни слова, слышишь? Мне из-за тебя получать по шее неохота...

Я кивнул — кому охота получать по шее? — и побежал домой. Ванка свернул на ближайшую узкую и кривую улочку.

У калитки стояла мама с сердитым лицом. В руке у нее был прут.

— Ага, — протянула она, увидев меня, — вот наконец и ты!

У меня голова кругом идет от этой стрельбы, а его нет как нет. Говори, негодник, где ты шлялся целый день?

— Нигде не шлялся, — ответил я и остановился в пяти шагах от нее.

— Где ты был во время перестрелки?

— Какой перестрелки?

— Ах, он, оказывается, ничего не знает, бедняжка! Подойди-ка поближе и посмотри мне в глаза!

Я посмотрел маме в глаза, но близко не подошел.

— Где ты был?

— На речке, где ж еще! С Ванкой рыбу ловили...

— Гм... Чтобы ты пропустил такое событие! А не врешь?

— Хочешь, крест поцелую?

— Незачем. Иди домой.

Я боязливо прошмыгнул мимо матери прямо во двор.

Ей все-таки удалось разок огреть меня прутом по спине, но это так, на всякий случай.

Отец пришел поздно и возбужденно стал рассказывать о стычке перед школой, о тревоге в городе.

— Говорят, какие-то ребята затеяли, — сказал он и подозрительно посмотрел на меня. — А наш где был?

— Слава богу, на этот раз на речке, — ответила мать. — А то бы я ему показала...

Я молчал. В таких случаях молчание действительно золото, как говорит пословица.

Так в городе и не узнали истинную причину перестрелки. Мы с Ванкой сохранили нашу тайну. И только теперь я раскрываю ее. Насколько мне известно, даже самая страшная детская клятва действительно только до пятнадцати лет.

Иван Скала

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Поздним Вечером

М

ожет, я sentimentalен, может...
Но когда домой я прихожу,
На дочурки туфельки в прихожей,
Замирая, с нежностью гляжу.

Прежде чем («Ты спишь, моя родная!»)
Подойти к кровати, не дыша,
Я люблюсь ими, представляя,
Как она в них бегала, спеша...

Сбросила,
нырнув под одеяло
С головой, как птенчик под крыло.
В туфельках, мне кажется, осталось
Резвых ножек дочкиных тепло.

И знакомый запах детской кожи —
Сладкий, как в июне клевера.
Может, я sentimentalен...
Может,
Даже слаб в такие вечера,

Сам собою даже не владею...
Но (уж ты мне, милая, прости!)
Жжет меня в тот миг одно виденье,
Неправдоподобное почти.

Туфельки. Ботиночки...
Их было,
Разноцветных, может, миллион.
И во мне все сжалось, все застыло,
Все окаменело.
Даже стон.

Кольо Георгиев

(БОЛГАРИЯ)

Адская машина

А

сейчас сразу же договоримся: кто не отличается храбростью — немедленно закрывает книгу. Тут речь пойдет о таких страшных вещах, о таких ужасах... Не всякий выдержит. Само заглавие подсказывает — «Адская машина»! Представляете, что это значит? Одна адская машина может разрушить стоэтажный дом, истребить кучу народа, а от взрыва могут запросто полопаться барабанные перепонки у миллиона людей. Вот так-то. И если бы одна адская машина... Но тут речь пойдет и о полиции, вооруженной револьверами, автоматами, ручными гранатами... Впрочем, я ведь уже сказал вам: произойдут страшные вещи, не всякому по силам. Итак, я вас предупредил, и теперь совесть моя чиста — пусть дальше читает тот, кто умеет держать себя в руках. Никто на вас не смотрит, и нечего стыдиться, если вы захлопнете книгу. Итак, сколько же вас осталось?.. А я-то воображал, что останется больше. И у вас не замирает сердце? Бууум! Баааам-бам!.. Ха-ха-ха! Вы не ошиблись, я сказал: «Бум». Но это не адская машина, нет. Она еще не взорвалась, хотя взрыв может произойти каждую минуту. Так что будьте начеку! Сейчас она находится — как вы думаете где? — за пазухой у Ради Карадушева! Представляете, каково ему? Но сначала я расскажу вам, как она туда попала...

Однажды вечером помощник старосты созвал в общину нескольких крестьян, которые считались заслуживающими доверия, и сообщил им, что в Дубраве замечен партизан. Полагали, что после перестрелки у села Гологинцы он отстал от других, а возможно, был ранен или болен, потому что видевший его крестьянин сказал, что партизан едва волочил ноги и останавливался на каждом шагу... Помощник старосты предложил немедленно снарядить погоню, используя местные силы и имеющееся в наличии оружие, но осторожные крестьяне стали возражать. Зачем шепсить и рисковать? Может, партизаны нарочно подослали этого человека, чтобы заманить сельские власти в лес и там их перебить? Гораздо разумнее вызвать из полицейского участка или из гарнизона вооруженные силы, а то ведь потом, если прова-

лим это дело, нам же придется отвечать. Да и откуда мы знаем, что полиция не следит за этим человеком, что ему не устроена ловушка? И если мы вмешаемся, на свой страх и риск, то только испортим хорошо подготовленную операцию.

Другие же прямо сказали, что сомневаются в правдивости сообщения крестьянина: ведь все знают, что он труслив, как сто зайцев. И если верить его прежним сообщениям о виденных и встреченных партизанах, то в лесу партизан больше, чем деревьев...

При таких разногласиях, разумеется, невозможно принять какое бы то ни было решение; не хватало опытного в таких делах человека, который мог бы отрезать: действовать так-то и так-то. Этим человеком был Ради Карадушев, свояк помощника старосты, самый богатый на селе человек. Два дня Ради не было в селе, и даже домашние не знали, где он: в городе или в свинарнике, который он держал в ближних горах. Но едва только помощник старосты хотел распустить собрание, как дверь отворилась и неожиданно вошел Ради. Он постоял, послушал, наморщил в досаде лоб, сразу смекнул, что в рассуждениях крестьян больше страха, чем здравого смысла, и распорядился, чтобы они шли по домам — кормить и поить скотину. Все быстро вскочили и с радостью разошлись. Ради задержал только молодого учителя, тоже вызванного помощником старосты, который все время сидел, опустив голову.

Учитель тоже хотел уйти, так как дома его ждал брат, отпущенный из казармы на побывку, — брат зашел в село лишь на одну ночь и очень торопится назад. Но Ради ухватил учителя за плечо и почти силой остановил. Он подождал, пока заглухнут последние шаги в коридоре, и загадочно взглянул на обоих.

— Сваяк! — обратился он к помощнику старосты. — Пока вы тут чешете языки, есть партизан в Дубраве или нет, я его поймал!

— Шутки шутишь! — не поверил помощник старосты. — Тебя ведь не было два дня!

— Это для вас меня не было. Так я и стану на каждом углу болтать, что отправился за партизаном. Два дня караулил его у свинарника и наконец поймал.

— Что-то не верится, свояк!

— Завтра утром приведу его, тогда увидишь, шучу я или нет.

— А он жив? — спросил молодой учитель, как-то вдруг опечалившись.

— А как же, конечно, жив! На кой он мне мертвый? Разве мертвый расскажет, кто в селе помогает партизанам? А уж этот теперь выложит как миленький, кто из наших тут замешан! Думаешь, я не знаю?

— Шутишь! — продолжал твердить помощник старосты, пораженный неожиданным сообщением.

— Сейчас не время для разговоров, — оборвал его Ради. — Нужно действовать. Я думаю так: ты, свояк, найдешь коня, а учитель отправится в участок и предупредит полицейских. Часа за три с половиной он доберется. Пусть пришлют двоих. Двоих хватит. А я тем временем перекушу дома на скорую руку и скорей обратно в свинарник. Я партизана там оставил, вместе с Ганчо.

— Шутишь! Как это вместе с Ганчо? С каким Ганчо? С твоим свинопасом?

— Не беспокойся, свояк, — ухмыльнулся Ради. — Я их обоих так скрутил веревкой, что сам господь бог не развяжет.

— Неужто и Ганчо тоже? — не понял помощник старосты. — А? И он замешан?

— Нет, нет, — рассеял его подозрения Ради. — Ганчо мне только помог заманить партизана в ловушку... Я послал Ганчо в лес и говорю: «Ганчо, сынок, если вдруг встретишь голодного человека и он попросит у тебя поесть, ты приведи его к себе и накорми, а я уйду в село...» А сам спрятался. Лежу, не шелохнусь, муравьи всего искусали; боюсь пошевелиться или кашлянуть. А этот дурень походил, походил по лесу и привел его... Наелся партизан, потянуло его в сон. «Ну, — думаю, — давай, Ради, теперь увидим, на что ты способен!» Кулаком по голове раз! Веревкой по рукам и ногам связал, платок в рот — много ли ему надо! — и бегом в село. Вот, свояк, как такие дела делаются! Но он жив, пришел в себя: я-то знаю, как ударить и когда остановиться. Хотел было послать Ганчо вас известить, а самому остаться стеречь, да этот дурень так перепугался, что дороги бы не нашел. Что делать? Связал и его, заткнул ему рот и оставил их рядышком — пусть друг на друга любят. Теперь слушайте: держите язык за зубами! До утра никто ничего не должен знать! Учитель, — обернулся Ради к молодому учителю, — ты садись на коня, а я пешком через поляну! Утром жду вас на месте.

Помощник старосты посоветовал Ради ночью не ходить: лес все-таки, не знаешь, кого можешь повстречать по дороге... Но Ради был непреклонен: боялся, как бы полицейские не опередили его и не положили в карман пятьдесят тысяч левов — награду, которую власти давали за каждого пойманного или убитого партизана. Он поужинал, проверил, уехал ли учитель в полицейский участок, и двинулся в лес.

Самое удивительное, что утром, когда за пойманным партизаном пришли в свинарник полицейские, Ради там все еще не было. Свинопаса развязали. Он сказал, что хозяин вообще не возвращался, и сразу убежал в лес, как выпущенный на волю зверек. Полицейские посоветовались и решили, что один останется с арестантом, а другой поскорей пойдет в село и выяснит, что случилось с Карадушевым.

В лесу полицейский никого не нашел, на тропинке не было даже и следа человека, но зато на выгоне у села услышал он чьи-то стоны.

Прошел на цыпочках еще несколько шагов и что же видит? У куста лежит навзничь Ради и плачет.

Услыхал Ради шаги и закричал:

— Помогите! Есть тут кто-нибудь? Помогите!

— Ради, успокойся, не кричи, я тебя слышу! — Полицейский покосился в сторону леса. — Это я, Саздов, из участка. Что с тобой, почему ты лежишь?

— Саздов, братец! — заорал Ради. — Я заряжен адской машиной... Помогите, от тебя все зависит...

Полицейский замер как вкопанный.

— О чем ты говоришь? — поразился он. — Какая машина?

— Адская! Подойди поближе, я тебе объясню, сил больше нет терпеть... Подойди!..

— И отсюда хорошо слышно. Так что ты говоришь?

— Адская машина... Вчера вечером, когда я возвращался в свинарник, — начал объяснять Ради, — вдруг из темноты... выскочили двое и... Головы обвязаны, лица закрыты, не узнаешь кто... Двое... Здоровенные... Повалили меня... Связали... Зарядили адской машиной... За партизана... сказал один... Если двинусь — взорвусь... Ты меня слышишь, Саздов?

— Продолжай, продолжай... А ведь она, эта адская машина, наверно, с часовым механизмом? — догадался полицейский.

— Так оно и есть, — подтвердил Ради. — Тикает, как будильник. Сколько сейчас?

— Половина девятого.

— Вечера или утра?

— Да ты что... не видишь, солнце светит?

— Ничего не вижу, — застонал Ради. — Половина девятого? Что ж ты медлишь, Саздов? Я же помощи жду, помощи!

— Без паники! — сказал полицейский. — Помощь тебе будет оказана.

— Да когда же? Когда я взорвусь, что ли?

— Сначала дай мне сориентироваться в обстановке. Ты связан?

— Ох! — простонал Ради. — Пока ты будешь ориентироваться, я на небо вознесусь. Связан я, связан... И ноги, и руки... Вертками. Двинусь — тут-то адская машина и взорвется. А не двинусь — все равно взорвется. Они мне так сказали.

— Что они тебе еще сказали? — спросил полицейский.

— Забыл... Один говорил, что все сказано в записке, она приколата у меня на груди.

— Прочитай, что там написано.

— Я же головы не могу поднять. За шею привязан... Подойди, сам прочитай!

— Да я ходил в школу только до третьего класса... да и то когда был совсем маленький, — смутился полицейский.

— Беги, Саздов! — заревел в отчаянии Ради. — Приведи грамотных людей! Может, как раз в записке и сказано, как меня спасти... Ой-ой-ой!

Полицейский мгновенно отступил назад.

— Слушай! — сказал он. — Вот что я решил: побегу в село, а там видно будет, что делать. Нужно вызвать из района или из гарнизона какого-нибудь специалиста по разминированию, эта работа не каждому по плечу. А ты держись!

Не дождавшись ответа, полицейский быстро зашагал к селу, поднимая клубы пыли и все прислушиваясь, не раздастся ли взрыв, не засвистит ли над головой пуля. Случай с Карадушевым доказывал, что в лесу полно партизан и что они даром времени не теряют...

Часа через два полицейский вернулся на поляну вместе с помощником старосты, молодым учителем и несколькими крестьянами. Различив издали голос помощника старосты, Ради закричал:

— Свояк! Вы пришли?

— Пришли, пришли, — ответил помощник старосты, остановившись на почтительном расстоянии, чтобы по неосторожности или по неразумению не вызвать взрыва.

Еще по дороге полицейский объяснил, как заряжаются эти адские машины, и предупредил, что в траве наверняка скрыты провода, соединяющиеся с механизмом.

— Мы тут, — продолжал помощник старосты, — но будем стоять поодаль, чтобы тебя не взорвать. Пока мы здесь, можешь быть спокоен, ничего с тобой не случится.

— Вы для того пришли, чтобы стоять поодаль? Смотреть, как я взорвусь? — в отчаянии выдохнул Ради.

— Не будем мы смотреть, как ты взорвешься, — успокоил его помощник старосты. — Нас тут много, будь спокоен, выше голову!

— Не поднимай головы! — предупредил полицейский. — И веревку не натягивай!

— Сколько же я так буду ждать? Когда придет этот человек? Который сейчас час?

— До взрыва еще уйма времени, — успокоил его полицейский. — Тикает эта штука?

— Тикает. Оглох я от нее...

— Пусть себе тикает, — посоветовал полицейский и объяснил собравшимся: — Как только он мне сказал, что слышит тиканье, я сразу понял, что это адская машина. Ее одной хватит, чтобы разнести в щепки целый дом. А уж о человеке и говорить нечего — мокрого места не останется.

— Вы что, на гулянку собрались, свояк? — заскулил Ради,

убедившись, что ничего не делается для его спасения. — Не могу больше терпеть...

— Спокойно, свояк, спокойно! Знаю, тебе нелегко, но постарайся заснуть, так время пройдет незаметно.

— Иди-ка на мое место и попробуй заснуть.

— Нельзя мне двигаться, свояк: в траве полно проводов. В твоих интересах, чтобы мы не двигались.

— Записка все на том же месте? — поинтересовался полицейский.

— В глазах у меня потемнело, но вроде шуршит.

— Пусть там и останется.

— Господин полицейский! — вмешался молодой учитель. — Может, нужно ее прочитать? Ведь...

— Если насчет того, чтобы прочитать, то, думаю, среди нас неграмотных нет, — с важностью оборвал его полицейский. — Дождемся специалиста. А то взорвемся все, некому будет потом и доложить, что и как произошло.

После подобного предупреждения ни о каких действиях не могло быть и речи, оставалось только ждать. И все ждали, пока не прискакал на коне специалист. Он приказал всем отойти еще дальше и стал расспрашивать изнемогшего Ради.

— Пострадавший! Отвечай только на мои вопросы. Малейшая неточность — отпавишься на тот свет. И не ты один. Где заложена мина?

— Под одеждой.

— Где точно?

— На животе.

— Ты чувствуешь ее тяжесть? Как думаешь, сколько она весит?

— Килограммов десять или двадцать, но очень давит. Прямо душит меня.

— Не можешь ли поточнее определить, сколько килограммов?

— У меня на животе весов нет... Давит, как камень, большой камень.

— Чрезвычайно крупный калибр, супер, — определил специалист. — А еще что заметил?

— На шее какая-то тяжесть. И под мышками. Что-то сжимает мне грудь, как ремнем, и будто шипы в тело впиваются.

— Совершенно неизвестная система, — констатировал специалист. — Нужно немедленно вызвать человека из Шуменского гарнизона. Я ведь оружейник, во время военной службы имел дело с механизмами, но с такими — никогда. Пошлите кого-нибудь в Шумен. Меня направили к вам случайно, я в запасе уже пятнадцать лет.

Ради не слышал разговора, но бездействие растревожило его еще больше.

— Вы начали? — спросил он.

— Придется еще подождать, — ответил бывший оружейник.

— А не может эта штука сама разрядиться? — спросил Ради. — Вроде больше не тикает. Не может она как-нибудь исчезнуть?

— Это адская машина, а не что-нибудь... Куда она денется! Люди находят снаряды и пули, оставшиеся со времен турецкого рабства. Они пятьсот лет пролежали в земле, а ударишь — взрываются, и даже дым идет...

От объяснений бывшего оружейника Ради совершенно потерял голову и стал нести всякий вздор: то свояк звал, то просил вытереть ему пот, говоря, что совсем ослеп от пота, то воды просил, то умолял закрыть ему голову от солнца. Но как только ему казалось, будто кто-то приближается, он начал кричать, чтоб никто не подходил, не взорвал ненароком эту адскую машину. Сваяк его, беспомощный, как и все другие, ничего не мог придумать и только советовал ему заснуть и не мучиться. В ответ на эти советы Ради лишь обижался и изрыгал проклятия. И только когда оружейник предупредил, что мина может взорваться и от сотрясения воздуха, Ради умолк, и люди, вроде бы пришедшие помочь, перешли на шепот или совсем замолчали. Оружейник и полицейский посоветались и заявили помощнику старосты, что ничего другого не остается, как вызвать человека из Шуменского гарнизона. Но это было невозможно: времени, оставшегося до взрыва, не хватило бы на то, чтобы съездить в Шумен и вернуться обратно.

Тут снова вмешался учитель.

— Пока мы теряем время в бесполезных разговорах, — сказал он, — мы упускаем возможность спасти человека. Не могу больше смотреть, как он мучается. Надо во что бы то ни стало прочитать записку.

И, не дождавшись согласия полицейского, учитель смело направился к Ради; остальные вмиг попрятались — кто за дерево, кто за камень, кто в яму. За какую-то долю секунды поляна опустела. Из своих укрытий никто ничего не видел, но все тревожно напрягали слух: ждали, что вот-вот раздастся страшный взрыв и земля погребет их заживо.

Взрыва не последовало, но воздух задрожал от криков Ради:

— Пустите его сейчас же! Под мою ответственность... Отвечаю своим имуществом и авторитетом. Не медлите ни минуты. Сваяк!

— Не сотрясай воздух, свояк, — умоляюще отозвался помощник старосты из какой-то ямы. — Мы здесь, мы тебе поможем. Постарайся заснуть, прошу тебя!

Никто не поверил своим глазам, когда учитель вернулся цел и невредим. Но еще больше, чем благополучное возвращение учителя, всех поразило содержание записки, которую он принес.

— Слушайте и решайте, что будем делать, — сказал он. — Читаю: «Первое — взрыв последует ровно через двадцать четыре часа после того, как адская машина поставлена на объект. Второе — жизнь предателя можно спасти только ценой свободы захваченного партизана. Третье — в том случае, если захваченного освободят, предатель будет разминирован. Условие: окрестности должны быть очищены от полиции, соглядатаев и любопытных. Мы держим под наблюдением каждое дерево и каждый холм. Смерть фашизму, свобода народу!»

Удивление было так велико, что никто не проронил ни слова. Только голос Ради нарушил тишину:

— Свояк! Саздов! Отпустите парня сейчас же! Он неплохой паренек, хоть и с высшим образованием... Заманили его обманом, он мне сам признался... Отпустите его под мою ответственность... Я его поймал, я имею право им распоряжаться...

Возможность спасительного выхода, о котором говорилось в записке, ободрила присутствующих. Помощник старосты тут же стал уверять, что условия надо немедленно выполнять: из-за какого-то паршивого партизана, к тому же и с высшим образованием (и вообще неизвестно, настоящий ли это партизан), не по-христиански жертвовать жизнью Ради и оставлять сиротами троих его детей. Ради имеет заслуги перед отечеством, и его жизнь надо ценить... Он был ранен во время войны, селу от него большая польза, потому как к нему, к богатому человеку, прислушиваются даже в Софии.

Полицейский, однако, не соглашался.

— Пойманного ни в коем случае нельзя освобождать добровольно, иначе полиция окажется в неловком положении, а в неловком положении она быть не должна.

Не убедило его и заключение, что захват партизана равносильен смерти Ради, большого патриота.

— За его жизнь и мы возьмем жизнь, и государство ничего не потеряет. Потом, — заметил он мимоходом, — если я согласюсь, мой коллега не согласится, кто же ему заткнет рот?

— Насчет того, чтобы заткнуть рот, — ответил помощник старосты, — свояк сможет, денег у него хватит.

— Сколько? — заинтересовался полицейский.

— Свояк! — тотчас же крикнул помощник старосты. — Сколько дашь, чтобы заткнуть рот полицию?

— Пятьдесят тысяч.

— Он не один.

— И другому столько же.

— А тому человеку, которого зря гоняли взад-вперед? — вспомнил полицейский про оружейника.

— Много ли мне надо, я человек маленький, — скромно проронил оружейник.

— Свояк! — снова позвал помощник старосты. — Есть и третий.

— И ему столько же, сколько другим. Обдирайте меня, раз уж прижали к стенке, все разом. И пойманному, если хочет, заплачу, только поскорее... Меня сейчас самое время обдирать...

Однако неожиданное вознаграждение не заглушило полностью голос полицейской совести.

— Мы должны, — рассудительно сказал он, — с одной стороны, спасти жизнь этого замечательного человека. С другой стороны, не обманываем ли мы государство?

— Видите ли, — принялся объяснять учитель, — за голову партизана государство дает пятьдесят тысяч левов. Вы получаете сразу сто пятьдесят. Как за три головы. Но вы получаете их от Ради, а не от государства. Разве при этом государство теряет хоть один лев?

— В таком случае — да! — согласился полицейский. — Но обманывать государство я не согласен. А в таком случае — да!

С этого момента события развивались с молниеносной быстротой: перед тем как разойтись, все дали клятвенное обещание сохранить случившееся в строжайшей тайне. Решили доложить начальству в участок, что был схвачен не партизан, а обыкновенный браконьер, который хотел срубить дерево. Полицейский в сопровождении учителя пошел к свинарнику освободить партизана. Второй полицейский сразу же согласился. Заминка вышла там, где меньше всего можно было ждать: партизан отказался уйти в лес.

— Я, — заявил он ошеломленным полицейским, — предпочитаю получить пулю в лоб, а не в спину. У меня хватит мужества посмотреть смерти в глаза.

Уверения полицейских, что его отпускают на свободу, остались напрасными. Пришлось послать молодого учителя объясняться с партизаном: в сущности, его за тем и привели; знали, что партизан учителю больше поверит. Но если бы полицейские слышали, о чем толковали партизан и учитель, они бы онемели от изумления.

— Долго разговаривать сейчас некогда, — прошептал учитель партизану. — Главное, ты спасен. Скорей беги в лес. До завтрашнего утра мы тебя не тронем.

— Ничего не понимаю, — удивился партизан.

— Потом поймешь... И благодари брата, это он придумал... Шагай к пастбищу, там подождешь. Господин полицейский, — позвал учитель, — а оружие?

— Пусть убирается с оружием, — приказал Саздов.

— Не жирно ли это будет — еще и с оружием? — возразил другой полицейский.

— Мы же дровосека поймали, дурак! — огрызнулся Саздов.

Через несколько минут, когда партизан скрылся за деревьями, все трое облегченно вздохнули, переглянулись и, довольно потерев

руки, стали спускаться в село. Операция еще не закончилась, но самое трудное было уже позади.

В то время на поляне оставался только помощник старосты — все успокаивал Ради. Вопреки его настойчивым советам, Ради никак не мог уснуть, а с приближением вечера и рокового момента снова пришел в полное отчаяние: он расплакался, стал умолять свояка не оставлять его одного в темноте. Тот мужественно устоял, но, едва засветились в селе первые огоньки, покинул родственника на произвол судьбы. В общине он застал и остальных. Полицейские распорядились, чтобы никто не выходил на улицу.

К половине девятого напряжение у посвященных в тайну достигло предела. Часы, зажатые в кулаке, стали горячими. Когда стрелки дошли до роковой черты, все затаили дыхание. Но взрыва не последовало. Слава богу, вздохнули все, Ради спасен, ему повезло, будто второй раз на свет родился. Но радость оказалась преждевременной, потому что Ради не возвращался. Прождали еще час, прождали два, вышли за околицу, прислушивались, вглядываясь в темноту, но так ничего и не увидели, ничего не услышали. К тревоге за судьбу Ради примешивалось подозрение о страшном обмане. Особенно тревожились полицейские — они и долга своего не исполнили, и обещанных денег не получили.

И когда новый день рассеял вместе с первыми лучами солнца последнюю надежду, полицейский, тот самый, что первый согласился освободить партизана, процедил сквозь зубы:

— Теперь понимаете, почему я говорил, что партизан надо убивать и резать на куски?

— Да когда ты это говорил? Я что-то не слышал, — покачал головой второй полицейский. — Не знаю, как ты теперь оправдаешься перед начальством.

Взгляды, которыми обменялись полицейские, не предвещали ничего хорошего. Но тут в разговор вмешался молодой учитель, всю ночь неотлучно находившийся при них.

— Не будем спешить с выводами, — заметил он спокойно. — Пойдем на поляну. Там на месте разберемся.

Мертвой тишиной встретила поляна полицейских, помощника старосты и молодого учителя. Учитель первый заметил, что Ради лежит на том же месте. Полицейские, повернувшись к лесу с автоматами, сделали учителю знак: пусть мол, выяснит, как обстоит дело. Но напрасно они напрягали слух: ничего не было слышно, кроме легких, осторожных шагов учителя. Помощник старосты, сидя на земле, утирал слезы — ждал печального известия, думал, что со свояком все кончено. Взорваться не взорвался, но наверняка зарезали его, как ягненка.

— Ради, — послышался в тишине голос учителя, — ты жив?



— Нет, — еле-еле пробормотал заминированный Ради.

— Как нет? Ты же разговариваешь!..

— Я могу разговаривать, даже если и умер.

— Ночью кто-нибудь приходил к тебе разминировать?

— А?

— Что стало с адской машиной? Она все еще на том же месте?

— Я ее больше не чувствую. Ничего больше не чувствую...
Я теперь бесчувственный труп.

— А что это торчит у тебя из-под рубахи?

Оба полицейских и староста тотчас же бросились на землю и закрыли головы руками.

А тем временем молодой учитель нагнулся и вытащил из-за пазухи Ради самый обыкновенный, красный, хорошо обожженный и увесистый... кирпич. Пока полицейские и староста прижимались к земле и закрывали головы руками, а Ради лежал, закатив глаза, на поляне и тяжело дышал пересохшим ртом, молодой учитель ласково поглаживал кирпич и улыбался в усы.

Если бы в тот момент его увидел кто-нибудь из тех, кому было дано разгадывать человеческие улыбки, он бы без труда понял, что хотел сказать молодой учитель своей улыбкой: «Ну и славно же ты поработал, кирпичик!»

Павел Вежинов

(БОЛГАРИЯ)

В трясине

М

жду Капошваром и Надъканижнем вдоль белой дороги тянутся тихие, светлые рощи. Стоит на мгновение закрыть глаза, как со всех сторон обступят тебя воспоминания. Как вешние воды пропитывают почву, так и они глубоко проникают в мою душу. Зеленая штабная машина, подобно болотной птице, летит над стелющимся молочным туманом, мягко рокошет мотор. Тишина. Под нависшими ветвями прячется густой сумрак и сырость, зеленые воды каналов почти недвижимы. С веток ивняка свисают пучки высушенных водорослей, легко касаясь спокойной поверхности воды. Бесчисленные бабочки, белые и желтые, словно цветные пятнышки, оторвавшиеся от пейзажа, носятся над лугами и то замирают на молоденьких веточках, то снова порхают.

Штабная трехоска легко мчится по шоссе. Все молчат. Откинув головы на спинки сиденья, офицеры словно прополаскивают усталые от бессонных ночей глаза в прохладной синеве неба. Высоко, очень высоко, задумчиво и спокойно парит белая птица — маленькое белое затерявшееся облачко. И кажется, что войны нет и никогда ее не было, — так тихо вокруг и так мирно. Но достаточно опустить голову и взглянуть на дорогу — сразу же увидишь остовы разбитых и сожженных грузовиков, помятые каски, обломки оружия. Именно здесь, по обе стороны шоссе, вели бои те части, которые ворвались потом в дымящийся Ихарошбереньи.

Мы проезжаем еще несколько километров, тут рощи чуть отступают от дороги, освобождая место широким зеленым полянам. Цветы уже распустились, и над лугами стоит густой, пряный аромат. Странные сизые птицы проносятся над самой травой и исчезают в кустарнике. Пейзаж этот неожиданно кажется мне удивительно близким, знакомым. Он словно шепчет что-то теплым, тихим голосом моему сердцу.

— Остановись! — говорю я шоферу. — Стой!

Шея у шофера жилистая, уши синеватые, облупившиеся от суровых зимних морозов. Нажав на тормоз, он останавливает машину и с удивлением смотрит на меня. Что случилось? Офи-

церы потягиваются, потирают ушибленные при торможении колени. В самом деле, что произошло? Поблизости никого нет, кроме трех венгерских девушек, которые, подобрав подола длинных желтых юбок, чтобы не замочить их утренней росой, пересекают поляну. В высокой траве, как белые зайчата, мелькают их ноги. Заметив остановившуюся машину, они замедляют шаг. Конечно же, не из-за них остановилась машина среди пустых лугов.

— Вы видите, — говорю я, — тропинка идет не прямо, а делает большую дугу...

На лицах моих спутников недовольство: «Тропинка? Какое нам дело до твоей тропинки!»

— Смотрите, — волнуясь, продолжаю я, — трава за этой дугой совсем иного цвета. Вы видите — там она темнее, какого-то яркого, ядовитого тона...

— Да, это просто изумительно! — иронически замечает подполковник с чапаевскими усами.

— Там болота! — говорю я. — Вернее, там начинается трясына...

Но и это, по мнению моих спутников, вряд ли может быть достаточно серьезной причиной, чтобы останавливать машину, ведь мы ехали целую ночь и очень торопимся. Я вздыхаю:

— Ну, что ж! Хорошо, товарищ, поезжай! Поехали!

Но все же что-то грызет меня, и, когда мотор снова начинает урчать, я поворачиваюсь к сидящим позади.

— Не сердитесь, — говорю я. — Именно в этом месте произошел самый, быть может, героический эпизод в истории нашей войны. То есть мне он кажется самым героическим. Во всяком случае — самым необыкновенным... Я вам расскажу о нем.

Машина медленно тронулась, выхлопная труба два раза пальнула, и машина резко дернула. Кто-то за моей спиной галантно машет молодым венгеркам. А я не могу отвести взгляд от темно-зеленого гибельного ковра трясины — не могу оторвать от него ни глаз, ни сердца. И вдруг я словно вижу среди зелени под светлым венгерским небом призрачную, белую колонну-памятник. На ней нет ни трогательных надписей золотыми буквами, ни бюстов, ни венков. Только зеленая стальная каска лежит на вершине колонны. Вот и все! С легким шелестом машина делает поворот, и видение исчезает.

В дни мартовского наступления наша дивизия сокрушительным ударом пробил гитлеровские укрепления и, как любил говорить наш командир, с огромным воодушевлением «вломилась» в широкий прорыв. Деморализованные части противника, занимавшие первую линию обороны, не оказали серьезного сопротивления, и в тыл потянулся непрерывный поток понурых пленных. Отдельные наши части глубоко врезались в расположение врага и здесь впервые встретили решительный отпор. Власовцы, усташи и остатки поре-

девшей эсэсовской дивизии с яростной ожесточенностью пытались остановить наше наступление. По опыту, хоть и небольшому, бойцы знали, что с этим врагом бороться труднее всего. Одиночки-бандиты оставались на занятой нами территории, устраивали на деревьях, среди ветвей, «кукушечьи гнезда» и стреляли сзади с близкого расстояния, почти в упор. Они никогда не сдавались — отстреливались до последнего, зарывались в землю, одичав от злобы и ненависти. Темп наступления замедлился. К концу дня в штаб стали поступать донесения об энергичных и довольно успешных контратаках противника.

Усиленная рота, высланная вперед по шоссе, чтобы снова войти в соприкосновение с противником, наконец натолкнулась на его сильный заслон. Взводы веером рассыпались по обе стороны шоссе и залегли под яростным огнем. Дальше идти было невозможно — злобно стрекотали неуязвимые и невидимые в кустах фашистские орудия. Командир роты дал приказ окапываться и сам залег в стрелковом окопе, набросив на плечи трофейную плащ-палатку.

— Становится жарковато! — хмуро произнес он. — Похоже, что они и численно превосходят нас.

Поблизости ударил снаряд, и командир с досадой стер со лба комок земли. Это был крепкий, плечистый юноша, с тонкими, почти бескровными губами. Низкорослый подпоручик Касабов испытующе посмотрел на него.

— Думаешь, будут атаковать?

— Пожалуй, да! И мы должны быть готовы отразить атаку...

Противник усиливал огонь с каждой минутой, так что было уже невозможно поднять голову. Рота, видимо, вырвалась далеко вперед, потому что подкрепление все еще не подходило. Приданные подразделению минометы как будто провалились сквозь землю или были отвлечены стычкой, которая становилась все ожесточенней, где-то слева. Командир быстро отправил связного в штаб и приказал бойцам проверить боеприпасы. Боеприпасов хватит. Пока должно хватить. Когда стало ясно, что контратака скоро начнется, он собрал командиров взводов. Глаза его были серьезны, хотя он улыбался. Спокойствие ротного передалось младшим командирам, рассевающимся на выброшенной из окопа земле.

— Я надеюсь, что связь слева и справа установится в самое ближайшее время, — уверенно произнес командир. — Подкрепление, особенно огнем, нам дают. Но мне кажется, первое, что нам предстоит, — это отразить контратаку противника. Приготовьтесь встретить ее, как нужно.

— А как нужно? — попробовал пошутить подпоручик Касабов.

— Сами знаете, как нужно! — ответил командир со всей серьезностью. — Как мужчины и патриоты! Как истинные сыны своего народа!

Он снова испытующе посмотрел на взводных — усмешки как

рукой сняло, но не было видно и страха. Ничего, кроме решимости, сверкавшей в глазах.

— Хорошо! Очень хорошо! А теперь по местам!

Атака началась даже раньше, чем ожидал командир. Вдали замаячили сплошные цепи зеленоватых эсэсовских мундиров, противник устремился прямо на позицию роты, не прерывая стрельбы. Наши выждали, пока те приблизятся еще на сотню шагов, и открыли огонь из всех видов оружия. Зеленые цепи дрогнули и на миг исчезли в траве, но сразу же поднялись и были теперь совсем близко. Уже можно было различить их бледные, перекошенные лица, видно было, как они отцепляют гранаты. Удар должен был вот-вот обрушиться на наши позиции. Врага остановили гранатами. И скоро, словно каким-то чудом, вся поляна очистилась от мелькавших зеленоватых курток, от стрекочущих автоматов, от сиплых выкриков и команд. На зеленой траве лежали трупы и разбросанное снаряжение. Наступила тишина, глубокая и тревожная, нарушаемая лишь грохотом битвы на соседних участках — грохотом, который хотя и приближался и слышался все яснее, но все же был где-то сзади, в тылу. Стало совершенно очевидно, что рота зашла слишком далеко вперед и глубоко врезалась в расположение противника, что она почти изолирована.

Ротный снова созвал командиров взводов. Поджидая их, он размышлял; его волевое лицо было сурово, губы крепко стиснуты. Первым подошел подпоручик Касабов. Пуля перебила ему руку выше локтя, но он был возбужден успехом и даже как будто весел. Когда пришли и другие, выяснилось, что потери в роте значительны. Смогут ли они теперь сдержать новую атаку? Не будет ли это бесполезным и бессмысленным риском? Эсэсовцы превосходили их и численно, и техникой — в сложившейся обстановке было бы разумней отступить, чтобы выровняться с соседними частями. Командир роты колебался. Кругом наступление, а он будет отступать — это ему казалось обидным, да к тому же у него не было на это ни приказа из батальона, ни каких-либо распоряжений. Пока они взвешивали свои силы, гитлеровцы снова открыли огонь, на этот раз из легких противотанковых пушек, потому что их артиллеристы, видимо, еще продолжали отходить.

Трудный вопрос решился совсем неожиданно — от командира батальона прибыл связной с приказом отступить на три километра, к старым немецким блиндажам, и выровняться с соседями. Командир роты вздохнул с облегчением, потом озабоченно спросил:

— Но кто-то должен остаться, чтобы прикрыть наше отступление?

Офицеры умолкли и переглянулись. Хотя никто не называл имени, оно как будто было у каждого на устах. Во всех трудных и рискованных случаях, когда требовалось выполнить самое опасное задание, всегда выделялся один и тот же боец — сержант Кынчев. Его

знали не только в полку, но и во всей дивизии: знаменитый пулеметчик (его портрет дважды печатался во фронтовой газете), смелый, хладнокровный боец, для которого, казалось, не было неразрешимых задач.

— Не следовало бы все время им рисковать! — поморщился поручик Касабов, во взводе которого был Кынчев.

— По крайней мере, мы будем уверены, что он справится, — вздохнул подпоручик Любенов. — Да и у ребят, которые останутся, настроение подымется, если он будет с ними...

— Решено! — вмешался командир роты. — Оставим Кынчева со станковым пулеметом и отделение из второго взвода... Касабов, распорядитесь, чтобы сержант сейчас же прибыл ко мне!..

Вскоре ротный уже разговаривал с пулеметчиком, внимательно глядя в его худое, бледное лицо, в его спокойные, умные глаза. Сержант выглядел слишком скромно для своей громкой боевой славы — щуплая, почти мальчишеская фигура терялась в слишком широкой для него гимнастерке, на которой блестели два золотых солдатских креста.

— Останешься прикрывать отступление! — спокойно произнес командир роты, не сводя взгляда с его лица. — Задача трудная, но никто лучше тебя с ней не справится... Ты сам понимаешь, что будет, если они ударят в спину отступающему подразделению...

Сержант слегка улыбнулся.

— Есть остаться, господин поручик.

— Отделение хорошее, да и не думаю, чтобы гитлеровцы тут же пошли в атаку, — добавил командир. — Во всяком случае, ты не задерживайся здесь дольше, чем следует... Постарайся сохранить людей!..

— Понимаю, господин поручик, — кивнул сержант.

Командир почувствовал неловкость и смолк. Что еще мог он сказать? Разве мог он хотя бы намекнуть, как не хотелось ему именно сержанта оставлять на позициях? Нет, сейчас война, и всякая сентиментальность может дорого стоить. Рота уже оттягивалась назад, солдаты с болью покидали место, где только что погибли многие их товарищи. Поручик пожал твердую руку юноши и исчез в молодой зелени.

Огонь снова усилился, и сержанту пришлось ползком осматривать значительно укороченные теперь позиции. Солдаты, укрывшись в своих ячейках и отложив винтовки, упорно рыли лопатами влажную землю. Он обошел всех, каждому сказал что-то ободряющее. Парни обращали к нему свои обветренные лица, и, хоть они улыбались в ответ, он видел, что глаза у них озабоченные, серьезные и решительные. Закончив обход, Кынчев вернулся к пулемету, залег и стал внимательно рассматривать поле перед собой. Война — это он знал — дело сложное, и нельзя успешно вести бой без хорошо продуманного плана и тщательной подготовки.

Не прошло и десяти минут, как эсэсовцы снова пошли в атаку. Сержант смотрел вперед — зеленоватые мундиры снова бежали по голому полю, хотя и не так стремительно, самоуверенно и дерзко, как в первый раз. Противотанковые пушки вели прицельный огонь по окопам, яростно строчили пулеметы, поливая болгар огнем. Вскоре в бой вступили и минометы — резкий, зловеющий свист мин раздавался поблизости, немцы нащупывали болгарские позиции. Сержант тщательно прицеливался, но не стрелял: пусть подойдут поближе, еще немножко! Он нажал спуск, и его сразу же оглушил злой пулеметный лай. Передние цепи дрогнули, качнулись, в нерешительности попятились назад. Как всегда в подобные минуты, сержант почувствовал, что сердце его будто застыло в ледяном спокойствии, в душе все прояснилось, а руки стали особенно ловкими. Длинная пулеметная очередь не прерывалась, зеленые фигурки пригибались к траве, исчезали в ней, замирали. Поляна как будто снова опустела, но вражеские орудия продолжали ожесточенный обстрел болгарских позиций.

«Довольно!» — сверкнуло в голове сержанта.

Но цепи опять поднялись, и он сразу же припал к пулемету. Добрая половина артиллеристов, пытавшихся выкатить противотанковую пушку на огневую позицию, полегла, зеленоватая волна качнулась и затихла. Сержант снова навел пулемет на пушку и хрипло крикнул:

— Дай ленту!

Солдат за спиной не отозвался.

— Дай ленту! — повторил сержант, не сводя глаз с избранной цели.

И только сейчас он скорее почувствовал, чем понял, что случилась беда. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться в этом, — солдат лежал неподвижно, уткнувшись окровавленным лицом в землю. Пригнувшись, сержант подтащил к себе патронный ящик и вставил ленту. И как раз вовремя! Гитлеровцы поднялись, но он тут же заставил их снова залечь.

Пулемет смолк, и вдруг залегшие эсэсовцы открыли ураганный ружейный и пулеметный огонь. Им никто не ответил. Пока сержант тревожно прислушивался, совсем близко просвистела мина, и он приник к земле. Раздался треск, удушливо запахло взрывчаткой, к горлу подступила тошнота. Почему наши не отвечают? Он знал: справа от него Ане Косачев, слева Драго Петров. В начале атаки он слышал сухой треск их винтовок, потом все утихло.

— Ане! — громко позвал сержант. — Ане!

Ане не отвечал. Сержант осторожно выглянул из окопа и увидел вправо от себя неподвижную фигуру; тогда он посмотрел налево. Драго Петров медленно отползал назад, останавливался, потом снова полз.

— Стой! — закричал сержант в негодовании. — Ты куда?

— Я ранен! — глухим, слабым голосом ответил солдат.

Кынчев на мгновение увидел его землисто-желтое лицо.

— Куда?

— В живот...

— Лежи в окопе! — с ожесточением приказал сержант. — Если не отобьем их, все равно конец...

В ту же минуту послышались выстрелы слева, возле самого шоссе. Сержант вздохнул и инстинктивно посмотрел вперед. Гитлеровцы снова шли в атаку. Огонь, огонь, огонь! «Ты понимаешь, что будет, если ударят в спину отступающему подразделению!..» — «Так точно, знаю, господин поручик! — пронеслось в голове юноши, и от его очередей одна за другой ложились неприятельские цепи. — Знаю, знаю, господин поручик!» Продержаться бы еще четверть часа, и приказ будет выполнен. Хоть бы четверть часа! Слева опять раздался винтовочный выстрел, потом еще и еще! «Значит, в обороне я не один». Он с облегчением вздохнул. Что может сделать одна винтовка против этой мутной зеленоватой волны? Но какой прилив радости и бодрости ощущает человек, когда вдруг сознает, что он не один, что где-то поблизости его товарищ, затаив дыхание, следит за ходом боя.

Гитлеровцы возобновили атаку. Они чувствовали, что сил у обороняющихся все меньше, и отчаянно рвались вперед, но пулемет как будто косил их ряды, наступал повсюду, повергал в злобное отчаяние, не давал передохнуть ни минуты. Минометы и орудия наконец нащупали зловещую пулеметную точку, и земля вокруг вскипела от взрывов; влажная почва сыпалась на плечи юноши, на зеленоватую станину пулемета. Каким-то чудом и Кынчев и пулемет все еще были целы, и сержант продолжал стрелять.

Цепи противника снова залегли — на этот раз не далее чем в двухстах метрах. Сержант быстро взглянул на часы. Все! Пора, приказ выполнен. Хватит держать надвигающуюся волну, да он и не имеет права рисковать жизнью своих товарищей, если кто-либо из них остался в живых. Юноша с болью взглянул на пулемет, который так преданно служил ему во всех боях, закусил губы и ловко вынул замок. «Пора уже, пора!..» Обернувшись налево и направо, он громко и отчетливо подал команду: «Отступать! Немедленно отступать!»

Вражеский огонь все еще бушевал вокруг, и сержанту пришлось ползти. Взгляд его упал на неподвижную фигуру Драго Петрова, лежавшего возле стрелкового окопа. Солдату оставалось до него всего несколько шагов, когда смерть настигла его. Юноша, поколебавшись, подполз к нему, взял автомат убитого и сумку с дисками. Да, так надежней, чем с винтовкой, — не известно, что еще может случиться. Он быстро пополз, а перебравшись через небольшой холмик, выпрямился и побежал. На ходу он увидел, что вместе с ним отступает еще один солдат — здоровый, как медведь, парень из села Дюлево, Игнат Бойчинский. Он не один, не один! Юноша еще

прибавил шагу. Тишина на позициях должна была бы подсказать гитлеровцам, что перед ними уже никого нет. Может быть, лучше свернуть влево, к роще, вместо того чтобы отступать вдоль шоссе? Да, лучше! Путь длиннее, но надежнее. Разрывы за спиной участились, пули злобно свистели возле самых ушей. Время от времени снаряды противотанковых пушек подымали фонтаны влажной земли. Сержант снова обернулся. Бойчинский исчез из виду. Сердце сжалось от боли, и сержант продолжал оглядываться на бегу — не покажется ли где-нибудь знакомая рослая фигура?

В первое мгновение сержант не мог понять, как это случилось. Ноги неожиданно погрузились во что-то мягкое и вязкое, он едва вытащил их, сделал еще шаг и вдруг провалился по пояс. Трясина! Он нередко слышал от солдат страшные, гнетущие истории о трясиных, но никогда не думал, что сам может оказаться в трясине. Единственное, что он в силах был еще сделать, это повернуться лицом к врагу. По шоссе бежали эсэсовцы. По тому, что они были уже близко, по внезапно прекратившейся стрельбе орудий и минометов он понял, что в любую минуту враги окажутся в оставленных его ротой окопах.

Мертвячий холод, сковавший его ноги, казалось, подступал к сердцу, колотившемуся сильно и часто. Что делать? Собрав все силы, броситься к берегу? Оставить автомат и сумку, пустить в ход и ноги, и зубы, но выбраться на твердую почву? Одному, без оружия, с голыми руками выйти навстречу надвигающимся цепям? Это значит, его поймут, как зайца, поймут тотчас же. Нет, нет! Только не это. Все что угодно, только не это! Но почему? Ведь война кончается, ведь через неделю-две его все равно освободят из вражеского плена. Что-то яростно бунтовало в нем. Нет, нет, нет! Ни в коем случае!..

Внезапно гулкий шум мотора заставил его взглянуть на поворот шоссе. Целую долгую минуту, ни о чем не думая, он ощущал только, как густая грязь трясины, будто живая, затягивает его вглубь, ко дну, в ужасную могилу, где, может быть, столетиями лежат кости оленей и заплутавшихся домашних животных. Он тревожно прислушивался. Что это? Что-то непредвиденное, какая-то новая опасность для его товарищей?

В это мгновение на повороте шоссе показалась колонна мотоциклистов в низко надетых шлемах. Юноша тотчас понял: длительное затишье подсказало гитлеровцам, что обороняющиеся давно оставили свои позиции. И они сразу бросили вперед мотоциклистов, рассчитывая на то, что заставят болгар спешно занять не подготовленные для обороны позиции, и тогда их можно будет атаковать пехотой и смять.

Успела ли рота окопаться на новом рубеже? Времени для размышления не было. Мотоциклисты, сбавившие было скорость на повороте, уже мчались по прямой. Спустя мгновение они были почти

рядом, в каких-нибудь двадцати шагах от него, и, прицелившись, насколько это было возможно в засасывающей его грязи, сержант открыл огонь. Сердце подпрыгнуло от радости — колонна мотоциклистов рассыпалась, мотоциклисты так и валились на белую ленту шоссе. Дав длинную очередь, он быстро сменил диск.

Ошеломленные неожиданной стрельбой, мотоциклисты разворачивали свои машины и мчались обратно, преследуемые гибельным огнем. Внезапность нападения вызвала панику, эсэсовцы отступали. В этот момент на небольшом пригорке появились первые немецкие цепи и в недоумении остановились. Юноша дал по отступающим еще одну длинную очередь и снова сменил диск.

Итак, умирать придется здесь! Неожиданно на душе стало ясно и спокойно. Человек умирает один раз, и если это неизбежно, то, по крайней мере, надо умереть с честью. Это были не его слова, так не раз говорил их командир. Легкая сумка с оставшимися дисками лежала на поверхности липкой грязи и, наверно, не утонула бы, но все же он достал несколько дисков и сунул их за пазуху. Когда, наконец, гитлеровцы, поняв, в чем дело, пошли вперед, он снова встретил их огнем и увидел, как один из офицеров подогнул колени и рухнул лицом в траву. Здорово! Это действительно было здорово, особенно если учесть, как трудно было ему целиться.

Локти уже упирались в густую травянистую грязь, трясина неумолимо тянула его ко дну. Конец близок, совсем близок. Ничего, он умрет, но рота доберется невредимой до указанных позиций. На душе было все так же спокойно и легко. Он твердой рукой сменил диск и продолжил стрельбу. Эсэсовцы отступили назад и, укрывшись в окопах, оставленных его ротой, стреляли по сержанту одиночными выстрелами, как по мишени. Пули зловеще свистели вокруг, жужжали возле самых ушей, с мягким шумом шлепались в густую грязь, но он все еще был жив, — пули не задевали его, и казалось, что враги, ошеломленные неслыханной храбростью, невиданным подвигом, не могли даже как следует целиться.

Наконец пуля попала ему в грудь, и руки опустились. Одновременно со жгучей болью сердце словно раскололось и тихо, беззвучно всхлипнуло: «Мама!» Короткий возглас взлетел к нежно-голубому небу, словно белая птица. «Мама, мама... родина!» По юношескому лицу прокатились тяжелые, помутневшие от порохового дыма слезы: «Ты будешь жить, дорогая моя родина, моя дорогая мать!»

Стрельба умолкла.

Так погиб герой. Глубоко, в липком холодном мраке трясины, лежат его белые кости, но вверху, над зелеными полями, сияет солнце, живут и борются свободные люди. Они помнят, они всегда будут помнить подвиг героя и его последнюю чистую мысль о родине.

Ярмила Урбанкова

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Праге в мае 1945-го

К

раше никогда ты не была, —
пламя революции твои держали руки!
Полный материнского тепла,
голос твой, мне снившийся в разлуке,
встретил, обнял... Поезд был из Брно:
я стояла у вагонной двери,
широко раскрыв глаза — и все равно
им не веря.

Да, еще кровоточили раны всюду
и от пепелищ тянулся чад,
были свалены на перекрестке в груди
камни баррикад;
из волос бойцов еще не выветрился порох,
и не до конца покинул страх
женщин, у которых
лица были в радостных слезах;
с плит твоих дожди еще не смыли
след палаческий и пролитую кровь,
а уж ты, как сотни раз в былом, из черной пыли
поднималась вновь.

Но надежду светилась вся
поторжественней, чем на офортах старых и гравюрах,
будущему вешний свет неся
сквозь дрожанье сумерек нехмурых.
Еще танков гром последний в отдаленье
не отгрохотал,
а уже слилось гармоник пенье
в праздничный хорал,
для которого копила звуки
ты еще от Жижки, с давних пор:
это власть Советы брали в руки,
миллионы голосов сведя в единый хор...

**Не была ты, Прага, краше никогда —
пламя революции держала на ладони!
Вновь свободна. Дружбою горда.
В майском, из огня добытом, звоне.**



Михаил Исаковский

(СССР)

Слово о России

С

оветская Россия,
Родная наша мать!
Каким высоким словом
Мне подвиг твой назвать!
Какой великой славой
Венчать твои дела!
Какой измерить мерой —
Что ты перенесла!

В годину испытаний,
В боях с ордой громил,
Спасла ты, заслонила
От гибели весь мир.
Ты шла в огонь и в воду,
В стальной кромешный ад,
Ложилась под танки
Со связками гранат;
В горящем самолете
Бросалась с облаков
На пыльные дороги,
На головы врагов;
Наваливалась грудью
На вражий пулемет,
Чтобы твои солдаты
Могли идти вперед...
Тебя морили мором
И жгли тебя огнем,
Землею засыпали
На кладбище живьем;
Тебя травили газом,
Вздымали на ножах,
Гвоздями прибывали
Во вражьих блиндажах...

Скажи, а сколько ж, сколько
Ты не спала ночей
В полях, в цехах, в забоях,
У доменных печей!
По твоему призыву
Работал стар и мал:
Ты сеяла, и жала,
И плавил металл;
Леса валила наземь,
Сдвигала горы с мест, —
Сурово и достойно
Несла свой тяжкий крест...

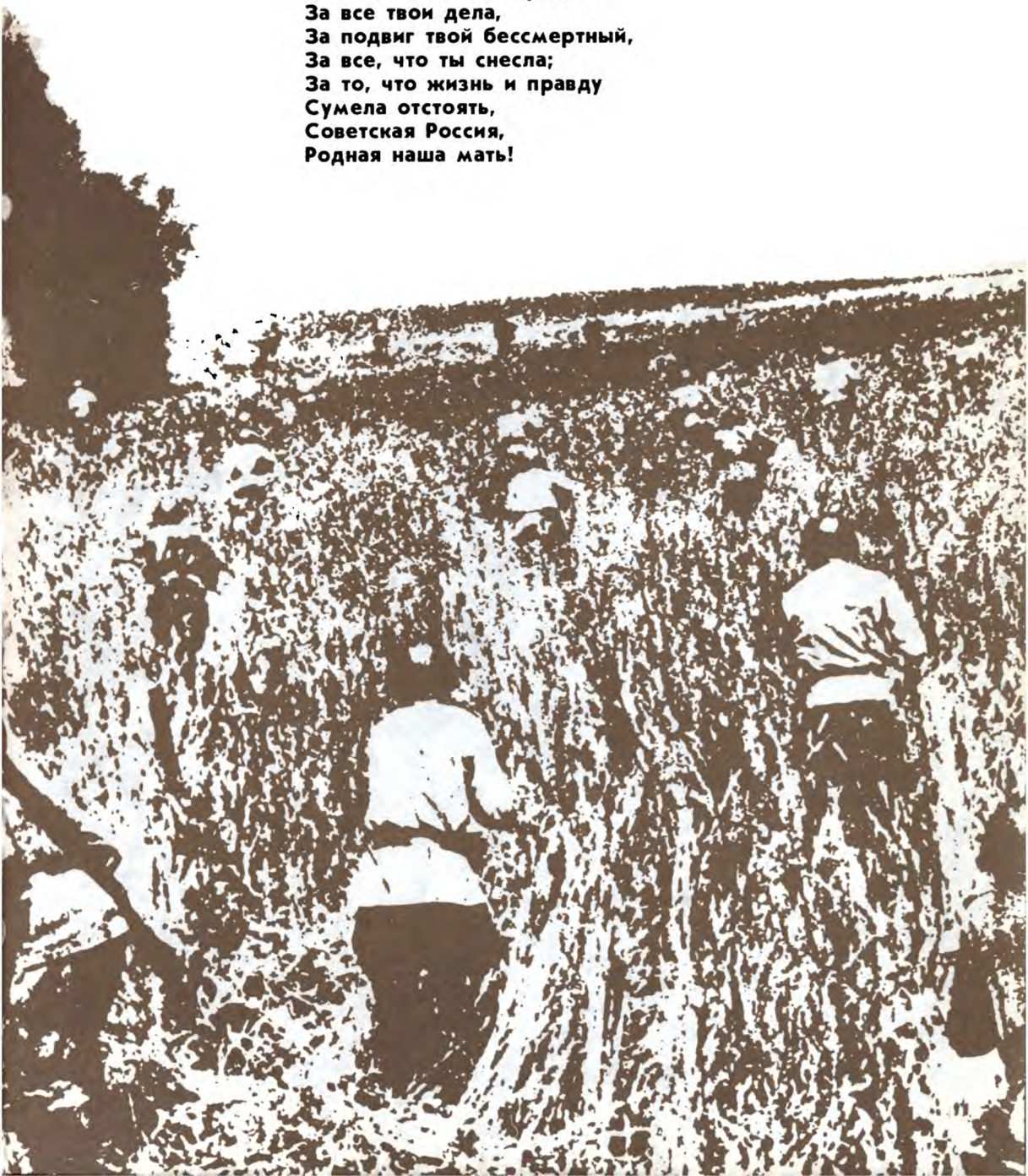
Ты все перетерпела,
Познала все сполна.
Поднять такую тяжесть
Могла лишь ты одна!
И, в бой благословляя
Своих богатырей,
Ты знала — будет праздник
На улице твоей!..

И он пришел! Победа
Твоя недалека:
За Тиссой, за Дунаем
Твои идут войска;
Твое пылает знамя
Над склонами Карпат,
На Висле под Варшавой
Твои костры горят;
Твои грохочут пушки
Над прусскою землей,
Огни твоих салютов
Всплывают над Москвой...

Скажи, какой же славой
Венчать твои дела!
Какой измерить мерой
Тот путь, что ты прошла!
Никто в таком величье
Вовеки не вставал.
Ты — выше всякой славы,
Достойней всех похвал!
И все народы мира,
Что с нами шли в борьбе,



**Поклоном благодарным
Поклонятся тебе;
Поклонятся всем сердцем
За все твои дела,
За подвиг твой бессмертный,
За все, что ты снесла;
За то, что жизнь и правду
Сумела отстоять,
Советская Россия,
Родная наша мать!**





Мира Алечкович

(ЮГОСЛАВИЯ)

Не дай им бог вернуться

Н

е дай им бог вернуться, этим дням
без капли солнца и без крохи хлеба,
когда над нами горестное небо
дождем рыдало с кровью пополам.

Люциан Шенвальд

(П О Л Ъ Ш А)

Красная Армия

З

ащитница свободы! Правды свет!
Звезда на шлемах ярче всех планет,
И солнцем на шинелях кровь искрится!
Верна, как смерть! Дороже, чем десница!

Когда, сметая все нещадною рукой
И попирая все ногой чугунной,
Враг шел, как шли в средневековые гунны,
Страна Советов поднялась стеной,
Преградой мощной от земли до неба.
Здесь залпов огненных пронесся шквал,
И заблестел штыком здесь каждый стебель,
И каждый пень mortarой зарычал.
Враг шел, но перед ним зияла бездна,
Тела взрывались под дождем железным,
Пылали реки, дыбились мосты,
Вонзались факелом живым кусты,
Ощерились сады и огороды...

О армия, несущая свободу,
Теперь идешь лавиной грозной стали,
Хребет врага дробишь на позвонки!
С горящим взором, с гневными устами,
В сиянье славы движутся полки.
Ты городами вновь овладеваешь,
От черной крови землю очищаешь.
О красноезвездная, прими благословенье
За то, что ты даришь освобожденье!
Я слышу твоего похода шум,
Твоих стратегов мудрых славлю ум,
Борцов твоих упорство воспеваю,
В твоих победах мужество черпаю!

Какая радость, честь для нас и гордость,
Что вместе гнали мы фашистов орды!

Что наша кровь лилась струей одной,
Что из одной мы фляги воду пили!
Оружие, что вы нам в дар вручили,
Мы сложим разве в мавзолей святой.
И будут приходить в благоговенье
Туда, как в храм чудесный, поколения.
Там наши будут изучать сыны
Историю своей родной страны!



Ян Беньо

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Школа открывается в мае

В

ойна загнала нас в подвал. Труднее всего было маме, хотя для нее и отгородили закуток. Ходить она не могла, только сидела на постели и, поглаживая раненую ногу, раздраженно бормотала:

— Ой, проклятая! И сколько же ты меня будешь мучить? Уж лучше бы тебя отрезать!..

К маминым словам прислушивался и, похоже, что-то решал про себя добродушный русский капитан с золотыми зубами. Он ушел, не сказав ни слова, но под вечер вернулся с военным врачом. Когда они спустились в подвал, Мартин прищурился, потому что врач нес в руке яркую карбидную лампу. При свете ее, подобном свету июльского солнца, подвал показался совсем убогим.

На столе появился кувшин с теплой водой и таз. Врач разложил инструменты на чистом полотенце. Через несколько минут осколок был извлечен из маминой лодыжки и положен возле кувшина. По размеру и форме он напоминал чесночную дольку; грани у него острые, цвет темный. Врач обработал рану и облегченно улыбнулся:

— Все в порядке!

Тетя Вильма вытерла маме вспотевший лоб.

Мартин тихо вздохнул. Больно, наверное, ой, как больно было маме! Но она ни разу не вскрикнула...

Капитан шутил, что через пару дней привезет гармошку и посмотрит, как мама умеет плясать. Его лицо со следами оспы казалось Мартину красивым и добрым. Что бы такое подарить русскому капитану, чем бы отблагодарить его? У Мартина не было ничего, и он запечалился.

На прощание капитан пошутил, что, дескать, они с удовольствием освободили словацкую ногу от немецкого осколка. Улыбаясь, капитан уходил вслед за врачом, и, казалось, яркое солнце следовало за ним. Наш подвал снова погрузился во тьму, пока глаза не привыкли к мерцающему отблеску горелки.

Мама лежала тихо. Мартин обмывал осколок и говорил:

— Оставим на память. Покажем отцу, когда вернется...

— Кто знает, что теперь с ним? — печально отозвалась мама.

До следующего полудня шел тяжелый, мокрый снег, который прибавил воды и грязи. Снегопад кончился внезапно, как будто бы для того, чтобы мир стал еще более прекрасным. Мартин и его младший брат Ондрей вышли из подвала и увидели такое!..

...Даже сосед Йомбик не знал, что рано утром через его двор и гумно прошли на луга три установки «катюш».

Раздался какой-то необычный рев, и над деревней стремительно понеслись огненные стрелы. Казалось, они скользят по невидимым желобам. Лучше всего их было заметно над вершинами дубов: вот-вот заденут и подожгут.

Ребята застыли, остолбенев. Они даже забыли позвать своих товарищей, но те и без их зова вылезли из укрытий. Грохот, залпы, следующие один за другим, веер огня из гвардейских минометов — красиво, но страшно. Взгляд невозможно оторвать от черты горизонта, за которой исчезает летящий огонь; уши глухнут от свистящих звуков, будто воздух разрезают огромные сабли.

И вот наступила тишина, словно ничего и не было. Да, такое можно увидеть не часто!

Никому не хотелось спускаться в подвал. Невдалеке ловко взбирался на холм маленький вездеход. Снизу из деревни тащились две подводы, запряженные низкорослыми терпеливыми лошадьми. Никто не видел, заехали они во двор или продолжали путь мимо дома Кулиха, потому что на реке разорвался снаряд. Вода столбом взлетела высоко вверх. Немцы все еще продолжали сопротивляться.

Снова раздалось несколько взрывов. На них мгновенно, двойным залпом, ответили «катюши», и опять наступила тишина.

Мартин, вернувшись в подвал, рассказал маме о «катюшах».

— Подожди, выздоровеешь — и сама увидишь, как они стреляют!

— Хорошо бы, только стрельбы я боюсь.

— Почему? — удивился Мартин, а про себя подумал: «Моя мама какая-то странная: «катюши» ее не интересуют! Даже бабушка смотрела на них, даже старая Слободникова, да все таращили глаза».

— Шли бы русские вперед, — сказала вдруг мама. — Чем дальше продвинуется, тем скорее кончится война.

Мартин задумался. Кончится война... Когда это будет? Он не знал. Он не знал даже того, что творилось в деревне, потому что мама теперь не выпускала его наверх. Он чувствовал себя сейчас маленьким и потерянным. Надо бы спросить военных, как у них обстоят дела. Но кого? Капитан ушел, других офицеров тоже не видно. А тот, что сидит у телефона, видно, очень сильно занят. И вообще, кто знает, где сейчас проходит фронт?..

Через полчаса появился молодой старший лейтенант и с ним еще какой-то военный, который скрылся за перегородкой у двери и сидел там в полутьме, так что погон было не видно. Потом он зажег свечку — стало понятно, что это тоже старший лейтенант, — взял

записную книжку, полистал ее и что-то записал. Временами он задумчиво вглядывался в людей, сидящих в подвале. И снова что-то записывал. Долго смотрел на Мартина, жавшегося к бабушке, потом подозвал его.

— Ну-ка, мальчик, — сказал старший лейтенант и подал Мартину блокнот. — Посмотри на эти цифры и подсчитай, что получится. Вот тебе карандаш.

«Карандаш» — это новое русское слово, но Мартин понял, что оно означает. Он взял у офицера карандаш и посмотрел, что написано на листочке в клетку. Там не буквы и не слова, а знакомые арабские цифры, и из них составлены дроби:

$$\frac{2}{3} : \frac{1}{2} = \dots$$

Дроби, деление дробей... Чтобы разделить дробь на дробь, надо... Но дальше Мартин не помнил. А ведь он это знал. Деление дробей проходили еще в прошлом году, в пятом классе... «Попробуем так: два разделить на один — будет два, три разделить... нет, не выходит. Три разделить на два... тогда не получается целое число. Как же ее решать, эту задачу?» Мартин уставился в угол, он вспомнил свою школу, ребят, с которыми учился с первого по пятый класс, представил себе учителя, доску, но никак не мог вспомнить, как же разделить дробь на дробь.

— Ну что, ученик, не знаешь? — спросил старший лейтенант. Мартин потупился и перевел взгляд в сторону.

— Знаю, только... Надо крест-накрест. Или как? Наверно, так: два разделить на два — будет один. Пишем один в числитель. Три разделить на один — три. Тройку — в знаменатель. Получается одна треть. Или наоборот? Нет, одна треть, — и Мартин написал:

$$\frac{2}{3} : \frac{1}{2} = \frac{1}{3} .$$

Он вернул блокнот и карандаш старшему лейтенанту. Тот бросил взгляд на ответ и покачал головой.

— Нет. Неправильно... Ты сделал ошибку... Ну-ка, подумай!

«Шипку, какую шипку? — подумал Мартин. — Еще раз... Но что такое шипку?»

Это слово мешало думать. «Может быть, надо умножить? Дважды один — два, трижды два — шесть. Получается две шестых. Теперь надо разделить». Мартин чувствовал себя, как на экзамене. «Нет, не так. Надо что-то перевернуть, и потом... Что потом? Сложить, вычсть, разделить?»

— Не знаю, — признался он.

— Смотри, — офицер показал на двойку в числителе первой дроби и на двойку в знаменателе второй дроби и написал в ответе

четверку в числителе. — Дважды два — четыре! — Потом он показал на единичку в числителе второй дроби и на тройку в знаменателе первой и написал три. — Единожды три — три! Вот видишь, здесь надо умножить крест-накрест:

$$\frac{2}{3} : \frac{1}{2} = \frac{4}{3}.$$

Понял?

Мартин кивнул. Но на этом дело не кончилось. Старший лейтенант вел себя как настоящий учитель: он спрашивал, напоминал, объяснял.

— Такие примеры должен уметь решать любой ученик пятого класса, где бы он ни учился — в Советском Союзе, во Франции, в Польше, в Англии или в Чехословакии.

Отговорку Мартина, что тот с июня не учится, учитель в офицерской форме не принял. Он сказал, что некоторые вещи забывать нельзя: что стоило хоть иногда взять клочок бумаги и карандаш, чтобы посчитать, вспомнить пройденное. Война скоро закончится, надо будет быстро нагонять упущенное.

Мальчик опустил глаза и переступил с ноги на ногу. «Еще хорошо, русский не знает, что меня приняли в гимназию!.. Какой я болван! Ведь ясно, что надо было делать! И как это я забыл?»

Перед уходом старший лейтенант вырвал листок из блокнота и протянул Мартину.

— Это тебе, чтобы не забывал... И помни: надо учиться! У вас уже скоро откроется школа.

— Чего ты мялся? — с ухмылкой спросил Мартина Ондрей, когда офицер ушел. — Покажи мне этот пример.

Мартин протянул брату листочек, тот посмотрел и без колебания признался, что не смог бы решить этот пример. «Слава богу, старший лейтенант не позвал на помощь Ондрея, а то что бы он подумал о нас? Скажет, в Чехословакии самые слабые ученики в мире! Тринадцатилетний не умеет разделить дробь на дробь!» — сокрушался Мартин.

— У меня все вылетело из головы, — пожал плечами Ондрей.

— Ничего удивительного, — вздохнул Мартин. И добавил, вспомнив слова старшего лейтенанта: — Не забудь, что через несколько недель откроется школа.

— Ну да... Как бы не так. Раньше чем осенью не начнем учиться, — возразил брату Ондрей. — Сначала надо, чтобы война кончилась, потом надо навести порядок...

— А мы тем временем все будем забывать? — возмутился Мартин. — Так? Этого тебе хочется, да?

— Я от этого не страдаю, — снова пожал плечами Ондрей. — Мне вот хочется поскорее из подвала выйти. Знаешь, сколько патронов, сколько осколков от снарядов валяется повсюду?

Мартин направился к маме, а в голове сверлило: «Дурак я, как это я мог про дробь забыть? Крест-накрест. Хорошо еще, что врач помог маме, иначе это был бы мой самый черный день».

Поезда не ходили, об автобусах не могло быть и речи, и все же в день Первого мая в город устремились тысячи людей из ближних и дальних окрестностей.

Мартин был удивлен: сколько народу отправляется ранним утром из их деревни! Идут в город и дедушка, и дядя Томаш. Мартин радовался, что они взяли с собой его, и не переставал удивляться, что в день Первого мая в город зачем-то спешили и самые богатые люди, которые раньше никогда не признавали этот день — праздник трудового народа.

Толпы заполнили улицы, хлынули к городской площади. Там уже собралось много демонстрантов. Кто-то говорил с трибуны. Но самое интересное — это парад советских войск. Такого Мартин еще не видел. Повсюду праздничное, радостное настроение. Встречались знакомые, обменивались новостями, обсуждали, где фронт и где что случилось.

Мальчики вместе с тетей Эвой возвращались из города домой уже около шести часов вечера. Восемь километров пути не представляли для Мартина особого труда. А через три дня эти прогулки в город и обратно станут для него повседневной обязанностью: начинается учеба в гимназии.

...В день открытия занятий, ранним утром, Мартин постучался к своему товарищу Пало Мудраку. Он только что встал. Пришлось подождать, пока Пало умылся, оделся, поел. Йожа Оравец, третий ученик гимназии из их деревни, догнал приятелей у последних домов.

Ребята шли через лес и через пастбище до Лескового, а потом вдоль железнодорожной линии до города. Судя по часам Йожи Оравца, путь их занял свыше двух с половиной часов.

Гимназия — на другом конце города. В первый день ученики осмотрели двухэтажное здание только снаружи. Их собрали на спортивной площадке, распределили по классам. Потом они выслушали речь директора и разошлись. Мартин почти час ждал Мудрака и Оравца, пока те прощались со своими одноклассниками. А Мартин ни с кем еще не сошелся, во всем классе он знал одного только Судора, да и то потому, что Судор иногда приходил со своей мамой в их деревню. Мартин чувствовал себя одиноким. Ученики старших классов напоминали ему преподавателей, и он не знал, с кем надо здороваться, а с кем не надо.

На следующий день в классах начались занятия. Мартин сел около высокого белобрысого мальчика и напряженно ждал, что будет дальше. Некоторые девочки выглядели как барышни и делали



вид, что они старше и умнее всех. В классе было тихо, но преподавателю этого показалось мало, потому что первые его слова прозвучали упреком:

— Нельзя ли потише?

Он сел за стол и раскрыл тонкий черный журнал. Ему, похоже, было около тридцати, и выглядел он очень строгим. Гладко зачесанные волосы, холодный взгляд, очки в тонкой золотой оправе... С минуту учитель смотрел в журнал, потом поднял голову и бросил в класс:

— Багиль!

Мартин вздрогнул. Он так растерялся, что лишь открывал рот, не зная, что должен делать, чего хочет от него преподаватель.

— Багиль! — повторил тот так громко, что у самого даже вздрогнули мясистые щеки.

— Здесь... — ответил Мартин приглушенным голосом, неловко вскакивая и ударяясь коленкой о парту. — Я здесь...

— Не надо слов! Только встать. Я с вами сейчас не собираюсь знакомиться обстоятельно! — долетели от учительского стола холодные насмешливые фразы.

Мартин был так ошарашен, что стоял как вкопанный, и долговязый сосед потянул его за пиджак: дескать, садись!

— Бредоны! — раздалось в классе.

Ученик встал, преподаватель бросил на него беглый взгляд и выкрикнул следующую фамилию. Так он быстро проверил всех учеников, закрыл классный журнал, встал.

— Гимназия — это школа для избранных, — начал он монотонным голосом, глядя поверх учеников. Очки у него неприступно поблескивали, гладкое, неподвижное лицо было бесстрастно. — Никто вас не заставляет сидеть здесь. Кому не нравится, тот пусть остается дома. Там вы можете насвистывать, как детвянские¹ парни!

Он произнес слова «детвянские» и «парни» с таким пренебрежением, что после них захотелось вытереть губы платком.

В классе стало тихо, как в могиле. Ноги у Мартина похолодели, лоб горел. Он еще никогда не чувствовал себя таким униженным. «Какая страшная эта гимназия!» — отдалось в нем как-то без слов, потому что при таком учителе даже про себя подумать это — и то жутко.

На второй урок пришел преподаватель постарше, с тихим голосом; на третий — нервная учительница математики. Занятия вошли в свою колею. Необходимо было быстро пройти программу. Восемь месяцев школьного года уже миновали, а с сентября начнется новый учебный год.

¹ Детвянский, от слова «Детва» — название города и района в Словакии, отличающихся своим национальным стилем, колоритом, обычаями. Напоминает болгарское Габрово.

На третье утро Мартин шел в гимназию только с Мудраком. Йожа Оравец уехал на велосипеде. «Хорошо ему, — думал Мартин, — через полчаса на месте». На обратном пути домой Мартин почувствовал, что ботинок начал жать и натирать ногу, пришлось разуться и топтать босиком вдоль железной дороги: «Если бы гимназия была поближе!»

Мир его был теперь ограничен дорогой в гимназию, обратно домой и занятиями. В гимназии он чувствовал себя неуютно, но знал, что должен выдержать. Ох уж этот классный руководитель!.. Как замирало в его присутствии сердце!.. Даже во время самой страшной стрельбы, когда они сидели в подвале, Мартину не было так жутко.

Но лучше об этом не думать. Лучше считать шаги. Один, два, три... и так до ста, а потом снова. Шагать и шагать. Обогнать своих одноклассников в учебе, заслужить уважение учителей, сделать так, чтобы они ему улыбнулись и его похвалили. Во время перемены выбежать во двор и, если его остановит какой-нибудь старшеклассник, засмеяться ему прямо в глаза: «Ха-ха-ха, попробуй поймай меня, если можешь!..»

В пятницу на большой перемене Йожа Оравец предложил Мартину отвезти его домой на велосипеде. Пусть ждет на окраине города. После уроков Мартин пошел в книжный магазин, где во дворе продавали учебники русского языка. Через полчаса он держал в руке тонкую книжечку — первый учебник, который он купил как гимназист.

Русский язык преподавала приятная молодая учительница. В ее присутствии Мартин не чувствовал себя таким скованным. Когда учительница спросила, каким словам научились ребята у советских воинов, оказалось, что Мартин знает больше всех.

— Откуда ты, Мартин? — спросила учительница.

Ее интересовало и то, каждый ли день ходит он из деревни в город, и сколько это километров. С такой учительницей можно было бы заниматься и два урока подряд.

Мартин уже представил себе, как дома сядет за этот учебник. Надо как можно скорее запомнить алфавит, научиться читать и писать, чтобы его похвалила учительница Блажова.

Мартин шел через город к тому месту, где должен был ждать его Йожа. Тот появился примерно через полчаса, толкая велосипед перед собой. Обе покрышки промялись до ободов.

— В камерах полным-полно дыр, — грустно заметил Оравец. — Они старые, да и дорога плохая. Был я у одного приятеля, хотел клеить, да где там...

— Теперь потащишь домой на себе? — спросил Мартин.

— Даже не подумаю! Тут недалеко живут знакомые, так что у них и оставляю... Где бы достать новую камеру?

В пригороде Йожа свернул на одну из улочек. Мартин ждал

долго, потом не выдержал и один направился домой по шоссе. Дорога разбита, вся в выбоинах. Вдоль железной дороги идти полегче, но хочется посмотреть на луга и поля. Было довольно тепло, и поэтому ногам, обутым в ботинки, становилось жарко. Опять мозоли набьются и пятки начнут кровоточить, пока Мартин доберется до Лескового и попадет на тропинку к Гаю.

Мартин тащился по шоссе, преодолевая искушение свернуть на луг и разуться. Но вдруг услышал сзади гул мотора и свернул на обочину. Пока он шел из города, его обогнали уже три машины. Но этот военный «газик», проскочив мимо, остановился. «Что-то сломалось, — подумал Мартин. — Нет, офицер, что сидит рядом с шофером, видно, хочет меня о чем-то спросить».

Советский офицер пригласил мальчика в кабину, и через секунду Мартин оказался на заднем сиденье. Когда капитан узнал, что Мартин — ученик гимназии и каждый день проходит такой долгий путь, то велел шоферу довезти мальчика до самой деревни.

— Мне повезло, что я пошел по шоссе! — хвастался Мартин матери.

Наскоро пообедав, он открыл учебник русского языка. На первой странице алфавит — буквы письменные и печатные. Мартин старался запомнить печатные, чтобы затем немного почитать. Вечером, сидя у лампы, он делал урок. Его не задавала учительница Блажова, он сам его придумал. И вот Мартин уже прочитал первый рассказ, который назывался «Бабушка и внучка».

«У бабушки была внучка. Внучка была маленькая и много спала. Однажды бабушка...»

Завтра первый урок — русский.

«Если учительница попросит кого-нибудь почитать, я первый подниму руку!» — решил Мартин.

Утром он отправился в гимназию в приподнятом настроении.

Учительница вошла в класс и сказала, что урок отменяется: закончилась война, Германия капитулировала. Все гимназисты выбежали на площадь. Играла музыка, радостное оживление царило вокруг, в марше шли советские войска...

«Бы-ла у ба-буш-ки внуч-ка», — в ритме марша повторял Мартин. Сейчас ему следовало бы вспоминать о стрельбе, о первом русском капитане, появившемся в их подвале, обо всем, что он видел и что пережил за последние месяцы. Но не это приходило ему на ум. Война кончилась сегодня, а он ощутил это еще тогда, дома. Сейчас Мартин шагал вместе со всеми, и новый учебник русского языка, лежащий у него в портфеле, представлялся ему чем-то живым, греющим душу. Пусть будет весело и радостно, военные это тысячу раз заслужили. Ага, даже строгий классный руководитель улыбнулся, когда наклонился к учительнице русского языка и что-то сказал ей. Мартин смотрел по сторонам: радость, радость вокруг! Закончились долгие и необычные каникулы, но кто видел смерть,

тот не будет прыгать, как козленок. Не сможет. Он будет серьезным, будет думать, как начинать новую жизнь.

Для Мартина начало — русский алфавит, который он по-настоящему пока не знает. Сразу овладеть им нельзя, хотя тот первый рассказ так врезался в память, что забыть его отныне невозможно: «У бабушки была внучка...»

Слова эти заворожили Мартина. Они — как маленькие песчинки, которые он уже не выпустит из своей ладони; а потом к ним присоединятся другие.

Ян Пиларж

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Сержанту Нине Семеновой

З

а город наш в бою очередном
Ты, пулей сметена, упала в травы
И, причастившись вечности вином,
Спишь в самом сердце города Остравы.

Боярышника белые цветы,
Как мраморные...
Шахты и заводы
Твой марш возносят к небу — слышишь ты! —
И соловьи тебе слагают оду!

Святая, под рабочим мастерком
Гудит земля, торопит прилежанье,
Дрожит —
и окровавленным виском
Ты чувствуешь, сержант, ее дрожанье.

Стон раненых, и бред, и забытье —
Все в прошлом, как пропетая былина...
Но сердце милосердное твое
Стучит в моем! И это правда, Нина!

Какие были у тебя глаза —
Не знаю. Имя только на граните...

О юные! Пусть минет вас гроза,
Пускай грома умрут,
А вы — ж и в и т е!



Андраш Табак

(ВЕНГРИЯ)

Игрушечная железная дорожка

М

Маленький допотопный паровозик, с сердитым фырканьем тащивший товарный состав, остановился на Берлинской площади Будапешта, пропуская идущую к Уйпешту колонну советских танков.

На вагонах было написано мелом:

«КАРТОФЕЛЬ ГОЛОДАЮЩЕЙ СТОЛИЦЕ».

С площадки последнего вагона соскочил худенький темноволосый мальчуган лет двенадцати. На нем было коричневое пальто, а на боку болталась сумка с американской эмблемой. Из-под непомерно длинного пальто виднелись полосатые арестантские брюки, а голову прикрывала шапчонка из той же грубой ткани. На шапке стоял номер: 27059.

Два полицейских с трехцветной венгерской лентой на рукавах и коренастый, широкоплечий красноармеец, наблюдавшие за работами по восстановлению разрушенного бомбежками Западного вокзала, с удивлением уставились на мальчика.

Грохоча тяжелыми бутсами, мальчик перебежал улицу, не обращая внимания на устремленные на него взгляды. Красноармеец поднял руку.

— Эй, малец, иди-ка сюда!

Полицейские неподвижно стояли, опершись на ружья, и не спускали глаз с шапки мальчика.

Отбросив недокуренную сигарету, красноармеец снова позвал:

— Ну иди же скорей!

Мальчик вздрогнул и замер на месте. В его больших карих глазах промелькнул страх, губы и подбородок задрожали. Резким движением рванув ремни сумки, он засеменял к красноармейцу нерешительными, робкими шажками. Не смея поднять глаз, молча уставился на выпачканные грязью сапоги солдата.

— Ты из концлагеря? — спросил тот, ткнув пальцем в круглую шапчонку.

На мгновение мальчуган поднял глаза и, казалось, весь оцепенел от ужаса.

Красноармеец что-то пробормотал. Смущенно улыбаясь, он вынул из кармана полплитки шоколада и протянул ее мальчику.

— Ну бери же, — подбадривали его полицейские. — Скажи ему: «Спасибо, товарищ».

Но мальчик молчал. Он спрятал шоколад в сумку и, не в силах вымолвить ни слова, с окаменевшим лицом, все так же упорно глядел в землю.

Насупившись, солдат торопливо шарил в карманах гимнастерки. Вынул старые, погнутые часы и сунул их в дрожащую ручонку.

Теперь мальчик едва заметно улыбнулся и тихо сказал:

— Спасибо, товарищ.

Солдат басовито расхохотался. Он обнял мальчика, крепко прижав к себе тщедушное тельце.

— Гитлер капут! — весело воскликнул красноармеец. — Фашистам капут. Ну, будь молодцом!

— У тебя кто-нибудь остался в городе? — спросил полицейский.

Утвердительно кивнув, мальчик отошел.

Красноармеец сдвинул шапку на затылок и снова закурил. Его лицо, до этого такое добродушное, стало жестким и суровым.

Полицейские провожали мальчика взглядом. Они смотрели, как он, перепрыгивая через канавы и воронки, быстро зашагал по тротуару, пересек улицу Подманицкого и скрылся из виду.

Миновав улицу Сонди, мальчик остановился перед чудом уцелевшим домом, одиноко возвышавшимся среди развалин. Ни один снаряд, видимо, не задел этот дом, не была повреждена даже крыша, уцелели и каменные кариакиды, поддерживающие карниз первого этажа. Но больше всего удивляла совершенно целая стеклянная вывеска:

«Парфюмерные товары Микши Ротмана. Настоящая парижская косметика. Вход со двора, налево».

Под вывеской вкривь и вкось прямо по стене известкой было намалевано:

«СПЕКУЛЯНТОВ ЗА РЕШЕТКУ!»

Мальчик прочитал надпись, улыбнулся и бежал в ворота. Поднявшись на четвертый этаж и выйдя на галерею, он с опаской посмотрел вниз. Сердце его забило так неистово, что он был вынужден прислониться к перилам. Во дворе, там, где когда-то выбивали ковры, стояла рослая дворничиха и с любопытством наблюдала за ним.

Пересилив волнение, он быстро прошел в конец галереи и постучал в дверь с медной табличкой: «ИМПЕ НОВАК».

Ему тотчас же открыли. Худенькая, миловидная женщина удивленно смотрела на него. Некоторое время они стояли так, в недоумении разглядывая друг друга. Мальчик нервно теребил ремни сумки.

— Здравствуйте, тетя Магда.

Женщина не ответила. Побледнев, она рывком втащила его в переднюю. С радостным изумлением вглядываясь в мальчика, недоверчиво качала головой.

— Андриш! Мой Андришка! — выговорила она наконец.

Судорожно прижимая мальчика к груди, женщина осыпала его поцелуями. Андриш закрыл глаза, губы задрожали. Чтобы не расплакаться, он снова начал тереть ремни сумки.

— Имре! Габор! — закричала женщина. — Идите скорее, смотрите, кто пришел!

В дверях появились невысокий круглолицый мужчина и белокурой мальчик лет семи с игрушечным паровозиком в руках.

— Смотрите, — сквозь слезы сказала она. — Это Андриш. Вернулся...

Мужчина взял мальчика за руку и увел в комнату. Магда все еще плакала. Сжимая в руке свою игрушку, Габор растерянно поглядывал то на мать, то на дверь, за которой скрылся отец с незнакомым мальчиком.

— Кто это? — с тревогой в голосе спросил он.

— Да это же Андриш, — всхлипнула мать, — твой двоюродный брат Андриш. Неужели ты его не узнал?

«Ведь он же умер», — с удивлением подумал Габор и заглянул в столовую. Отец присел на корточки перед мальчиком, и оба они смеялись чему-то. Андриш рассказывал:

— «Спасибо, товарищ!» — вот как я ему ответил.

Андриш вынул из кармана пальто часы, но они выскользнули у него из рук на паркет.

Габор с интересом разглядывал худенького темноволосого мальчика в такой чудной одежде и с трудом узнавал в нем Андриша Новака, своего двоюродного брата, который умел придумывать такие замечательные игры. Ему всегда было обидно, что Андриш бывал в их доме так редко, да и самого Габора почему-то уже давно-давно перестали возить к ним в гости. Как странно! Откуда же он приехал? И почему говорили, будто он погиб?

Габор радостно подбежал к Андришу.

— Здравствуй, Андриш! Что это на тебя напялили?

— Здравствуй, — ответил мальчик. Он встал и солидно, как взрослый, пожал младшему руку. — Это пальто мне дали американцы. Оно, правда, у меня неказистое, зато теплое. А полосатая пижама — это моя арестантская форма.

«Да ведь он был в плену! — вспомнил Габор и густо покраснел. — Конечно, его забрали из Сольнока вместе с родителями. Мы ведь так плакали, когда узнали об этом».

Совсем растерявшись, Габор стоял, моргая ресницами. Он чувствовал, что расспрашивать об этом нельзя.

— В лагере мы все ходили в такой одежде, — не без чувства превосходства над братом пояснил Андриш. — Знаешь, где Берген-

Бельзен? Я был там. Как, ты даже не знаешь, где это? Ну разумеется, в Германии.

Мужчина ласково погладил Андриша по щеке.

— Сейчас не надо рассказывать об этом. Как-нибудь потом... Ты ведь, наверно, голоден. Пошли обедать!

За столом женщина украдкой утирала слезы, а мужчина не мигая смотрел в пространство. Оба они, казалось, избегали взгляда Андриша. А тот тоже молчал, целиком занятый едой. Высунув кончик языка, он старательно накладывал на жареную картошку тоненькие ломтики сала.

Один лишь Габор болтал без умолку:

— После обеда мы будем играть в железную дорогу, ладно? Папа у меня молодец! Он сделал мне длиннющие рельсы, и теперь поезд можно запускать по всей комнате. Мы построим станции и будки. Я умею их складывать из кубиков.

— А железнодорожники у тебя есть? — с набитым ртом спросил Андриш.

— Конечно. У меня не меньше сотни всяких фигурок. Я набрал их из разных игр. Они будут и пассажиры и железнодорожники.

Его все больше радовало, что Андриш вдруг очутился здесь. С ним будет куда интереснее играть в железную дорогу, чем с отцом. Папе-то ведь, честно говоря, все это порядком надоело.

— Ты бы остался у нас на несколько дней, — предложил Имре. — Да, да, это было бы лучше всего. Отдохнул бы немного.

Андриш решительно замотал головой:

— Я еду завтра. Хочется поскорее увидеться с родителями. Поезда в Сольнок ходят?

— Разумеется, ходят, — растерянно пробормотал Имре. Отодвинув тарелку, он начал вертеть в руках сигарету.

После обеда Магда раскрыла шкаф.

— Давай-ка поищем тебе что-нибудь попримочнее. Нельзя же ходить таким чучелом. Хорошенько вымойся и переоденься.

Лицо мальчика помрачнело.

— Можно мне в этом остаться? — робко попросил он. — Не сердись на меня, тетя Магда..

— Но ведь... — Она запнулась. — Твой костюм...

— Но мне хотелось бы показаться в нем папе и маме.

Наступила тягостная тишина.

— Да, да, конечно, — невнятно процедил мужчина. — Я тебя понимаю. Не приставай к нему, Магда. Он по-своему прав.

Женщина испуганно посмотрела на мужа, потом на мальчика и нерешительно прикрыла дверцу шкафа.

— Ну, тогда хоть вымойся, — тихонько попросила она. — Я тебе согрею воды.

— А я разложу рельсы. — Вскочив со стула, Габор опрометью ринулся в соседнюю комнату.

Когда Андриш ушел в ванную, Магда со страхом взглянула на мужа.

— Как же мы ему об этом скажем?

Имре сидел потупившись. Лицо его было мрачным.

— Потом. Нельзя же так сразу.

— Это ужасно, — прошептала женщина. — Сиротка несчастный! Боже, боже мой! Бедняжечка ты моя!

Мужчина вздрогнул:

— Замолчи! Ну что ты запричитала?

Раздраженно хлопнув дверь, он вышел из комнаты.

Из ванной доносился шум воды. Имре постоял с минуту в нерешительности, а потом постучался и вошел.

Не стесняясь своей наготы, Андриш продолжал весело плескаться.

— Когда же ты мылся в последний раз? — спросил мужчина, примостившись на ящике для белья.

— Совсем недавно. В американском санатории мы купались каждый день. Что-то, а ванны там были замечательные. Огромные такие. А еще там была одна сестричка, ее звали Мей. Мей меня очень любила и мыла каждый день.

— И ты не стыдился? Да ты же ведь совсем большой мальчик.

Андриш взглянул на него с изумлением.

— Ну а что тут такого? В лагере нас часто оставляли голыми. Когда фрейлен Лиз с врачом били нас, они всегда заставляли раздеваться догола.

Мужчина не решался посмотреть на мальчика. Боялся, что на худеньком тельце еще не зарубцевались раны. Он закурил.

— Как же ты к нам добрался?

— Влез на подножку. Все перескакивал с поезда на поезд. Ехал только на тех, что уж точно шли сюда. — С минуту он помолчал, а затем добавил: — А все же я удрал из санатория. Кто знает, когда бы нас оттуда выпустили! Мне так хотелось поскорее увидеть маму и папу!

Поперхнувшись дымом, мужчина закашлялся. В замешательстве он не сводил глаз с сигареты.

— Надеюсь, ты еще не куришь?

— Разок я уже пробовал, — с лукавой усмешкой признался Андриш. — Стащил сигарету у американца. Только дым уж очень драл горло.

— Ах ты мошенник! — притворно-сердито проворчал мужчина, а у самого чуть было не сорвалось: «А что бы сказал на это отец?»

Когда Андриш вымылся и вернулся в комнату, рельсы были разложены. Теперь уже Андриш не казался Габору чужим. На Андрише был надет мамин голубой купальный халат. Хотя мама и подшила наспех подол и рукава, он был мальчику чуть не до пят. В папиных тапочках Андриш совсем утонул; зеленый шарф, которым ему

обмотали голову, походил на настоящую чалму. Словом, это был их прежний Андриш. Габор никак не мог вспомнить, когда же он был у них в последний раз. Дети не виделись так давно, что у Габора осталось лишь смутное воспоминание об их встречах, и все же он был уверен, что это тот самый Андриш, весельчак и заводила, с которым всегда так весело было играть.

Ему хотелось, чтобы двоюродный брат рассказал про лагерь, но спрашивать он не решался.

А Андриш в это время думал: «Тебе-то хорошо. Ты оставался с папочкой и с мамочкой. Тебе не надо было никого бояться. Даже фрейлен Лиз и врачиху. Что ты знаешь обо всем этом?»

Ему бы хотелось рассказать, как это страшно — вечно всего бояться... И об уколах, которые врачиха делала детям в руку и в бедро. После них наступал паралич, а потом смерть.

Но он стеснялся говорить об этом. И без того, наверно, думают, будто он задается и привирает. Ведь он сам узнал многое лишь там, в санатории, где медсестрой работала Мей. Услышал случайно разговор взрослых и не сразу поверил.

«Ничего-то ты не знаешь, — рассуждал он про себя. — Мал еще. Глупый маленький несмышлениш. Не смог бы ты этому поверить, а если бы и поверил, так струсил бы, не спал бы всю ночь... Это поймут только папа и мама».

— Ну идем же играть! — окликнул Габор, с гордостью показывая на железную дорогу. — Настоящий поезд! Мне подарил его дядя.

«Да. Это немецкий поезд! — подумал Андриш, и у него сжалось сердце. — Те вагоны так же монотонно постукивали: тук-тук, тук-тук».

Он взял в руку маленький товарный вагончик с крошечными буквами ДР¹. Такая же надпись была и на настоящих, только там еще на дверях огромными буквами было выведено по-немецки: «Внимание! Евреи! Направляются в Берген-Бельзен».

В груди у него что-то оборвалось.

Он вспомнил, как с платформы их стали загонять в вагоны, а папа вдруг куда-то исчез. Мама ни на минуту не выпускала руки Андриша. Она прижимала его к себе, спиной заслоняя от пинков, грубых толчков и ударов прикладами. Была невероятная давка. Слышались всхлипывания и стоны.

«Где папа?» — спросил мальчик, когда толпа втокнула их в вагон.

По лицу матери текла кровь. Нежными сильными руками она все крепче прижимала его к себе.

«Он едет в другом вагоне, — прошептала она. — Здесь ведь только женщины и дети».

Что было дальше, он плохо помнил.

¹ ДР — государственная железная дорога (нем.).

Андриш осторожно поставил вагончик на рельсы и начал рассматривать выстроившиеся около них фигурки. Красные, зеленые, синие, черные. Ну конечно, их не сто, но все же порядочно. Он знал все эти игры. Когда играли в «Кто быстрее», он всех обыгрывал. Правда, он немножко жулил при этом, но никому не удавалось его уличить. Уже смеркалось. Габор ползал на четвереньках по паркету. В увлечении высунув язык, передвигал цветные кубики: он строил вокзал.

«Ты, наверно, думаешь, что там были самые обычные станции? С залами ожидания, носильщиками, проводниками? А на самом деле там, рядом с железнодорожными путями, стоял один-единственный барак. Над ним развевался флаг со свастикой. А вокруг колючая проволока. И солдаты в черной форме эсэсовцев с собаками...»

Он наклонился, чтобы получше рассмотреть игрушечных солдатиков. Потом поднял с полу одного из них, в черном мундирчике, и положил себе на ладонь. Это была изящно вырезанная маленькая фигурка. Вертя ее в руках, Андриш вспоминал: «У фашистов на фуражках красовался череп с оскаленными зубами. «Выходи! Выходи!» — кричали они, открывая двери вагонов. Играл духовой оркестр. Лаяли собаки. Вместе со мной мама прыгнула на землю, и я уткнулся ей в спину. А потом меня вытолкнули вперед. Там стоял солдат в черном мундире. Нас с мамой вывели из строя...»

— Ты только взгляни! Смотри же скорей! — кричал в восторге Габор. — До чего же красивая получилась станция! Ну что ты на это скажешь? А башни у нас тоже будут?

В старинном подсвечнике горело три свечи. Мальчики не заметили, как Магда принесла их и поставила на радиоприемник.

— Ты что, не слышишь? — нетерпеливо воскликнул Габор. — Я спрашиваю тебя, строить нам башенку?

— Нет, не надо.

«Там не было никаких башен, — вспоминал Андриш. — Вот только одна — на том доме, который стоял недалеко от путей. Из его трубы все время валил густой, тяжелый дым. Над воротами готическими буквами было написано: «Баня».

Магда разожгла железную печурку. Весело затрещал огонь.

— Вон там, — показал Андриш, — построй одноэтажный дом. Рядом с рельсами. Длинный барак. И пусть на крыше будет башенка и труба.

«Туда забрали маму. Солдат в черной форме вытолкнул нас из строя и пытался оттащить меня от мамы. Она вцепилась в меня и упала на колени. Мама что-то истошно кричала не своим голосом. Две женщины в фашистской форме подняли ее и заставили встать в ту очередь, которая вилась в несколько рядов вокруг барака с трубой, а меня подвели к стоящему поодаль столу. Около него столпилось много детей. Врачиха в белом халате улыбнулась мне.

«Не бойся, мальчик», — сказала она по-венгерски. Сидевшая с ней рядом тетя в форме тоже заулыбалась. Эта женщина с длинным лошадиным лицом и была фрейлен Лиз. «Мама пошла в баню, она скоро вернется», — объяснила врачиха».

Его рука задрожала. Андриш поставил солдатика в черном мундире рядом с другими фигурками.

— Не надо играть в железную дорогу, — еле слышно прошептал он. — Эта игра плохая. Очень плохая. Дома у меня есть маленький поезд, но я никогда не буду в него играть.

— Готово! — закричал Габор. — Готов домик! Здорово я его построил! А труба-то какая! Да посмотри же!

Что и говорить, дом Габор соорудил на славу. С башенкой и трубой. Только вот флюгера на нем не было.

Андриш опустил голову. Пламя печурки придавало его волосам рыжеватый оттенок.

«Надо будет спросить маму, почему она не вернулась тогда ко мне. Ну конечно, ее не пустили, а меня одурачили. Я так плакал! Меня заставили встать в шеренгу с другими детьми, и всех нас повели в лагерь. «Хватит! Хватит! — сердито ворчала врачиха-венгерка. — Большой мальчик, а такой плакса». Надо было броситься на нее с кулаками! Вцепиться зубами ей в руку!»

— Поезд отправляется! Внимание! Поезд отправляется! — кричал Габор. — Просим пассажиров быстрее заходить в вагоны!

Габор битком набил вагоны маленькими куколками.

«Да они же у тебя задохнутся... Как у нас в вагоне... — подумал Андриш. — От этого и умерла одна старушка. Мама подняла меня к окну. На окне была решетка... Поезд шел очень быстро. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Так он мчался, наверно, несколько дней. Не было ни еды, ни питья. В горле пересохло... «Воды...Воды... — стонал я. — Мамочка, хочу пить!» — «Мы скоро приедем, — шептала мама. — Осталось недолго. Там будет много-много воды... Наберись терпения», — все время повторяла она».

У Андриша на лбу выступили капельки пота.

Габор нажал кнопку пуска и засвистел. Поезд тронулся. Он несся по кругу, и его колеса мерно отстукивали: тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

Андриш сидел неподвижно, стиснув зубы.

«Как странно, — удивлялся Габор. — У него такое лицо, будто он очень рассердился».

— Хочешь сам запускать поезд? — по-дружески предложил Габор. — Будешь стрелочником! Вот маленький рычажок — его надо поворачивать вправо и влево.

Поезд мчался все быстрее и быстрее. Маленькие куколочки падали друг на друга и стучались о стены вагонов.

Андриш, казалось, застыл. Только губы его дрожали.

— Не буду играть, — прошептал он.

Не слушая его, со сверкающими глазами, Габор возбужденно кричал, подражая репродуктору:

— Внимание! Поезд останавливается! Просьба выходить!

Он повернул рычаг, и поезд замедлил ход.

— Не хочу играть в железную дорогу! — вскочив, закричал Андриш. — Ты что, не слышишь? Сейчас же прекрати!..

Худенькое личико Андриша исказилось от душившей его злобы, глаза метали молнии.

— Но пассажирам... — растерянно пробормотал Габор. — Но пассажирам ведь надо выходить...

— Нет!

Андриш изо всей силы ударил ногой по станции. Кубики разлетелись во все стороны. Потом он растоптал одноэтажный домик с башенкой и трубой.

— Ой, что ты делаешь? — Габор смотрел на приятеля вытаращенными от изумления глазами.

Все тело Андриша дрожало.

— Ты плохой мальчик, — всхлипывал Габор. — Я никогда больше не буду с тобой играть!

Вскрикнув, Габор ринулся к рельсам, но опоздал. Маленький паровозик уже разлетелся на куски.

Закрыв лицо руками, Андриш разрыдался.



Сергей Наровчатов

(СССР)

Солдаты Свободы

П

олощут небывалые ветра
Наш гордый флаг над старым магистратом.
И город взят. И отдыхать пора,
Раз замолчать приказано гранатам.

А жителей как вымела метла,
В безлюдном затеряешься просторе...
Как вдруг наперерез из-за угла
Метнулось чье-то платьишко простое.

Под ситцевым изодранным платком
Иззябнувшие вздрагивают плечи...
По мартовскому снегу босиком
Ко мне бежала девушка навстречу.

И, прежде чем я понял что-нибудь,
Меня заполонили гнев и жалость,
Когда, с разбегу бросившись на грудь,
Она ко мне, несчастная, прижалась.

Какая боль на дне бессонных глаз,
Какую сердце вынесло невзгоду...
Так вот кого от гибели я спас!
Так вот кому я возвратил свободу!

Далекie и грустные края,
Свободы незатоптанные тропы...
— Как звать тебя, печальница моя!
— Европа!

Янко Есенский

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

На братиславских кладбищах

С

Павшим русским героям

мерть — сеятель. При факельных огнях,
под пушек гром и ружей грохотанье
могилы рассеивает. Чтоб в веках
вершины три¹ украсились цветами.

Смерть ради жизни, каждый павший — брат,
который, смерть поправ, погиб за брата,
сорвав замки с запечатленных врат,
поставленных и запертых когда-то.

Замки, затворы — их не перечить —
ногам ходить мешали, оку — видеть,
лишали крыльев дух, губили честь
и обучали только ненавидеть.

А сколько славы — Волга, Эльба, Дрин!
От Дона к Одере и от Днепра до Шпрее,
и Сталинград, и Вена, и Берлин...
Вы спите здесь, в тиши, вблизи аллей.

Вы мать-отчизну возвратили нам,
и мы, склонившись у могилы братской,
«Покойтесь с миром», — произносим вам,
вам, павшим, вам, живым в земле словацкой.

¹ На гербе Словакии изображены три горные вершины.



Иоахим Новотный

(ГДР)

Новость

П

орой я вижу во сне, как ко мне сломя голову бежит маленький Домель. И в тот же миг меня пронизывает страх. Между нами лежит серая пустошь, по ней поземкой несутся крупинки первого в эту зиму снега, дует холодный ветер. Маленький Домель мчится с противоположной стороны. Он размахивает руками, борется с порывами ветра, что-то кричит, но я ничего не могу понять. Вот он исчезает в ложбинке. Потом, не переставая кричать и жестикулировать, появляется вновь. И я думаю: «Что же там опять случилось?»

Всегда, когда маленький Домель прибежал вот так, случалась какая-нибудь беда. Мы жили на отшибе, в одиноком домике на опушке леса. Дорога к нам петляла по меже. У маленького Домеля она отнимала слишком много времени. Чтобы добежать до меня через пустошь, ему нужно было не более пяти минут. Правда, под конец он не мог выговорить ни слова, с жадностью ловил губами воздух, сил у него оставалось только на пыхтение. Так было и тогда, в феврале сорок пятого года. Незадолго перед тем раздалось несколько громовых ударов, от которых задрезжали стекла; наши куры шумно взлетели над домом, хлопая крыльями, словно дикие утки, а из щелей серыми струйками посыпалась по стенам известь. Через пять минут появился маленький Домель и беззвучно крикнул: «Бомбы! Они сбросили бомбы». Я со всех ног кинулся в деревню. Там, где раньше был дом Пабеля, сейчас стояла одна печная труба. Она протягивала свой оголившийся остов в дымный воздух. От стен сохранилась лишь груда камней. Под ними, как нам сказали, осталось лежать семейство Пабеля: дедушка, бабушка, внуки. Только молодая фрау Пабель случайно уцелела. Стоя на краю глубокой, как колодец, воронки, она так плакала, будто хотела залить этот кратер своими слезами.

То было в войну. Что значит мир, я не знал. Я только снова и снова видел, как, жестикулируя, крича и под конец не в силах сказать ни слова, бежит ко мне маленький Домель. И думал: «Что же там опять случилось?»

Однажды он появился одновременно с грохотом рвущихся за его спиной снарядов. Это было уже в апреле. Я решил, что началось наступление. Но Красная Армия еще стояла за рекой, ожидая своего часа. Только артиллерия вела огонь. Маленький Домель произнес беззвучно: «В гравийном карьере. В карьере у Цишанга!»

Мы кинулись туда со всех ног. Сил у меня было больше, поэтому у цели я оказался первым и без помех мог рассмотреть место происшествия; у самой стенки карьера, круто поднимающейся вверх, лежал мертвый немецкий солдат. Примерно посередине ямы, на песке, я обнаружил не менее четырнадцати отпечатков подошв. Значит, здесь стояла карательная команда.

«Он хотел смыться», — сказал маленький Домель, поравнявшись со мной.

Я знал, что немецкие солдаты расстреливали теперь каждого, кто хотел смыться из их рядов. Это была война. Но каким будет мир? Неуверенными шагами маленький Домель приблизился к мертвому. Он огорчился, что у того сорваны погоны. На них могли быть звездочки. Маленький Домель был охоч до таких звездочек. Но почему-то я не слышал выстрелов, убивших человека, который не захотел больше воевать. Видимо, их заглушил гром орудий. Или ветер дул в другую сторону, не было этой вьюги, с которой сегодня пришлось бороться маленькому Домелю. Странно, что на нем нет летного шлема. Обычно он с ним не расставался. Хотя речь, скорее, идет о шлеме мотоциклиста. Для тепла к нему с обеих сторон были подшиты наушники, они застегивались у подбородка, и вид у маленького Домеля был такой, как будто он и в самом деле в радионаушниках, потому шлем и называли летным. Он был на нем и тогда, летом. Война уже кончилась, но сидела в нас все еще глубоко. Нас по-прежнему охватывал страх, когда вот так, крича и жестикулируя, прибежал маленький Домель.

«Наш старший, — через силу выдохнул он, — мой брат!» На этот раз бежать куда-то уже явно не было смысла, на этот раз все уже было кончено. Сперва маленькому Домелю нужно было отдышаться. А может быть, еще есть надежда, что старшему Домелю удалось нечто необыкновенное. Он гораздо мастерить. Если ему в руки попадала палка, он в два счета вырезал из нее трость с витым узором. Из пустых спичечных коробков он мастерил целые города. Из обгорелых спичек — ветряные мельницы и машины. Самой лучшей из его поделок была трехмачтовая шхуна, она отлично держалась на воде и, не опрокидываясь, переплывала мельничную запруду. Однако в последнее время старший Домель, естественно, чаще мастерил военные машины. Подводные лодки, самолеты. Среди его находок был нерасстрелянный зенитный снаряд, он возился с ним до тех пор, пока снаряд не взорвался. «Правую руку, — сказал маленький Домель, — правую руку напрочь оторвало. Он в больнице».

Я опустился на козлы и подумал: скорее всего, мастерить старшему Домелю уже не придется. А мужественный маленький Домель кусал краешек своего летного шлема, стараясь не разреветься.

Вот какие новости приносил маленький Домель, когда прибежал к нам сломя голову. В летном шлеме или без него. Но на этот раз шлем действительно был бы очень кстати: ветер резок и снежная пелена становится все плотнее. Но Домель вот-вот будет здесь. А пока я могу еще думать о разном. И о том, что в последнее время он все чаще приходит обычным путем, а если бежит через пустошь, то неторопливой рысцой и, прибежав, сразу же может говорить. Снова начались занятия в школе. Бруно Цишанг, которого все на свете числили в покойниках, вернулся домой. Умер дедушка Домеля, умер естественной смертью, в своей постели, от старческой немощи. В окружном городке люди видели, как наш бургомистр пил чай с советским офицером. В лавке выдали дополнительный паек — искусственный мед. Я, правда, опоздал его получить, потому что с этой новостью маленький Домель не слишком торопился.

И вот я снова вижу, как ко мне бежит маленький Домель. Он размахивает руками и кричит, борется с ветром и снежной завирухой, первой в эту зиму. А летного шлема на нем нет. Я думаю: «Опять случилось что-нибудь ужасное, почему я не слышал взрывов?» Но маленький Домель уже рядом со мной, он поднимает руки к небу, запрокидывает голову, хочет что-то сказать, но у него прерывается дыхание, он пыхтит и, беззвучно шевеля губами, что-то говорит. И происходит чудо — я все понимаю.

«Снег, — говорит маленький Домель, — снег идет!»

И лицо его светится счастьем...

Все это я вижу во сне, в этом месте я всегда просыпаюсь и думаю: «Вот что значит мир».

Олдржих Рафай

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Красноармейцы в Остраве

К

огда это было! В среду!

А может, в субботу!.. Точно

теперь я уже не вспомню.

И все-таки это было!

...Рванулась в тот день свобода
сюда

через мост понтонный

короткими перебежками —

смешались вода и кровь...

Алешей звалась свобода,

Володей, Иваном, Петей...

Сгибаясь и стиснув зубы,

она орошала землю

свинцовым дождем... А было

в тот день ей лишь двадцать лет.

Израненная, пробилась

она на высокий берег.

Упала. И громовое

над ней взорвалось «Ур-ра!».

И был этот клич победный

краснее, чем маки в поле,

стремительнее, чем в Одре —

широкой реке — вода.

А солнце, как будто кровью

обрызганное, вкатилось

на небо и, как руками,

раздвинуло облака.

Увидело — чубом в травы

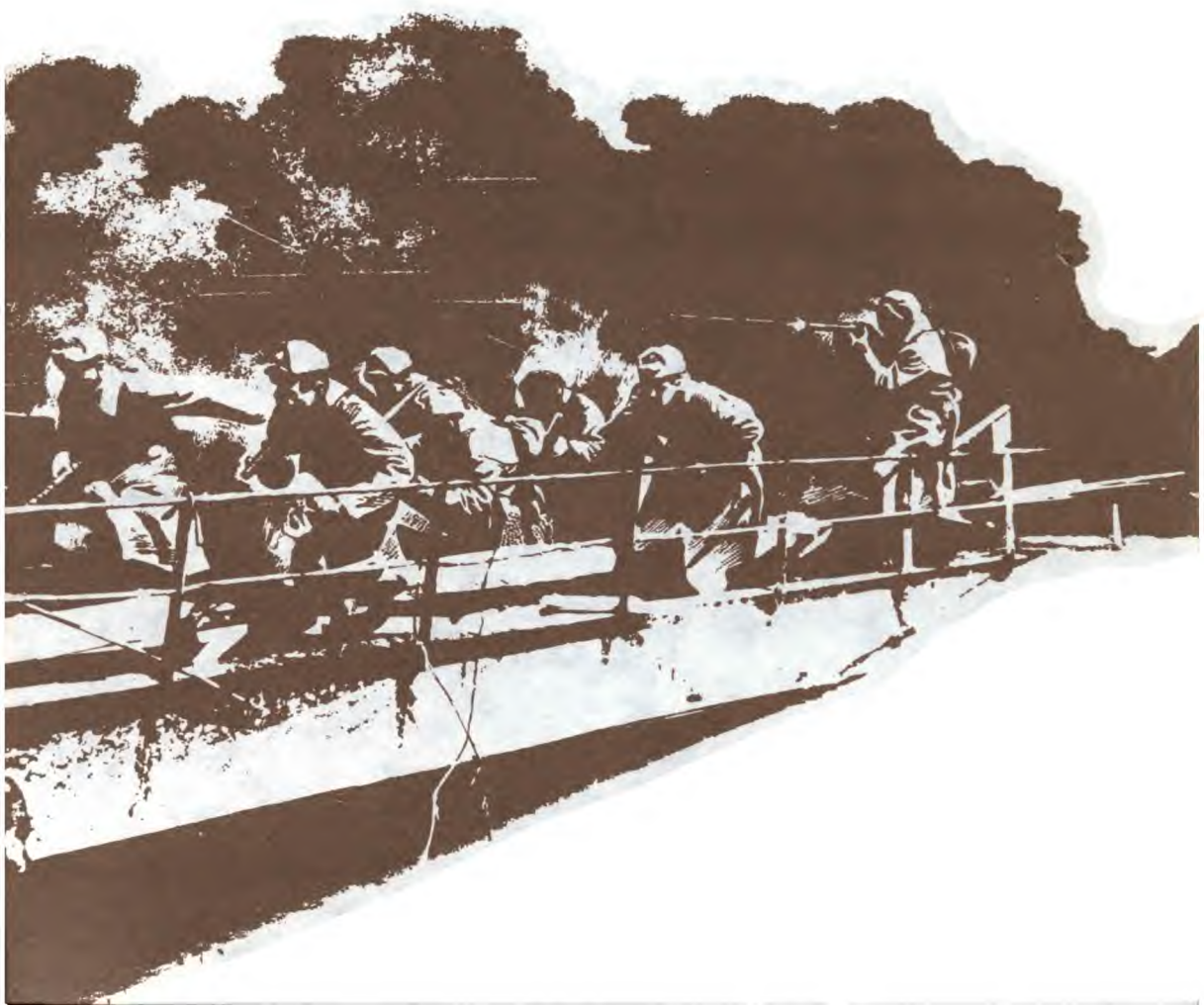
уткнувшись, лежит свобода...

И солнце ей под бока,

склонясь, подложило землю,

омытую кровью землю,
под голову — вечный сон.

...О вы, берега крутые
чужих незнакомых рек!





Расул Гамзатов

(СССР)

Журавли

М

не кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.

Сегодня, предвечернюю порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна!

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликаю
Всех вас, кого оставил на земле.

Сергей Орлов

(СССР)

Е

го зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолее земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолее...





Виктор Кочетков

(С С С Р)



ел смертный бой.
Земля в огне кипела.
Был сужен мир до прорези прицела.
Но мы, полны решимости и веры,
Ему вернули прежние размеры.

Александр Твардовский

(СССР)

В тот день, когда окончилась война

В

тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,



Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.

Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;

И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самую Москвой,
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимую сорок первого; и с теми,

Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанным не чуждою рукою.

Со всеми — пусть не равен их удел, —
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел:
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, —
Со всеми, до единого со всеми

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

И не затем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не затем, нет, не затем одним,
Что ветры войн шумят, не утихая,

И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, —

Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти!

И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов, у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека!

Что ж, мы — трава! Что ж, и они — трава!
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.

К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы — мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.

В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.

Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу,
Как у живых, — я так же вам обязан.
И если я по слабости солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,

Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу беспредельный.

Суда живых не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

Александр Твардовский

(СССР)

В час мира

Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.

Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог...



Константин Симонов

(СССР)

Н

е той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала, — запомнил я Родину.
И вижу ее накануне победы,
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной.



Евгений Евтушенко

(СССР)

Х

М. Бернесу

Хотят ли русские войны!
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и вам ответят их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей.
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Михаил Исаковский

(СССР)

Враги сожгли родную хату ...

В

раги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою!

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздыхнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

**Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.**

**Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»**

**Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.**



Егор Исаев

(СССР)

Суг памяти

(Из поэмы)

В

ы думаете, павшие молчат!

Конечно, да — вы скажете.

Неверно!

Они кричат,

Пока еще стучат

Сердца живых

И осязают нервы.

Они кричат не где-нибудь,

А в нас.

За нас кричат.

Особенно ночами,

Когда стоит бессонница у глаз

И прошлое толпится за плечами.

Они кричат, когда покой,

Когда

Приходят в город ветры полевые,

И со звездой говорит звезда,

И памятники дышат, как живые.

Они кричат

И будят нас, живых,

Невидимыми, чуткими руками.

Они хотят, чтоб памятником их

Была Земля

С пятью материками.

Великая!

Она летит во мгле,

Ракетной скоростью

До глобуса уменьшена.

Жилая вся.

И ходит по земле

Босая Память — маленькая женщина.

Она идет,
Переступая рвы,
Не требуя ни визы, ни прописки.
В глазах — то одиночество вдовы,
То глубина печали материнской.

Ее шаги неслышны и легки,
Как ветерки
На травах полусонных.
На голове меняются платки —
Знамена стран, войною потрясенных.

То флаг французский,
То британский флаг,
То польский флаг,
То чешский,
То норвежский...

Но дольше всех
Не гаснет на плечах
Багряный флаг
Страны моей Советской.
Он флаг победы.
Заревом своим
Он озарил и скорбь
И радость встречи.
И, может быть, сейчас покрыла им
Моя землячка худенькие плечи.
И вот идет,
Печали не тая,
Моя тревога,
Боль моя и муза.

А может, это гданьская швея!
А может, это прачка из Тулузы!
Она идет,
Покинув свой уют,
Не о себе — о мире беспокоясь.
И памятники честь ей отдают.
И обелиски кланяются в пояс.



Мария Бануш

(Р У М Ы Н И Я)



нет, не рыдали в час, когда погребали
прадеды наши

павших бойцов своих...

Давайте ж и мы, товарищи тех, что пали,
не будем траурным маршем печалить их.

Они ведь не камнем были, не бронзой были,
и всей своей плотью, всем существом своим
все то, что мы с вами любим, — они любили,
и все, что нам дорого, — дорого было им.

Давайте ж расскажем попросту и опишем,
как пахнут рощи весенние на заре,
как пашем, и как мы пишем, и как мы дышим
на этой, спасенной жизнями их, земле.

Да будем верны их помыслам человеческим,
победному цвету этих ветвей тугих
и в мире, творимом нами, увековечим
погибших наших товарищей дорогих.



Олдржих Рафай

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Чего-то в жизни мне негостает...

В

войну

(и после — год еще)

пять лет

Наташа обезвреживала мины
в домах, в садах...
От Дона до Днепра
прощупывал ее миноскапель
земли большой бескрайние равнины...
Но не на них,

не там,

вдали,

а здесь,
у чешского безвестного селенья,
в ее руках — уже под мирным небом,
под ясным небом —

мина взорвалась.

Цвели сады...

Счастливая весна

фиксировала чаще взрывы смеха,
и листьев, и цветов —
намного чаще,

чем взрывы мин... Наташа эти мины
заставила навеки замолчать!

Их тиканье зловещее она,
запалы вынимая, прерывала.

Наташа разминировала мир,
и это... это стоило ей жизни.

А я живу, Наташа...

Только мне

недостает чего-то в этой жизни.

Скорей всего, Наташа,

рук твоих,

и глаз, и сердца...

Я, Наташа, слышу,

как в тишине неведенья и страхов
все громче мины тикают опять.
Теперь они коварнее стократ,
хитрее...

Лишь твои, Наташа, руки
могли б смирить бездушный механизм...
О хрупкость нежных пальчиков твоих,
бороздки жизни на твоих ладонях,
настороженно чуткие глаза...
Могу ли я теперь о них не помнить!!



Станка Пенчева

(БОЛГАРИЯ)

Тревога

Д

очка моя
вернулась из школы
взволнованная и смятенная.
«Сегодня нас водили вниз, в подвал!
Но это не простой подвал,
это бомбоубежище.
Туда мы будем уходить, если...»

Я зажала ей рот рукой...
«Этих слов я не хочу от тебя слышать.
Они — как ядовитая роса
на лепестках твоих губ.
Не хочу от тебя их слышать,
не хочу!..

...На огни,
на окна,
на уличные фонари,
на освещенные витрины
опускались черные шторы,
как черные веки.
Город закрывал глаза.
А может быть,
не было никакого города,
там — среди тьмы и холода!

Ты еще тогда не родилась...

Твой отец
стоял в нескончаемой очереди,
чтобы добыть,
как драгоценность,
триста граммов черного хлеба.



Твоя мать
плакала навзрыд и просыпалась,
и даже во сне
голос сирены ревел в тишине.
Но ты тогда еще не родилась...
Твой дядя — тот беспечный,
с пестрыми глазами,
вернулся с фронта.
Он после долгого-долгого путешествия
не смог приподнять
крышку своего цинкового гроба,
не смог приподнять своей кудрявой головы,
не разжал склеившихся век,
веселый человек...

Хорошо, что ты тогда еще не родилась...

Твоя мать
и твой отец
однажды осенним днем
встретились на улице,
на которой уже не было ни одного дома,
встретились под деревом,
на котором уже не было
ни одного листка, ни одной ветки.
И когда они, взявшись за руки,
пошли рядом, чтобы прийти к тебе, —
под их подошвами хрустело
битое стекло
и ветер над ними подымал тучи пепла...
Они шли, с руками соединенными,
через город, сожженный дочерна,
чтобы ты в другое время
была рождена.
Если бы было нужно,
мы вернулись бы с сжатыми зубами
на ту же дорогу,
только бы ты по ней не прошла!
Только было бы над тобой просто небо,
где есть птицы и облака,
где посверкивают звездочки.
Только была бы ночь
веселым праздником огней,
прекрасным лесным покоем...

А подвал, маленькая моя, —
это только пыльный обыкновенный
подвал...»



Леопольд Стафф

(Польша)

Строфа

Грозящие войною руки
В бессильной ярости падут.
Мир — человечеству порука,
Что дни счастливые придут.
Пожар войны, и смерть, и муки
Предотвратит свободный труд.





Егор Исаев

(СССР)

Двадцать пятый час

(Из поэмы)

У

ж скоро сорок будет, как
Сюда пришел он, в Трептов-
парк,

Из тех обугленных равнин,
В одном лице — отец и сын,
В одном лице — жених и
муж,

В одном родстве на весь
Союз.

Оплакан всюду и любим,
Пришел и встал,
Неколебим.

На самый высший в мире
пост,
Лицом и подвигом — до
звезд.

Играет в парке детвора,
Шумит листвою зеленый
вал...

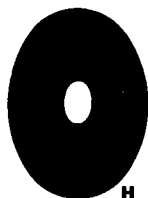
А он стоит, как и стоял.
Тот славной памяти солдат,
Из бронзы с головы до пят.
Девчонка — у его плеча,
В деснице — молния меча
И небо вечности — у глаз...



Ярослав Ивашкевич

(ПОЛЬША)

Мир



н не слетит, как голубица,
Небесную покинув ширь,
Он молнией не загорится —
Над миром мир.

С ростками роз он не пробьется,
Не явится на звуки лир,
Дождем весенним не прольется —
Над миром мир.

Из общей воли он родится,
Простых людей святой кумир.
Борьбою нашей утвердится —
Над миром мир.

Придет, когда, сомкнув колонны,
Сзывая всех на братский пир,
Провозгласят свой зов миллионы:
«Да будет мир!»



Младен Исаев
(БОЛГАРИЯ)

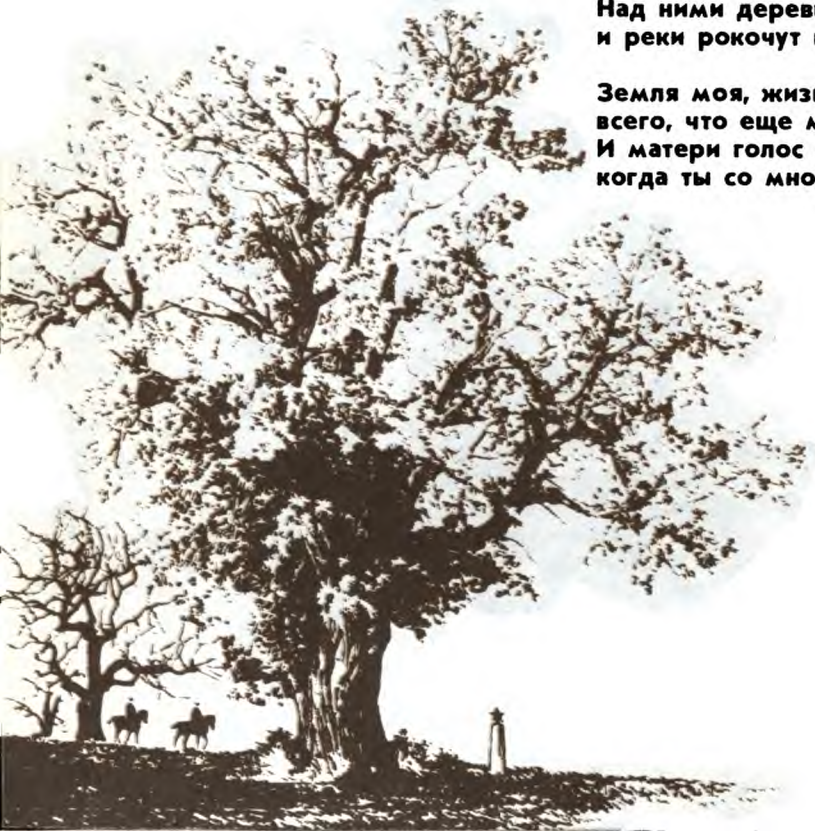
Л

люблю это небо, где синему цвету
сиять над иными цветами дано,
и землю мятежную, добрую эту,
где спят мои предки давно.

Люблю над лугами дыханье озона,
и запахи вишен, дождя и смолы,
и эти вершины, парящие сонно
в тумане, как будто орлы.

Мне дороги старые эти дороги,
где медные гильзы ржавеют в пыли.
Над ними деревья торжественно строги,
и реки рокочут вдали...

Земля моя, жизнь моя, первооснова
всего, что еще мне достигнуть велишь.
И матери голос мне слышится снова,
когда ты со мной говоришь.



Шагдырын Дулма

(МОНГОЛИЯ)

Перег вами играют дети

Р

ебята с черной, с желтой, с белой кожей...

Все разные,
Но в играх так похожи,
На всех материках,
На всей планете
Играют,
Жизни радуются дети —
Людского счастья яркие цветы.
Не с ними ль наши связаны мечты!

Играют дети...
Из песка и глины,
Из кубиков возводят города.
Вот новый дом,
Вот новая плотина,
Отсюда — вдаль помчатся поезда.
Здесь — озеро, а здесь — зеленый сад.
Глазенки у строителей блестят.

Всмотритесь в этот вдохновенный труд.
Пройдут года,
Ребята подрастут,
И руки их окрепшие тогда
Большие строить будут города.
Не помешайте, люди, детворе,
Ее прекрасной, творческой игре.

Играют дети...
В городах и селах —
Повсюду слышен гомон их веселый.
И дети гор, морей, саванны южной,
И дети рек таежных, тундры вьюжной,
И мой сынишка в зелени степной,
Чьи деды в юрте жили кочевой,
Играют, строят, вставши поутру.

Храните же их мирную игру...
Чтоб слышать смех ребячий, а не стоны,
Скажите всюду «нет!» войне кровавой.
Пусть, пусть играют дети Вашингтона,
Москвы, Ханоя, Лондона, Варшавы.
На всем земном
Огромном нашем шаре —
В Берлине, Улан-Баторе и Дели —
Хочу, чтоб дети и в индийском сари,
И в русской шубке, и монгольском дэле
Не знали,
Как от бомб земля дрожит.
Пусть будущее им принадлежит.

Играют дети...
Слабыми руками
В песке они возводят города.
Смотрите, люди!
Дети — перед вами.
Разрушим ли их счастье!

Никогда!





Витезслав Незвал

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Мечтаю

М

ечтаю, чтоб мир был с войной незнаком,
Чтоб он и без крови был ярок!
Стихи мои пейте, как чай с молоком,
Я чашки пришлю вам в подарок!

Мечтаю, чтоб мир, как подвал гончара,
Пел глиняным дружеским хором.
Стихи мои весело ешьте с утра
С тарелок с моравским узором.

Но если покоя нам рано просить
И мир еще полон тревогой,
Стихами моими не грех закусить
До боя и перед дорогой.

И если придется ремень потесней
Стянуть среди временных тягот,
Пусть хлебом и сахаром, тем, что нужней,
На стол к вам стихи мои лягут.

Мечтаю, чтоб свет над землей не потух,
В стихах говорю свое мненье,
Над родиной утром кричу, как петух, —
Мне нравится это сравненье!

СОДЕРЖАНИЕ

Егор Исаев. Вступление	5
Василий Лебедев-Кумач. Священная война. Стихи	9
Михаил Шолохов. Они сражались за Родину (Главы из романа)	10
Александр Твардовский. Я убит подо Ржевом. Стихи	16
Константин Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Стихи	22
Демьян Бедный. Ленин — с нами! Стихи	24
Радован Зогович. Без границы. Стихи. Перевод с сербскохорватского Вс. Рождественского	25
Никола Вапцаров. «Борьба так беспощадна и жестока...» Стихи Перевод с болгарского Н. Тихонова	27
Эрих Вайнерт. Все силы против Гитлера! Стихи. Перевод с немецкого Л. Гинзбурга	29
Младен Исаев. Наше время. Стихи. Перевод с болгарского Н. Горской	31
Александр Твардовский. «Война — жестооче нету слова...» Стихи . .	32
Десанка Максимович. Кровавая сказка. Стихи. Перевод с сербскохор- ватского Б. Слуцкого	33
Албанская партизанская песня «Споемте о смелых...». Перевод с албан- ского Б. Слуцкого	35
Сергей Михалков. Десятилетний человек. Стихи	36
Бранко Чопич. Учитель гимнастики. Рассказ. Перевод с сербско- хорватского Т. Вирты	38
Ярослав Ивашкевич. Икар. Рассказ. Перевод с польского М. Живова	45
Матей Бор. Черные люди. Стихи. Перевод со словенского А. Штейн- берга	48
Николай Тихонов. Карлики идут. Рассказ	51
Мира Алечкович. Тише, мама... Стихи. Перевод с сербскохорватского В. Корчагина	55
Александр Прокофьев. «Москва, Москва, священная держава...» Стихи	56
Юрий Бондарев. Батальоны просят огня (Глава шестая романа) . .	57
Анатолий Софронов. Шумел сурово Брянский лес. Стихи	68

Юлия Друнина. «Качается рожь несжатая...», «Я только раз видала рукопашный...» Стихи	69
Леонид Соболев. На старых стенах. Рассказ	71
Юре Каштелан. Колыбельная времени. Стихи. Перевод с сербскохор- ватского Ю. Левитанского	74
Владислав Броневский. Освенцимские рассказы. Стихи. Перевод с польского Д. Самойлова	75
Константин Ваншенкин. «Земли потрескавшейся корка...» Стихи . . .	76
Анна Ахматова. Мужество. Стихи	77
Борис Полевой. Последний день Матвея Кузьмина. Рассказ	79
Матей Бор. Ночь в немецком лагере. Стихи. Перевод со словенского Ю. Левитанского	85
Десанка Максимович. Детская косичка в Освенциме. Стихи. Перевод с сербскохорватского Б. Слуцкого	89
Владислав Броневский. Поле. Стихи. Перевод с польского Л. Тоома.	90
Стефан Хермли. Пепел Биркенау. Стихи. Перевод с немецкого Л. Гинзбурга	91
Аркадий Кулешов. На Минском шоссе. Стихи. Перевод с белорусского автора	93
Ольга Берггольц. «...Я говорю с тобой под свист снарядов...» Стихи .	95
Далантайн Тарва. Пусть небо всегда будет ясным! (Из «Поэмы, навеянной посещением Пискаревского кладбища»). Перевод с монгольского А. Наймана	96
Изет Сарайлич. Письмо в тысяча девятьсот сорок первый год Тане Савичевой. Стихи. Перевод с сербскохорватского Ю. Левитан- ского	99
Константы Ильдефонс Галчинский. Письмо из плена. Стихи. Перевод с польского Д. Самойлова	100
Кемаль Стафа. Погибшему брату. Стихи. Перевод с албанского Б. Слуцкого	101
Милош Крно. Кавказ. Стихи. Перевод со словацкого Б. Слуцкого .	103
Александр Прокофьев. «Есть что вспомнить всем нам...» Стихи . . .	104
Семен Гудзенко. Перед атакой. Стихи	105
Славко Яневски. Внук. Рассказ. Перевод с македонского Ю. Бе- левой	106
Матей Бор. Вечерняя мелодия. Стихи. Перевод со словенского Ю. Левитанского	111
Александр Яшин. Русские мы! Стихи	112
Константин Симонов. Третий адъютант. Рассказ	115
Давид Кугультинов. Ночью в окопе. Стихи. Перевод с калмыцкого Ю. Вронского	122
Алексей Толстой. Русский характер. Рассказ	124
Муса Джалиль. Не верь! Стихи. Перевод с татарского И. Френ- келя	130
Марко Ангелов. Ой вы, птицы... Стихи. Перевод с болгарского Р. Рождественского	131

Максим Рыльский. Великая перекличка. Стихи	132
*Милош Крно. Партизан. Рассказ. Перевод со словацкого Н. Дроздовой	133
Леон Пастернак. В Польшу. Стихи. Перевод с польского М. Пав- ловой	136
Евгений Винокуров. «В полях за Вислой сонной...» Стихи	137
Елена Богушевская. Дануся. Рассказ. Перевод с польского Ю. Мирской	139
Эрих Вайнерт. Я отвратить лицо не смею. Стихи. Перевод с немец- кого А. Жарова	152
Кшиштоф Камиль Бачинский. «Был мой народ...» Стихи. Перевод с польского Б. Слуцкого	153
Василий Федоров. Завещание. Стихи	154
Роберт Рождественский. Концерт. Стихи	156
Антал Гидаш. Стонет Дунай. Стихи. Перевод с венгерского Н. Заболоцкого	159
Аветик Исаакян. «Сердце мое на вершинах гор...» Стихи. Перевод с армянского М. Зенкевича	161
Михайло Лалич. Осиротевшая земля. Рассказ. Перевод с сербско- хорватского Т. Вирты	163
* Рудо Мориц. Огонь железного «Гурбана». Рассказ. Перевод со словацкого Н. Дроздовой	171
Алексей Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...» Стихи	177
Димитр Гулев. Государство. Рассказ. Перевод с болгарского Т. Ели- сеевой	179
Сергей Викулов. Баллада о хлебе. Стихи	184
Анна Зегерс. Человек становится нацистом. Рассказ. Перевод с немецкого Н. Федоровой	187
Иоганнес Р. Бехер. Где была Германия?.. Стихи. Перевод с немец- кого Л. Гинзбурга	197
Ян Штявницкий. Партбилет. Рассказ. Перевод со словацкого Т. Мироновой	200
* Януш Пшимановский. Полундра! Стихи. Перевод с польского И. Ля- пина	207
Веселин Андреев. Одна ночь, один день. Рассказ. Перевод с болгар- ского Н. Глен	211
Иоганнес Р. Бехер. Человек, который молчал. Стихи. Перевод с немецкого Э. Нейштадта	225
Намсарайн Банзрагч. Мост. Рассказ. Перевод с монгольского Г. Матвеевой	229
Йожеф Фодор. Красные надгробия. Стихи. Перевод с венгерского В. Корчагина	239
Иштван Берталан. Старый кларнетист. Рассказ. Перевод с венгер- ского О. Громова	241
Золтан Зелк. Ангелы. Стихи. Перевод с венгерского М. Зенкевича	247
Анатолий Жигулин. Отвлекающий десант. Стихи	249

Аурел Михале. Бирюк. Р а с с к а з. Перевод с румынского Э. Субботиной	251
Вера Марковичова-Затурецка. Пулеметная лента. Р а с с к а з. Перевод со словацкого Л. Новоградской	257
Михаил Исаковский. Русской женщине... С т и х и	275
Петр Незнакомов. Наша тайна. Р а с с к а з. Перевод с болгарского Т. Елисейевой	277
Иван Скала. Поздним вечером. С т и х и. Перевод с чешского С. Викулова	285
Кольо Георгиев. Адская машина. Р а с с к а з. Перевод с болгарского Т. Елисейевой	287
Павел Вежинов. В трясине. Р а с с к а з. Перевод с болгарского Т. Поповой	299
Ярмила Урбанкова. Праге в мае 1945-го. С т и х и. Перевод с чешского В. Корчагина	308
Михаил Исаковский. Слово о России. С т и х и	310
Мира Алечкович. Не дай им бог вернуться. С т и х и. Перевод с сербскохорватского А. Глуховского	315
Лодонгийн Тудэв. Приговор. (Из поэмы «Родился человек»). Перевод с монгольского Я. Белинского	316
Люциан Шенвальд. Красная Армия. С т и х и. Перевод с польского М. Живога	317
Ян Беньо. Школа открывается в мае. Р а с с к а з. Перевод со словацкого Т. Мироновой	319
Ян Пиларж. Сержанту Нине Семеновой. С т и х и. Перевод с чешского С. Викулова	329
Андраш Табак. Игрушечная железная дорога. Р а с с к а з. Перевод с венгерского Е. Умяжковой	331
Сергей Наровчатов. Солдаты Свободы. С т и х и	341
Янко Есенский. На братиславских кладбищах. С т и х и. Перевод со словацкого Д. Самойлова	342
Иоахим Новотный. Новость. Р а с с к а з. Перевод с немецкого Л. Фоминой	343
Олдржих Рафай. Красноармейцы в Острове. С т и х и. Перевод с чешского С. Викулова	346
Расул Гамзатов. Журавли. С т и х и. Перевод с аварского Н. Гребнева	348
Сергей Орлов. «Его зарыли в шар земной...» С т и х и	349
Виктор Кочетков. «Шел смертный бой...» С т и х и	351
Александр Твардовский. В тот день, когда окончилась война. С т и х и	352
Сергей Смирнов. Обратный путь. С т и х и	356
Александр Твардовский. В час мира. С т и х и	357
Константин Симонов. «Не той, что из сказок...» С т и х и	358
Евгений Евтушенко. «Хотят ли русские войны?...» С т и х и	359
Михаил Исаковский. Враги сожгли родную хату... С т и х и	360
Егор Исаев. Суд памяти (Из поэмы)	362

Мария Бануш. «О нет, не рыдали...» С т и х и. Перевод с румынского Ю. Левитанского	364
Олдржих Рафай. Чего-то в жизни мне недостает... С т и х и. Перевод с чешского С. Викулова	365
Станка Пенчева. Тревога. С т и х и. Перевод с болгарского Е. Винокурова	367
Леопольд Стафф. Стрoфа. С т и х и. Перевод с польского М. Живова .	369
Егор Исаев. Двадцать пятый час (Из поэмы)	371
Ярослав Ивашкевич. Мир. С т и х и. Перевод с польского М. Живова . .	372
Младен Исаев. «Люблю это небо...» С т и х и. Перевод с болгарского Ю. Левитанского	374
Шагдырын Дулма. Перед вами играют дети. С т и х и. Перевод с монгольского Г. Ярославцева	375
Витезслав Незвал: Мечтаю. С т и х и. Перевод с чешского К. Симоннова	378

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Составитель Михаил Андреевич
Письменный

Ради жизни на земле

Сборник
ИБ № 8036

Ответственный редактор Т. П. Владимирская
Художественный редактор Л. Д. Бирюков
Технические редакторы Т. П. Тимошина, Е. П. Кудрярова
Корректоры В. В. Борисова и И. Н. Мокина

Сдано в набор 04.02.85. Подписано к печати 25.10.85.
А 14637. Формат 70×90^{1/16}. Бум. офсетная № 1. Шрифт
журнально-рубленый. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,08.
Усл. кр.-отт. 56,75. Уч.-изд. л. 26,25. Тираж 100 000 экз. (2-й
завод 50 001—100 000). Заказ № 843. Цена 1 р. 80 к.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
издательство «Детская литература» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М., Чер-
касский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 2 Росглаволиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград,
2-я Советская, 7.

**Р 15 Ради жизни на земле: Проза и стихи писателей
социалистических стран о борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками/Сост. М. А. Письменный;
Вступл. Егора Исаева; Худ. Г. Ордынский. — М.:
Дет. лит., 1985. — 383 с., ил.**

В пер.: 1 р. 80 к.

Братство народов разных стран, рожденное в совместной борьбе с фашиз-
мом в годы второй мировой войны, — главная тема книги. В сборник вклю-
чены произведения М. Шолохова, А. Толстого, А. Твардовского, А. Зегерс, В. Не-
звала, Э. Вейнerta, Н. Вапцарова, М. Лалича, А. Гидаша, П. Вежинова, Э. Зелка
и др.

Р 4803020000—540 085—85
М101[03]85





1р. 80к.